

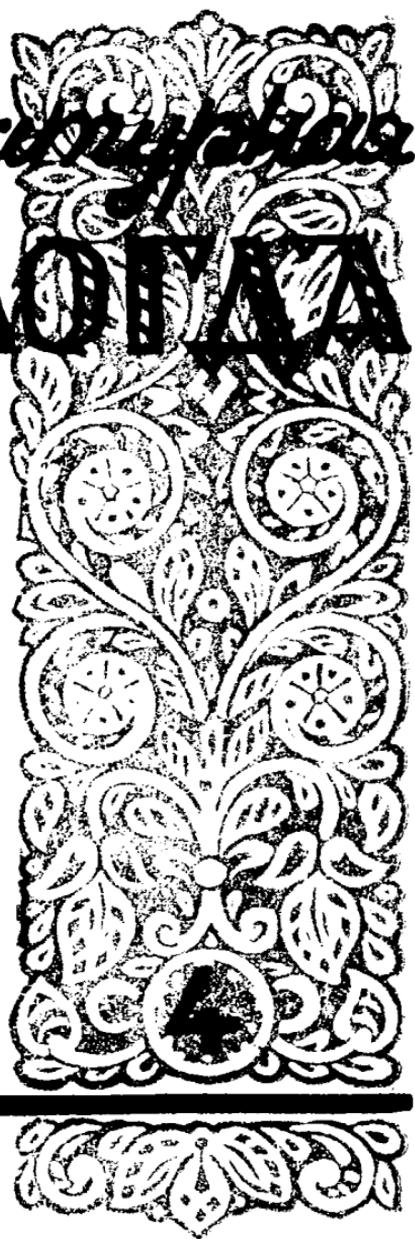
II

348547

Литературная  
ВОЛОГДА



*Литературный альманах*  
**ВОЛОГДА**



1958 АЛЬМАНАХ

ВОЛОГОДСКОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*С. В. Викулов (редактор), В. В. Гура, В. М. Малков,  
В. К. Пудожгорский, А. А. Романов.*

## У НАС НА СЕВЕРЕ

(П о в е с т ь)

### I

В девять часов Бескуров был уже в райисполкоме. Его смущало, что он забыл вчера спросить у предрика фамилию «девчины», которую ему предстояло везти, и теперь не знал, как и где ее искать. Однако едва Антон поднялся на второй этаж, как навстречу ему встала с деревянной решетчатой скамьи высокая светловолосая девушка и, извинившись, остановила его.

— Скажите, не вы товарищ Бескуров, председатель колхоза «Восход»?

— Точно, — кивнул Антон. — А вы, значит... — он запнулся.

— Я направлена к вам зоотехником. Меня зовут Клавдия Васильевна Клементьева.

— Очень приятно. А меня — Антон Иванович. Вы готовы? Где ваши вещи?

— Вот чемодан. Мне Дмитрий Егорович сказал, что у вас машина, поэтому я решила взять с собой кое-что.

И хотя на душе у Бескурова было тяжело и мутно, он одобряюще улыбнулся ей, подхватил чемодан и стал спускаться по лестнице. Она застучала каблучками босоножек следом за ним. Так как машина уже была на той стороне реки, им предстояло дойти до перевоза и дожждаться пассажирского катера. На набережной Клементьева поровнялась с Бескуровым и попыталась взять у него чемодан. Он, конечно, не отдал, хо-

тя в другой руке он нес сумку с бельем и другими необходимыми на первый случай вещами. Впрочем, до переправы было недалеко. Вскоре подошел и катер. Когда он отвалил от стенки дебаркадера, Клементьева прошла на нос и, опершись о борт, устремила взгляд на удаляющуюся набережную. Что-то задумчивое и грустное было в ее лице и фигуре, как будто она прощалась с кем-то, кто оставался в городе. Но на берегу никого не было, никто не махал ни рукой, ни платком. «Ну, ясно, ей тяжело расставаться с городом, с привычным укладом жизни и ехать в неизвестность, — почему-то с неприязнью подумал Антон. — Тут было хорошо, уютно, весело, мама с папой и все такое прочее, а там... Там еще на воде вилами писано, что из нее выйдет. А как вырядилась, хоть сейчас на бал. Что, не знает она, что ли, куда едет? Ведь ей по навозу ходить придется, под коровами лазить. И почему она не использует отпуск? Может быть, тем временем мне бы более опытного специалиста подыскали».

Но Бескуров тут же пристыдил себя за то, что плохо судит о человеке, которого не знает. Тем более, что, вопреки худым мыслям, Клементьева ему чем-то нравилась. Пожалуй, ей было не восемнадцать-девятнадцать лет, как большинству девушек, оканчивающих сельхозтехникум, а года на три-четыре больше. Бескуров не сумел бы объяснить, почему он так думает, но был уверен, что не ошибается. Внешне Клементьева выглядела эффектно: высокая стройная фигура, легкое светлое пальто, белая шляпка с широкими полями и зеленой лентой. Недоставало только нарядного зонтика от палящих лучей солнца, чтобы сойти за праздную курортницу, отправляющуюся на речную прогулку. У нее было красивое, несколько худощавое лицо, выразительные карие глаза с бирюзовым зрачком, и взгляд их сразу, еще в райисполкоме, поразил Бескурова: он был слишком уж серьезен, задумчив и грустен. Наверное, именно этот взгляд и дал повод Антону думать, что она старше, чем можно судить по ее внешности.

На той стороне их ждал открытый «газик». Они уселись, и шофер, наскоро дожевав остаток пирожка с рыбой, включил мотор. День начинался солнечный, теплый, с подсиненными неоглядными далями. Солнце

стояло еще не высоко, но уже чувствовалось приближение зноя. На величественном и тоже синем небе — ни облачка. Пыльный, извилистый и кочковатый проселок расстилался то по зеленому лугу, то нырял в неглубокий, заросший кустарником овраг с журчащим понижу ручейком, то врезался в массив дозревающей ржи, и повисшие на длинных стеблях колосья мягко шуршали о потертые бока машины. Легкая, как пудра, пыль весело выпархивала из-под колес и долго висела в неподвижном воздухе, пронизываемая солнечными лучами. Далеко впереди темнела стена леса, а здесь — простор, редкие перелески перемежались полями, слева бесшумно несла свои воды могучая Северная Двина, справа мелькала прилепившаяся на пригорке деревня и снова — то луг, усеянный стогами, то рожь, необычайно густая для этих скупых подзолистых мест.

Бескуров сидел рядом с Клементьевой и думал о том, что ему, как видно, не скоро удастся снова выбраться в город и что, может быть, это к лучшему. Зое, жене, надо дать время поразмыслить, взвесить и понять то, что он сказал ей, наконец, проверить себя, любит ли еще она его и нуждается ли в нем. Она должна прийти к какому-то единственному решению — вот что он заявил ей на прощанье. Всякая неопределенность только ухудшит дело. Да, так он заявил, и только сейчас ему в голову пришла обжигающая мысль: почему он все взвалил на жену и ничего не решил сам? Не едешь и не надо — вот как нужно было бы сказать. Нет, это не решение. Это, в сущности, только отсрочка, та же неопределенность. Ладно, пусть все остается так, как есть. До следующего его приезда. И больше он не будет об этом думать. Хватит.

Почти всю дорогу его спутница молчала, а Бескуров, в свою очередь, не хотел навязываться к ней с разговором. Иногда он подхватывал ее под локоть, оберегая от слишком резких толчков, но как только дорога выравнивалась, он тотчас убирал руку. Однажды, как бы извиняясь за бесшабашную тряску, Бескуров сказал:

— Ничего, скоро доедем. Я вот позавчера шел пешком, и мне очень понравилось. Здесь чудесные места.

— Да, тут красиво, — не сразу откликнулась Клементьева. — И день хороший. Я бы тоже с удоволь-

ствием прошлась. Может быть, нам сойти? — несмело добавила она.

— Не стоит, — улынулся Бескуров. — Я боюсь за ваши босоножки. Они такие белые, что просто жаль их пачкать.

Она вспыхнула и зачем-то одернула на коленях платье. Бескурову вдруг стало жаль ее, и он сказал:

— Вы не обижайтесь, Клавдия Васильевна, я ведь без всякой задней мысли. В самом деле, босоножки у вас новые и незачем их портить.

— Я взяла и рабочие туфли.

— Ну, вот, тем более... Вы живете в городе? Есть мать, отец?

— Одна мама... — Она быстро взглянула на него своими серьезными, грустными глазами, хотела еще что-то сказать, но тут же отвернулась и ничего не сказала.

— Значит, пока вы не перевезете мать к себе, вам предстоит износить не одни туфли по этой дороге. А осенью, волей-неволей, придется надевать сапоги. Эх, вертолет бы нам, Клавдия Васильевна, вот было бы славно!

Она улыбнулась и уже более доверчиво посмотрела на него. Потом задумчиво проговорила:

— Завидую я вам, товарищ Бескуров. Вот вы едете и знаете, что вас ждет, что надо делать. А я страшно волнуюсь. Просто не представляю, как все это у меня выйдет...

Такая откровенность удивила и растрогала Бескурова. «Так вот она какая! А я-то думал»... — он не стал припоминать, что он думал о ней тогда, на катере, во всяком случае, сейчас его мнение об этой девушке с грустными и серьезными глазами и в ослепительно белой шляпке с зеленой лентой круто переменялось.

— Волнуетесь — это хорошо, как же иначе? — сказал Антон мягко. — И я бы на вашем месте волновался. Я и волновался, когда две недели назад ехал сюда, и еще как! Вы что же, думали, что я старый «морской волк» в колхозных делах? Ничего подобного. Я тоже новичок. Ничего, привыкнем. Я вам помогу, а уж поддержку в любых делах обязательно окажу.

— Спасибо, — с признательностью сказала она. Пойма речки Согры, где росли богатейшие травы,

тянулась нескончаемо, но, наконец, миновали и ее. Машина, натужно рыча, взобралась на крутой угор и сразу же началась деревня. С кудахтаньем взметнулись из-под колес куры. Бабы на дороге и старики из окон провожали машину изумленными взглядами. Не прошло и пяти минут, как вся деревня уже знала: «Наш председатель жинку привез. Уж до чего красивая да нарядная, прямо как артистка, и даже лучше».

Шофер лихо затормозил у самого крыльца конторы, и Бескуров чуть не ахнул от удивления: контора была та и не та. На месте прежнего покосившегося крыльца стояли новые столбы и уже были прикинута свежеструганные ступеньки. Старая, полуобвалившаяся обшивка оказалась содранной со стен, а рядом белели кучки новой рейки. Внутри помещения орудовали плотники, из открытых настежь окон валила пятидесятилетней давности седая затхлая пыль.

Оглядевшись, Бескуров понял: Звонков осуществлял свое намерение превратить старую деревенскую избу в образцовое учреждение, хотя правление и не одобрило его планов. Бескуров и раньше подозревал, что со многими членами правления Звонков особенно не считался, а его, Бескурова, просто решил поставить перед свершившимся фактом. Сейчас его и разозлила и в то же время рассмешила эта затея. Конечно, что и говорить, контора была никудышная — сарай, а не контора, но ведь она могла бы и подождать, а вот крытый ток и зерносклад нужны позарез. Придется со Звонковым побеседовать серьезно, раз и навсегда покончить с подобным самовольством. Слишком уж Звонков прыток и самонадеян, если думает, что все сойдет. Интересно, откуда у него это?..

Бескуров помог Клементьевой сойти с машины, достал чемодан и сумку, поблагодарил шофера. В это время из окна выпрыгнул Сухоруков, в грязной, без пояса, рубашке, с клочком изопревшего мха во взлохмаченных волосах, и радостно воскликнул:

— Антон Иванович! С приездом! А мы думали — ты дня через три прибудешь, не раньше. Что там в центре нового?

— Да ничего особенного. Что тут у вас происходит? — недовольно кивнул Бескуров на развороченную избу.

— А, это? — теребя пустой рукав и виновато глядя на председателя, сказал Иван Иванович. — Да вот, потрошим эту самую богадельню. Вместо ее новую сделаем. Ну, в самом деле, какая же это была контора, Иваныч? Срам один. Ты не беспокойся, мы ее быстро переоборудуем. Приехал бы ты дня через три — все было бы готово. Люди есть, материал — вот он, одних только обоев не хватает. Ну, обои — пустяк, Платон их живо достанет.

— Так, понятно, — сухо сказал Бескуров. — А для тока и склада материалов нету?

— А вот и есть! — торжествующе объявил Иван Иванович. — Ты думаешь, мы с кандачка тут размахнулись? Худо ты нас знаешь, дорогой товарищ Бескуров. Мы, брат, все обмозговали и рассчитали. Значит, так, — растопырил он перед Бескуровым грязные пальцы и пригнул один из них, — во-первых, послезавтра сюда пилораму доставят, значит, тес у нас будет, во-вторых, столбы на току уже ставятся, а в-третьих, эту вот реечку Звонков взаимобразно у лесопункта взял, чего же она будет зря лежать?.. Э, нет, ты, пожалуйста, не спорь, а прямо скажи: нужна тебе контора или не нужна?

— Ладно, раз уж начали — доделывайте, — махнул рукой Бескуров. — Я вижу, тебя Звонков основательно сагитировал. Ведь не было же решения правления о конторе.

— Верно, не было, — охотно согласился Иван Иванович. — Выходит, тебе форма нужна? А мы по существу рассудили. — Он приблизился к Бескурову, шепотом спросил: — Это ты кого привез? Жену, что ли?

— Зоотехника. Будет у нас работать. Знакомься — Клементьева Клавдия Васильевна...

Сухоруков изумленно округлил глаза, отряхнул рубаху и быстро вытер о штаны ладонь. Девушка с любопытством смотрела на него и, когда Иван Иванович подошел, первая протянула ему руку.

— Извините, рука-то у меня... того, — смутился Сухоруков, осторожно пожимая маленькую белую ладошку Клементьевой. — К нам, значит? Ну и правильно, ученый человек нам позарез нужен. Небось, комсомолка?

— Да, комсомолка.

— Тогда вам Костю Проскуракова надо найти, на учет встать.

— Хорошо, — кивнула она.

— Вот что, Иван Иванович, — вмешался Бескуров, — для Клавдии Васильевны нужна квартира. Что ты можешь посоветовать?

— Да, верно, ей же надо определиться. Что бы такое придумать? — Сухоруков помял пальцами небритый подбородок. — Постой, Серафиму Хватову ты знаешь?

— Немного знаю, — сказал Бескуров.

— Попробуйте толкнуться к ней. Баба она, конечно, своенравная, но на такого постояльца, пожалуй, согласится. А места у нее хватит.

— Идемте, Клавдия Васильевна, — предложил Бескуров, решивший в случае неудачи поселить Клементьеву у Татьяны Андреевны, а самому перебраться к кому-нибудь другому.

Дорогой Антон пояснил девушке, что Хватова — вдова, живет вдвоем с дочерью, а зовут ее почему-то Серафимой Батьковной, хотя у нее есть вполне благозвучное отчество — не то Полиектовна, не то Аполлоновна. Женщина она, действительно, своеобразная, живет, как здесь говорят, «на свой хохряк», то есть вполне независимо, не рассчитывая на трудодни.

Клементьева слушала рассеянно. Она машинально рассматривала все, что попадалось по пути: колодезный журавль с пустым позеленевшим ведром, пестрых кур, купавшихся в пыли около старого, вросшего в землю амбара, телегу со сломанной осью, брошенную посреди улицы. Тишина и безлюдность были столь необычны для нее, что казалось, будто она попала на край света. Бескуров догадывался о ее состоянии, но не знал, как ободрить ее, ибо чувствовал, что обыкновенные слова в таких случаях прозвучат фальшиво и неубедительно. Все-таки он заговорил, так как молчание становилось тягостным.

— Вон там, Клавдия Васильевна, над самым обрывом, молодежь по вечерам собирается: поет, пляшет, хороводы водит. Со всех деревень сюда приходят. Клуб у нас хороший, но на воздухе лучше. Сейчас весь народ на лугах, а кто на дальних покосах — и ночует

там. Правда, ребята и девушки все равно бегают домой, их никакая усталость не берет.

Слова вязли в зубах, и он умолк. Но Клементьева, оказывается, слушала его внимательно. Она поблагодарила его взглядом, и он счел себя вполне вознагражденным.

Они подошли к нарядному, увитому хмелем домику. В палисаднике, выпирая из-за огорожи, буйно росла малина, краснели огромные лепестки георгин, а слева, вдоль сплошного забора, отделявшего соседнюю усадьбу, тянулись аккуратные грядки моркови, лука, помидоров. Узенькая тропка вела от калитки к крыльцу. Бескуров заметил, что Клементьеву больше всего восхитили цветы, так и просившиеся в руки. И еще густой терпкий запах хмеля и окружающей зелени.

Сразу же выяснилось, что самой Хватовой дома не было — на крыльце их встретила ее дочь. На вопрос, где мать, Лена Хватова с непонятым раздражением ответила:

— В город подалась, где ж ей быть? Со вчерашнего дня там гостит.

Как видно, ее застали врасплох за домашними обрядами: она была в холщевом переднике, в порвавшейся на плече кофточке, в сапогах, к которым прилип свежий навоз. Большое ведро, в котором она носила еду поросенку, Лена ловко пихнула за дверь, но передник и сапоги ей пришлось снимать уже на глазах Клементьевой и Бескурова. Она была явно смущена тем, что ее увидели в таком затрапезном наряде.

— Мы к вам по делу, Лена, — начал Бескуров, досадуя на отсутствие хозяйки. — Вот новому зоотехнику квартира требуется, может, мамаша согласится ее приютить. Я понимаю, сама ты не можешь решить, но все же предварительно...

— Отчего же не могу? — усмехнулась Лена и повернулась к Клементьевой. — Вы одни?

— Да... пока одна, — запнувшись, ответила та.

— И деньги будете платить?

— Конечно. Как же иначе?

— Антон Иванович, вы же знаете маму, — как бы оправдываясь, сказала Лена. — А если и деньги, то, пожалуйста, она возражать не будет. Вы что же, совсем к нам? — снова обратилась она к зоотехнику,

прикидывая в уме, подойдет или нет к ее лицу и фигуре фасон Клавиного платья.

— Насовсем, — кивнула Клава.

— М-да, — поджав губы и делая серьезно-лукавое лицо, проговорила Лена. — Колхоз вам попался того... неважнецкий. Я хоть и от МТС работаю, в тракторной бригаде учетчиком, но ихние порядки мне не особо нравятся. — И она искоса взглянула на Бескурова.

— Критиковать каждый может, а ты лучше помоги порядок навести, — сказал он.

— Я и без того помогаю. Ну, ладно, пойдемте, я вам комнату покажу.

— Ну, вот вы и устроились, — сказал Бескуров Клементьевой. — Отдыхайте, осматривайтесь, а там и за дело.

— Спасибо вам, Антон Иванович.

Бескуров повернул к калитке, а девушки вошли в дом. В доме было чисто, уютно, повсюду — вышитые занавесочки и салфеточки, на полу — пестрые домотканые половики. Дверь из кухни вела в «боковушку» — небольшую узкую комнату с одним окном и деревянной кроватью. Лена рассказала, что сначала здесь жила фельдшерница, а после нее учительница, и обе вышли замуж, так что, добавила она с улыбкой, и Клаве не миновать той же дорожки, потому что всем маминим постояльцам ужасно везет. Лена сразу же стала называть квартирантку просто Клавой, и та была признательна ей за это, потому что почувствовала себя гораздо свободнее и легче, чем с Бескуровым. Он, правда, был очень вежлив и внимателен, но все-таки Клава его стеснялась.

— Ну, мне то уж не повезло, раз колхоз неважнецкий, — пошутила Клава.

— Так то колхоз, а замуж — это другое дело. Ну, как, подходящая комната?

— Конечно. Только согласится ли твоя мама?

— Я с ней договорюсь, не бойся. Ладно, вы пока устраивайтесь тут, а я побегу к своим трактористам, работу приму. — Лена называла Клаву то на «ты» то на «вы», но в общем горожанка Лене понравилась, и она считала, что они наверняка подружатся.

— Ой, я одна не останусь, — испугалась Клава. — Я лучше с вами, а устроиться и после можно.

— Что ж... Только босоножки снимите и платье другое надо.

— Да, да, я сейчас переоденусь.

Клава наклонилась над чемоданом. Лене очень хотелось посмотреть, какие еще наряды есть у зоотехника, но она сочла неудобным подглядывать и вышла из комнаты. Как-то само собой получилось, что она оказалась перед зеркалом и машинально подняла руки, чтобы поправить волосы. Высокая, даже чуть выше Клавы, с выпирающей из старенькой кофточки грудью, с крепким станом, подвижная и ловкая, она легко поворачивалась перед зеркалом и откровенно любовалась собой, уверенная, что ни в чем не уступит горожанке. Допустим, Клава чуточку стройнее, изящнее и лицо у нее выразительное, особенно карие задумчивые глаза с точечками-бирюзинками, зато у Лены было много других привлекательных черт, о которых она отлично знала — свежесть и ловкость, лукавое озорство, независимый характер. И потом, Клава, кажется, года на три старше, а это кое-что значило. И лицо у Лены было не таким, как у большинства ее деревенских подруг. Она берегла его от прямых солнечных лучей, добываясь ровного, мягкого загара. Вот и теперь, отправляясь на работу, Лена тщательно натерла обветрившиеся места белым душистым кремом. Затем она сняла домашнюю кофточку и надела другую, голубенькую, с узким кружевным воротничком. В это время вышла из своей «боковушки» Клава, и обе они критически оглядели друг друга.

## II

Когда девушки миновали околицу и очутились на самом краю обрыва — обе, не сговариваясь, остановились. Внизу расстился тот самый Согринский луг, по которому Клава проезжала на машине с Бескуровым. Но тогда она была слишком взволнована, чтобы повнимательнее присмотреться и оценить красоту окружающего, а теперь необъятная даль открылась перед ней во всей своей прелести и заставила замереть от восхищения. Огромное зеленое пространство, прорезанное посередине речкой Согрой, а справа окаймленное Северной Двиной, было щедро залито солнцем. Луг

весь сверкал и искрился и жил деятельной, разнообразной жизнью. По Двине уплывал к югу, против течения, ослепительно белый пароход, и слабый дымок из трубы почти не был заметен в густом синем мареве, дрожавшем над рекой и над лугом. Желтые квадраты хлебов, далекие деревни, светлые нити проселков, по которым пылили подводки, уменьшенные фигурки работающих то тут, то там людей — все это сливалось в общий зелено-голубой фон и одновременно создавало пеструю живую картину летнего дня, которая показалась Клаве неправдоподобно красивой, а Лене — простой, понятной и обыденной, как из века в век повторяющийся восход солнца. Но и она, поддавшись восторженному настроению новой подруги и как бы ее глазами еще раз окинув луг, с чувством и неприкрытой гордостью сказала:

— А запах какой! Прямо дышать больно. У нас в сенокос всегда так.

Клава кивнула. И правда, острый запах свежескошенной и подсыхающей травы, смешанный с терпким сосновым (бор подходил к самому обрыву), наполнял воздух. С непривычки у Клавы закружилась голова. Они спустились по пешеходной тропке вниз и зашагали по травяной дороге, сплошь ископытенной коровьим стадом. Лена сказала:

— Я тебя до первой бригады доведу, а там уж ты сама. Мои трактористы вон там пары пашут. — Она неопределенно махнула рукой и спросила: — Ты с Антоном Ивановичем где встретилась?

— В райисполкоме. Вместе с ним и приехала. А что, какой он, Лена? Ты ведь должна знать.

— Симпатичный, конечно, — рассмеялась та. — В общем, простой и не зазнается. У нас его многие уважают, ну, есть и такие, которые не любят.

— Почему же?

— А кто его знает. Известно, на всех не угодишь. — Лена ловко перепрыгнула через высохший ручей и подала руку Клаве. — А что, не хотелось тебе из города уезжать, а?

— Да нет, не то чтобы не хотелось. Не в этом дело... Ты не думай, я деревни не боюсь, сама в деревне выросла и на зоотехника сознательно пошла. Я очень животных люблю.

— Ладно, может, и сознательно, а только все равно по городу скучаешь, я ведь вижу, — мягко проговорила Лена. — Вот у нас в бригаде Володя Шишкин работает. Он тоже из города, на заводе механиком или, может, слесарем был. Так он добровольно в МТС пошел, никто его не заставлял, а все равно по городу тоскует. Ну, я то знаю, какая у него причина... может, и у тебя так, а?

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Ну да, не понимаешь! — недоверчиво усмехнулась Лена. — Да я и не прошу, не признавайся, пожалуйста. Мне-то что! А все-таки зря ты от меня скрываешь...

— Ничего я от тебя не скрываю, оставь, пожалуйста, — перебила Клава, ускоряя шаг. Лицо ее зарделось, и это не ускользнуло от внимания Лены. Любопытство ее было задето. Она сделала обиженное лицо и независимо сказала:

— Думаешь, я болтушка какая-нибудь? Не хочешь — не говори, я не навязываюсь. — И тут же подумала: «Не иначе, как несчастная любовь у нее, вот и злится. Поругались, наверное, на прощанье... Ничего, и ты не каменная, придет время — сама расскажешь. А я и словом больше не заикнусь, пускай».

Клаве ни в коем случае не хотелось размолвки с Леной, особенно сейчас, и она досадовала на себя, что не сумела сдержаться. Кажется, Лена серьезно обиделась. И надо же было ей завести этот нелепый разговор. Совершенно ясно, на что она намекала, но что Клава могла рассказать? Ни к чему все это. Однако поправиться надо было, и Клава, чувствуя, что опять краснеет, и оттого краснея еще больше, сказала:

— Ты, Лена, извини, что я так... Я тебе верю, и скрывать мне нечего. Ничего такого, о чем ты думаешь, у меня нет. Я потом тебе расскажу.

— Да нет, не обязательно, — пожала Лена плечами. — Я просто так спросила.

Они опять пошли рядом, думая каждая о своем. Удивительно, до чего иным представлялось с обрывом, что сейчас было перед самыми глазами. Многие предметы оказывались не там, где их ожидала увидеть Клава, другие меняли свои очертания и краски. Вскоре девушки увидели вблизи людей, и они тоже были не

такими, какими казались сверху, с обрыва. Это были загорелые, потные, по-разному одетые мужчны и женщины, сгребавшие сено или метавшие стог. И глядя на их работу, почти физически ощущая тяжесть поднимаемых на вилах огромных охапок сена, Клава сильнее почувствовала и тяжкую предгрозовую духоту, и зной, и непонятную усталость в ногах. Но вот с реки донеслась первая освежающая струя потревоженного чем-то воздуха, и движения людей стали еще энергичнее, а Клаву охватило желание поскорее познаться с этими людьми, сойтись с ними, помочь им.

Здесь работала первая бригада из деревни Погорелово — той самой, где поселилась Клава. Как она узнала позже, название свое деревня получила не от того, что горела сама, а по той причине, что была построена на «гари», пустыре после лесного пожара. И Клава потом уже не спрашивала, откуда взялись названия других деревень — Загарье, Пеньки, Ельники...

Лена хотела было уйти, но Клава упростила ее остаться «на минутку». Они подошли к работающим вместе. Лена сдержанно поздоровалась со всеми, кто мог услышать ее, и сейчас же сказала:

— А я вам нового зоотехника привела. Клавдией Васильевной зовут.

Клава опять покраснела, но так как никто, кроме Овчинникова (он подавал сено на стог) не обратил на нее внимания, быстро овладела собой.

— Ага, зоотехник, — кивнул Матвей Сидорович и подолом пропыленной серой, без пояса, рубахи вытер мокрое лицо; затем неспеша отряхнул с плеч и непокрытой головы сенную труху, окинул глазами луг и небо. — А ведь, мать его так, дождь будет. Вот пакость... Вы бы, товарищ зоотехник, помогли бабам сено сгрести, а то, неровен час, захватит гроза — все труды наши насмарку.

— Матвей Сидорович! — возмутилась Лена. — Вы и права-то не имеете ею распоряжаться, а такое брякаете. Что она вам, колхозница, что ли?

— Давай, бригадир, давай! Чего ты там с девками связался? — крикнул со стога старик Прокопыч, с дубелым морщинистым лицом.

Но Овчинников только рукой махнул — подожди, дескать, успеешь — и подошел к девушкам вплотную.

— Раз в колхоз пришла, значит, и есть колхозница. Да я и не распоряжаюсь, на кой мне... Я же говорю, — он ткнул большим пальцем куда-то за спину, — дождь может застигнуть, убраться не успеет. Видишь, сколько у меня народу? Твоя мамаша, к примеру, второй день в городе гостует, а мы должны за нее отдуваться?

Клава уже жалела, что не отпустила Лену, поставившую ее в столь неловкое положение. Она готова была взяться за что угодно, чтобы не чувствовать себя здесь посторонней, но Лена, не обращая внимания на умоляющий взгляд подруги, вдруг неожиданно вскипела:

— Вы мне мамашей в глаза не тычьте! — подступила она к Овчинникову, отбросив ногой ворох сена. — Вы бригадир, а не я. Распустили дисциплину, а теперь виновных ищете. Моя бы власть, я бы вас обоих с председателем и косить, и сгребать заставила, раз с людьми управляться не умеете.

— С твоей мамашей управисься, как же! — подал голос сверху Прокопыч.

— У каждого сознательность должна быть, — сказал Матвей Сидорович, берясь за вилы.

— А по-вашему, ее нет? — зло прищурился отчаянные глаза, спросила Лена. — Ого! Петька Саватеев уж неделю хрип гнет, для своей буренушки косит, а Митька Булатов, твоя соседка Марья Пивоварова где? Думаешь, на печке прохлаждаются? Как бы не так! Они-то с сеном будут, а не хватит — и вашего пристегнут, мигнуть не успеете. Это вам не «сознательность»?

— Ну и я тоже не окаянный, чтобы каждого улаживать, — с ожесточением сказал Овчинников и, крикнув, поднял на вилах чуть ли не полкопны. — Пущай председатель с ними возится, на то права ему даны.

— И у вас есть права, да вы о них забыли, — ответила Лена и гневно отвернулась. — Пойдем отсюда, Клава.

— Нет, иди уж одна, я тут побуду, — решительно ответила Клава.

— Как хочешь. — И Лена, бросив на Овчинникова пренебрежительный взгляд, пошла к стрекотавшей вдалеке косилке.

Клава думала, что бригадир нарочно сказал про

дождь, однако, подняв глаза, поняла, что и в самом деле надвигается гроза. За Двиной уже бушевал ливень, и темная туча, быстро разрастаясь, охватывала всю юго-западную часть неба. Оттуда явственно сквозило холодком, порывы ветра начали шевелить валки подсохшего сена. И хотя солнце над их головой продолжало ослепительно сиять, люди уже не доверяли ему и лихорадочно торопились закончить работу.

Клава взглядом искала свободные грабли и, не найдя, с мгновение раздумывала, за что ей взяться. Вдруг одна из женщин, лицо которой до глаз было прикрито платком, сказала:

— Нате мои, а я Гришке подсоблю. — И она побежала к подростку, подвозившему на лошади копны к стогу.

Клава принялась сгребать валки. Получалось это у нее не совсем ловко, но вскоре она приспособилась, и дело пошло живее.

Следить за тучей стало некогда да и незачем: грохотало совсем близко, и крупные капли все чаще падали то на руку, то на разгоряченное лицо. Старик, вершивший стог, что-то кричал, и хотя Клава не разбирала — что, она понимала его тревогу и тревожилась сама: успеть бы... Матвей Сидорович молчал, и только опытный глаз мог заметить, с каким нечеловеческим напряжением работал бригадир. Это была виртуозная работа, которой нельзя было не залюбоваться. Клава и любовалась ею, испытывая к Овчинникову огромное уважение и даже гордясь им. Матвей Сидорович словно вырос в ее глазах, а может, он и в первую минуту встречи был таким же сильным и ловким, да Лена разбила это впечатление, осыпав бригадира упреками. Вот взлетел вверх большой ворох сена, и Прокопыч сразу оказался на самой макушке стога и уже выравнивал граблями его крутые бока. Клава не вытерпела и, подбежав, тоже принялась очесывать стог снизу, радуясь, что главное сделано. И когда Матвей Сидорович, бросив вилы-тройчатки, крикнул: «Слезай, Прокопыч!» — Клава была готова расцеловать их обоих...

Туча, клубясь и ежеминутно меняя очертания, стремительно неслась из-за реки прямо на тот обрыв, где еще недавно стояли и смотрели на залитый солнцем луг Лена и Клава. Видно было, как клонились под на-

пором ветра деревья, потом все слилось в серую пелену дождя, обрушившегося на иссушенную зноем землю.

Люди сгрудились под стогом, отдыхая, приводя в порядок вымокшую одежду, волосы. Прибежал мокрый до нитки машинист, с трудом стянул со спины прилипшую к телу рубашку, выжал ее и, снова надев, попросил:

— Катя, дай-ка гребенку.

Катя, та самая, которая отдала Клаве грабли, оказавшаяся молодой черноглазой девушкой, молча вынула из волос гребенку и подала ее машинисту. Ему нелегко было расчесать разлохмаченный мокрый чуб, но все-таки он ухитрился не сломать у гребенки ни одного зуба, чего явно опасалась Катя.

— Лошади где, Костя? — спросил бригадир, высыпая на ладонь подмоченную махорку и выбирая щепоть посуше.

— Выпряг, стоят. Небось, не размокнут, — ответил Костя, втискиваясь в кучку женщин. — Ей богу, озяб. пустите погреться.

Он очутился возле Клавы, сделавшей инстинктивное движение отстраниться от него. И только тогда Костя заметил «новенькую». Однако он не смутился, смешливо проговорил:

— Извините, ошибся. Здравствуйте. — И присел рядом с Катей. Все рассмеялись, даже мрачноватый Прокопыч, а Катя сказала:

— Это новый зоотехник, Костя. Ленка Хватова откуда-то привела.

— Откуда-то! — захохотал Костя. — Ох, и юморист же ты, Катюша. Не откуда-то, а из города, вполне законно и официально. Я же видел, как она с Антоном Ивановичем к нам ехала. Как же вы сюда, на луг-то, попали?

— Мимоходом, а тут дождь захватил, — сказала Клава и сама удивилась той непринужденности, с какой прозвучал ее ответ. Ее сразу заинтересовал этот худощавый, веселый, загорелый до черноты парень, и она ждала — о чем еще спросит он.

— Вы, случайно, не комсомолка? — деловито осведомился Костя.

— Да.

— Я так и думал, — обрадованно сказал он. — На учет встанете у меня. Вы не у Хватовых остановились?

— У них. Но хозяйки я еще не видела.

— Ничего, увидите, — многозначительно сказал Костя, выглянул из-за стога и весело объявил: — Ну, все, пронесло. И что это за мода такая: как косить — так обязательно дождь. Всю обедню портит. — И противореча самому себе, тут же продолжал: — А благодать какая! Нектар, а не воздух. Ни пылинки тебе, ни жары... Чего теперь делать будешь, Матвей Сидорович? Сено-то теперь к вечеру только подсохнет.

— Силосовать бы надо, пока время есть, — сказал Овчинников. — Да где людей взять? И телег всего две, не на чем горох-то подвозить.

— Эх, довели хозяйство! — возмущенно заметил Костя и искоса посмотрел на Клаву. — Старый-то наш председатель, Коноплев, мхом оброс, ну, так оно и велось... Вызовут его, бывало, на исполком, ругают за непорядки, советуют как лучше, а он придет домой, разопьет со Звонковым пол-литра и думает: «Исполкомов этих я уж сто прошел, а что от них пользы? Ну, поругали, так что из того? На то они и поставлены, чтоб нашего брата шпиговать, так ведь меня от этого не убыло и не прибыло. Хотят, чтоб я колхоз поднимал, а того не знают, какой здешний народ. С таким народом много не сделаешь»... А Звонков, понятно, поддакивает, потому что, по-моему, он рад был, когда Коноплева ругали. Я сам слышал, как Звонков мужикам обещал: Коноплева, дескать, снимут, а тогда я покажу, как надо хозяйствовать... Он, конечно, хозяйствовать умеет, — Костя саркастически скривил губы, — недаром теще новый дом строить собирается. А для колхоза пока ничего такого не сделал, кроме похвалы. Ну, да теперь Бескуров возьмет их в руки, мужик серьезный. И главное, он в народ верит, не то что Звонков: я да я...

— Ты к чему это? — недовольно и удивленно спросил Матвей Сидорович. — Ишь, ты, разошелся! Собрание тут, что ли?

— А к тому, что у тебя телег нет, — отпарировал Костя.

— Много ты понимаешь! — пыхнул цыгаркой бригадир. — Сидел бы уж. Все о колхозном богатстве

мечтаешь, а у самого, небось, нового пиджака к свадьбе нет.

— Пиджак тут ни при чем, — вспыхнул Костя. — Видите, какая у него точка зрения? Лишь бы у него пиджак был, а до общества ему дела нет.

— Это ты верно, Константин, — вступил в спор Прокопыч; до сих пор он, казалось, дремал, смежив старческие, с синими прожилками, веки, а сейчас приподнялся на локте, и все увидели, как напряжились вены на его сухой тонкой шее. — Худо еще мы об общем хозяйстве думаем. Да ведь как раньше было? Видишь непорядок, а сказать не моги, потому как у Коноплева и Звонкова — чины, портфель под рукой, а у тебя их сроду не водилось. Ну и отбили у народа охоту за общее дело болеть. Дай-то бог, чтобы Антон Иванович таким не проявился.

— Он не такой, дед, — уверенно сказал Костя.

Матвея Сидоровича злил этот разговор. Конечно, Костя и Прокопыч правы, но он-то, Овчинников, в чем виноват? Не он ли отдавал все силы колхозу? Правда, крепкой веры в то, что удастся поднять хозяйство, не было, а теперь и вера есть, и сил словно бы прибавилось. Чего же они старое вспоминают? Вперед надо смотреть да дело получше исполнять — вот что требуется, а не попусту слова разные говорить. Это и он мог бы, а что проку? И Матвей Сидорович, чтобы прервать никчемный, по его мнению, спор, сказал хмуро:

— Ну, бабы, пошли, дождик-то весь вышел.

Он протянул большую огрубевшую ладонь, ловя последние капли уходившей на север тучи, и зашагал по мокрой траве, оставляя за собой широкий дымчатый след. Еще минута, и солнце, словно вырвавшись из плена, снова залило ярким светом обмытый, посвежевший луг, отразившись в мириадах капель, дрожавших на каждой травинке. При каждом шаге капли так и выбрызгивали из-под ног и, неуловимо сверкнув, тотчас гасли, как мыльные пузыри. Давно уже Клавье не приходилось видеть и переживать нечто подобное, и она радовалась всему, что открывалось сейчас перед ней. Люди тоже показались ей посвежевшими, хотя на самом деле они выходили из-под стога неохотно и не очень торопились брать грабли. Только Катя хотела было снять с натруженных ног ботинки и пробежать-

ся по мокрой траве, рассеивая брызги, но вдруг разду-мала и почему-то неприязненно посмотрела на Клави-ны коричневые туфли на толстой пористой подошве.

— Вы куда теперь? — спросил Костя у Клавы. — А то пойдемте, я вас на косилке прокачу.

— Нет, мне надо до стада добраться. Далеко это?

— С версту будет. Во-он там, за кустарником.

— Ага, найду.

Костя в задумчивости постоял на месте, наблюдая за удаляющейся от него девушкой, почесал затылок и, пробормотав: «М-да, дивчина, кажись, ничего»... — по-вернул в противоположную сторону.

### III

Клава долго не могла уснуть в эту ночь. Если б она знала, сколько бессонных ночей предстоит ей впереди, она, наверно, чувствовала бы себя спокойнее. Но она не знала, и потому самые разноречивые мысли теснились у нее в голове, сон бежал прочь. К тому же она боя-лась проспать утреннюю дойку и часто смотрела на ча-сы. Чужая постель казалась неудобной, пугала и ком-ната, наполненная непривычными тенями. Клава ста-ралась не шевелиться и все-таки рассохшаяся деревян-ная кровать поминутно скрипела. Не выдержав, Клава встала, тихонько открыла окно. Ночной холодок немно-го освежил и успокоил ее. «Все ли хорошо дома?» — подумала Клава, однако на этот раз мысли о доме не-долго занимали ее. Дом представлялся ей таким дале-ким и недоступным, что не верилось, что она всего лишь вчера была там, держала на руках Женю, укла-дывала его спать. Затем Клава стала припоминать свои сегодняшние встречи и разговоры с людьми и спросила себя: так ли, как надо, она вела себя с ними?

Пожалуй, вела она себя в общем правильно, но ни-чего практически полезного так и не сделала. И все-таки день не пропал даром, она это хорошо понимала. Знакомство с Бескуровым, Леной, Костей, Овчиннико-вым, с той молчаливой дояркой, которая, говорят, до войны была участницей Всесоюзной сельскохозяйст-венной выставки — разве этого мало? А завтра ей пред-стоит еще более интересный и, может быть, самый трудный день. Надо душевно подготовиться к нему,

еще раз все продумать, наметить план действий... Перед рассветом Клава задремала. Самое удивительное было то, что приснился ей Бескуров. Будто он вызвал ее к себе и принялся ругать за непорядки в животноводстве. Клава чувствовала, как горят ее щеки, и растерянно говорила ему: «Пожалуйста, отпусти меня домой, я больше не могу»..

Очнулась она с мокрыми глазами.

На дворе было уже светло, с кухни доносилось звяканье ведер, грузные шаги. Неужели проспала? Часы показывали пять. Клава вскочила с постели, быстро оделась. Хотела незаметно миновать кухню, но Серафима Полиектовна, с которой Клаве вчера вечером довелось наедине пить чай, удивленно-ласково спросила:

— Это ты куда же, голубушка, в такую рань?

— Хочу к утренней дойке поспеть. Я же говорила вам вчера. Еще просила разбудить пораньше.

— Как же, помню, помню. Ишь, подхватила! Ежели ты так вот с пяти часов начнешь по деревне мотаться, не надолго тебя хватит. А ты, девонька, умойся, молочка выпей, причешишься, а потом уж и иди. Да не бегом, а степенно, чай, ты не простая скотница.

— Это не важно, Серафима Полиектовна, мне бы, главное, успеть.

— Успеешь, успеешь, — махнула пухлой рукой хозяйка. — Небось, наши доярки еще своих коров не подоили, когда-то еще очередь до колхозных дойдет. Рукомойник у нас на «мосту», там и полотенце висит. Глянь-ко в зеркало, глаза какие красные да запухшие...

Клава сообразила, что и в самом деле неудобно появляться на ферме с заспанными глазами и прошла в сени, которые хозяйка назвала «мостиком». Из сеней две отдельные лестницы вели — одна вверх на сеновал, другая вниз — в хлев. На «мосту» находилась и кладовая, замкнутая огромным магазинным замком. Вдоль бревенчатых стен тянулись запыленные полки, заставленные разнообразной утварью — от старого хомута до молочной цедилки. Серафима Полиектовна уже подоила корову и сейчас готовила ей пойло. Перегнув дородный стан, она рукой размешала в ведре отруби, нарезала картошки, положила соли, затем мелко перекрестила ведро и стала спускаться в хлев. Оттуда несло низкое нутряное мычание. В ответ где-то в углу

хлева нетерпеливо хрюкал поросенок. Клава слышала, как ворковала хозяйка над скотиной — так же ласково, как за минуту перед тем говорила со своей квартиранткой.

Вчера Клава узнала, что Серафима Полиектовна ходила в город вовсе не в гости, хотя родственники у нее там были. Вернулась с покупками, и они-то явились главным предметом разговора за чаем. Лена пришла поздно, от ужина отказалась, ушла спать на сеновал. Клаве показалось, что Лена не в духе и что вообще у нее с матерью не все обстоит гладко, хотя Серафима Полиектовна проводила дочь любовно-горделивым взглядом, сказав: «С норовом девка, а люблю. Невеста растет — дай бог всякому»...

Клава помнила стычку Лены с бригадиром, реплику Прокопыча: «С вашей мамашей справишься, как же!», а также многозначительную усмешку Кости, когда он узнал, что Клава будет жить у Хватовых. Ее отношение к хозяйке странно двоилось, и это очень стесняло Клаву. С одной стороны — Хватова проявляла явное участие и заботу о новой квартирантке, была проста, радушна, необидно снисходительна, а с другой — все эти разговоры на лугу, какая-то скрытая неприязнь и недоговоренность, когда о ней заходила речь. И все-таки Серафима Полиектовна понравилась Клаве. Они так хорошо поговорили вчера, Клава даже и не заметила, как рассказала многое из своей жизни — так легко и просто было рассказывать...

Как ни спешила Клава, ей пришлось-таки и молока выпить, и домашнего пирога отведать, и причесаться тщательнее, чем обычно, потому что Серафима Полиектовна с ласковой требовательностью предупредила: «Там хоть потоп, а ты себя должна блюсти, пример показывать»... Лишь около шести Клава явилась на ферму и тут убедилась, что Серафима Полиектовна была права: дойка только начиналась. Уходили лучшие утренние часы пастбы, а на ферме почти безлюдно, и только многоголосое мычание разносилось в свежем, напоенном лесным ароматом воздухе.

Впрочем, первое впечатление оказалось обманчивым: люди на ферме были. Среди коров, стоявших у пустых кормушек, мелькали фигуры доярок. От деревни подходили еще две женщины. Неподалеку от входа

в скотный двор, на хлипкой, полуобвалившейся, изгороди сидел, помахивая длинным кнутом, пастух Захар Любкичев. С ним Клава была уже знакома.

— Видали? Сто разов говорено им, чтоб пораньше управлялись, так разве их прошибешь? С час уже жду, а у них не у шубы рукав... Подействуйте хоть вы на них, мне уж осточертело ругаться.

Захар был зол, но так как всё это повторялось каждое утро, злость была привычным его состоянием. Он просто отводил душу в присутствии нового начальства. Захар работал пастухом давно, лет пять, и считал это своей единственной обязанностью. Зимой отлеживался на печке, на ферму не заглядывал до весны. Но им дорожили, потому что других охотников пасти стадо не находилось. Сухой, длинноногий, в неизменных резиновых сапогах, ватнике и в выгоревшем кожаном картузе, Захар вполне соответствовал своей должности. И даже тогда, когда он сидел без дела, взгляд его оставался постоянно хищно настроженным, а кнут в заскорузлой руке — угрожающе поднятым. Казалось, вот-вот с его тонких, нервных губ сорвется знакомый любому деревенскому мальчишке крик: «Куда, куда, дура рогатая?! Я те дам!».

— Скоро выгонять? — спросила Клава, опасливо косясь на извивающуюся по земле плеть. — Ведь можно не всех сразу, дорогу коровы знают.

— Нет уж, спасибо, — отрезал Захар. — Разбредутся какая куда, а я их собирай? Вы лучше их, — он ожесточенно ткнул кнутовищем в сторону подходивших двух доярок, — их подгоняйте, а за мной дело не сганет.

... Когда Захар, звучно хлопая плетью, погнался, наконец, стадо, Клава собрала доярок в молокоприемной. Это было единственное подходящее и чистое помещение, с выбеленными бревенчатыми стенами, с сухим полом и двумя скамьями, на одной из которых стояли бидоны и другая посуда. Кособоко, на одном лишь гвозде, висела доска показателей, значились на ней и фамилии, но мел уже давно осыпался и прочесть что-либо было невозможно.

Доярки, рассаживаясь, с откровенным любопытством посматривали на Клаву, перешептывались, расправляли подоткнутые за пояс верхние юбки. Лишь

одна Татьяна Андреевна Белоглазова, нарядная и невозмутимая, держалась с достоинством. Она спросила у Клавы — надо ли вести протокол, придвинула ей табуретку, сама села поодаль, к окну. Оказавшись в центре внимания, Клава вдруг пожалела, что собрала доярок в помещении, а не на дворе. Все это смахивало на официальное собрание, а ей хотелось просто поговорить с доярками по душам. Она боялась, что не услышит здесь того, что хотела бы услышать, но делать было нечего. Клава решила выяснить положение и заговорила спокойно, негромко:

— С сегодняшнего дня, товарищи, мы будем работать вместе. Вы, конечно, и сами видите, что животноводство, у нас запущено. Вот вы, — Клава посмотрела на ту молчаливую пожилую женщину в синем платке, со строгим, нахмуренным лицом, с которой познакомилась вчера на пастбище, — вот вы, Анна Михайловна, сколько надаиваете в сутки от своей коровы?

— От которой? У меня их двенадцать, — сказала доярка, еще больше нахмурившись. Неровный, пятнами, румянец проступил на сухом, иссеченном морщинками лице.

— Нет, я имею в виду вашу личную корову, ту, которая у вас дома, — мягко пояснила Клава.

Доярки недоуменно переглянулись, а Анна Михайловна неохотно проговорила:

— Бывает, по десять литров надаиваю, а меньше семи не было.

— А от колхозных коров сколько?

— Сами видели, чего же спрашивать? — Анна Михайловна опустила голову.

Клава видела, но ей хотелось, чтобы об этом рассказали сами доярки. Она не успела спросить остальных — вмешалась Татьяна Андреевна.

— Понятно, к чему вы клоните. Только чего ж тут допытываться? Мы и сами знаем, что удои низкие, хуже некуда. А почему? Думаете, в нас причина? Вот Анна Михайловна когда-то первой дояркой в районе была, а теперь уж и не вспоминают об этом. Неудобно вспоминать, стыдно... И спрашивать у нее нечего. Вы лучше у правления спросите, почему наши коровы доить плохо стали.

— Ну, как, по-вашему — почему? — спросила Клава.

И тотчас со всех сторон посыпалось:

— Внимания к нам нету, вот почему!

— Полотенец, и тех нет, подошники дырявые. Похозяйски это?

— Тут ежели разобраться — бежать с фермы надо. Маемся с утра до ночи, а уважения нам ни в чем.

— У людей и запарники эти самые, и вода по трубам подается, а у нас что?

Клава знала: доярки преувеличивают свои беды, это уж вошло в привычку, особенно у тех, кто сам плохо работал, но она была довольна, что они разговорились. Молчала одна Анна Михайловна. С безучастным выражением на строгом лице она мяла в крупных потрескавшихся темных пальцах концы синего платка, иногда оглядывалась на кого-либо из говоривших и снова опускала глаза. Ее молчание смущало Клаву. Она робко спросила:

— Анна Михайловна, у вас разве нет никаких претензий?

Говор враз смолк. Даже Татьяна Андреевна, преврав себя на полуслове, села на место, отвернулась к окну. Все смотрели на эту пожилую, с печальными глазами, женщину, и Клава поняла, что здесь не часто слышат ее голос. Анна Михайловна поднялась с явной неохотой, но уже одно то, что она не стала говорить сидя, как все, взволновало и почему-то обрадовало Клаву.

— Как же, есть, не без этого, — тихо начала Анна Михайловна и натуго завязала концы платка под подбородком; подумала немного и продолжала громче: — Обида у меня особая, да не об ней речь. Тут говорили: того нет, этого не хватает, я с этим согласна. Уж который год вот так-то шумим, на правление пальцем показываем, а в правлении-то кто сидит? Такие же мужики и бабы, как мы с вами. Так и шло до последнего времени: мы их, а они нас укоряют. А толк какой? Выходило, что в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем. — Голос ее окреп, серые глаза стали строже. — Верно, правление виновато, но давайте и себя спросим: так ли мы работаем, как надо? Ну, хоть ты, Евдокия, скажи...

— Чего я буду говорить? — вспыхнула одна из мо-

лодых доярок, низенькая толстушка с румяным круглым лицом и широко расставленными сердитыми глазами. — Тебе хочется, так высказывайся.

— Не охотница я высказываться, да уж коли встала — скажу. Про то скажу, что мы и без правления могли бы сделать, а не делаем. Навозом наши коровы обросли — это не наших рук дело? Пригонят их вечером, наелись ли они — нам и горя мало. Травки им редко кто подбросит, некогда — о своей худобе забота. А доим как? Кто не поленится, тот на пастбище днем сходит, да и то не каждый раз. В других колхозах скот и ночует в лагере — долго ли навесы сделать? — а мы его гоньбой замучили. Бывает, выгоним часов в восемь, а в шесть уж обратно во двор. Откуда же удоев ждать? Я вот стала клевер да гороховину косить, своих коров подкармливать, а мне говорят: га, ей больше всех надо, опять на выставку захотела... Какая уж там выставка, не до этого. А раз новый председатель сказал: косите горох, не жалейте, пока он нежный да сочный — значит, всем это надо делать. Да и трава для подкормки найдется. Почему же мы этого не делаем? Сами видите — горох-то мне сразу по два литра прибавил. Ну, механизация, это понятно, враз не сделаешь, но Антон Иванович давеча мне сказал: будет и механизация, шефы помогут. А мы, к слову сказать, как иногда рассуждаем? Подайте нам все, а там поглядим. Для иных, чего уж греха таить, только та и корова, которая в своем хлеву. Ей и поило, и травка на ночь, и уход, а которая на общем дворе — ей, бедной, ничего разве не надо? Вот когда мы сами начнем за общее дело болеть, тогда и с правления можно все потребовать... Да и то, — добавила Анна Михайловна с посветлевшими глазами, — будто уж и заботы о нас нет? Когда аванс получали, ты, Дуська, первая обрадовалась: вот, дескать, спасибо Антону Ивановичу, вспомнил про нас. Другие только обещаниями нас кормили, а он взял да и выдал. Помните, как он сказал? Сейчас вы все по 5 копеек за выдоенный литр получаете, а план будете выполнять — вдвое больше получите, а если сверх плана — то и в пять раз. Вот я и думаю: раз председатель сказал — так и будет... Это, по-вашему, не забота?

— А мы и не отказываемся, — сказала Дуся. —

Только где он денег-то столько возьмет? Может их год ждать придется.

— Будем побольше молока надаивать — и деньги появятся, — ответила Анна Михайловна.

— Вот ты сказала: с себя, дескать, надо начинать, — сухо заговорила Татьяна Андреевна. — Выходит, по-твоему, с правления и требовать нечего?

— Как это нечего? — возразила Анна Михайловна. — Да как мы требовали-то, Татьяна Андреевна? Так, пошумим промеж себя, а чтоб добиться чего — этого не было. Ну, правда, когда и говорили, то слушали нас худо, все по-старому оставалось. Теперь, при новом-то председателе, знать, по-другому будет. Вот и животехника нам прислали — тоже подмога (Клава и Татьяна Андреевна не могли скрыть улыбки: очень забавным показалось им это неожиданное и в то же время многозначительное слово «животехник»). Только я опять повторяю: самим надо лучше работать. А то вот вчера Дуська прогуляла где-то, утром совсем не пришла, какую корову успели подоить, какую, может, и нет — ладно, сойдет... А раз ты здесь бригадир, значит, должна за порядком смотреть, спрос с нее учинить.

— Я ей сделала замечание, а что же еще? Может, коров надо было за нее доить? — изогнув черную бровь, с вызовом сказала Татьяна Андреевна.

— Замечаний-то у нее, поди, уж сто набралось...

— Так что же, выгнать ее?

— Я и сама уйду, — крикнула Дуся. — Давно прошусь, чего ж не отпускаете?

— Никуда ты не пойдешь, не кричи. А исправляться надо, до каких пор в бирюльки играть? — строго сказала Анна Михайловна и села. Дуся яростно взглянула на нее, однако промолчала.

— Вы будете говорить? — официальным тоном обратилась к Клаве Татьяна Андреевна.

Клава кивнула, перебирая в уме, что же сказать. Конечно, настроение у доярок сейчас иное, чем в начале, но ясно, что Анна Михайловна не смогла убедить их до конца. Слишком уж неожиданно и непривычно то, что от них требуют. Да и сама Анна Михайловна опять потупила глаза, словно стыдясь собственной смелости. Но, так или иначе, Клава не сомневалась, что

старая доярка поддержит ее, а это многое значило. И Клава сказала:

— С сегодняшнего дня, девушки, мы часто будем вот так собираться и сообща решать, что надо сделать, чтобы удои не падали, а росли. Во-первых, заведем строгий учет — кто сколько надоил и от какой коровы. Зеленую подкормку введем обязательно — без нее все наши старания пользы не принесут. Вы и сами понимаете это... Утреннюю дойку будем заканчивать в половине шестого, не позже...

Ее перебило сразу несколько голосов:

— А дом на кого бросить?

— Другие в девять часов на работу выходят, а мы, значит, на особицу?

— Печку истопить, скотину прибрать — все сама, помощники-то у меня еще под стол бегают. Что же мне, разорваться?

— Вам дородно одной-то: туфельки обула и готова...

Все это тоже было знакомо Клаве: недаром она выросла в деревне. Столь явное противодействие придало ей решимости. Переждав гомон, она тем же ровным голосом повторила:

— Утреннюю дойку будем заканчивать к половине шестого, иначе никак нельзя. В общем, девушки, дел много. Не сделаем мы — кто же за нас сделает? Начнем сперва с распорядка дня, а там и за остальное. Ваши претензии я правлению передам, станем добиваться, чтобы они были выполнены. Все в наших руках. Неужели не осилим?

Клава с надеждой оглядела доярок. Ответом ей было тягостное молчание. Затем произошло то, чего Клава никак не ожидала: доярки, сидевшие ближе к дверям, поднялись, поспешно стали расходиться. Вышла из молокоприемной и Анна Михайловна...

#### IV

До сих пор Клава думала, что все самое тяжелое и мрачное, что могло случиться в ее жизни, уже случилось, пережито и не повторится никогда. Она считала себя теперь достаточно опытной, у нее была ясная цель, вернее, две цели, слившиеся в одну, — работая, воспитать сына, вырастить из него честного, хо-

рошего человека. Клава определила эту цель давно, почти сразу после разрыва с Борисом, и с тех пор неуклонно стремилась к ней. Многого она уже сумела достичь: наконец-то окончен техникум, получена самостоятельная работа, а дальше, казалось ей, все пойдет легче и проще. Самым трудным было получить специальность, и вот она имеет ее. Торопясь в колхоз, Клава говорила себе: я выросла и долго жила в деревне, знаю тамошних людей и их заботы, ничего необычного или страшного не увижу, особенно теперь, когда у меня есть знания и некоторый жизненный опыт.

И все-таки действительность если и не опрокинула, то сильно поколебала ее веру в свои силы и способности. Это был экзамен посерьезнее, чем в техникуме. Если там всегда под руками были учебники, то здесь никто не скажет ей, почему, например, ушла с собрания Анна Михайловна Хребтова, так прямо и откровенно рассказавшая о недостатках на ферме? Клава так на нее надеялась! Вот с Татьяной Андреевной как-то яснее: та сама заявила, что работа на ферме ее не устраивает и вообще «все надоело». Дуся кричала просто потому, что ей нечего было сказать в оправдание, а к тому же она отлично знает: доярки в колхозе на перечет, заменить ее будет трудно. И многие так рассуждают: плохо работаем — увольте, сделайте милость, жаловаться не будем...

Понятно, что подобные настроения зародились не сейчас, враз с ними не покончишь. Но перемены неизбежны, потому что каждый видит: партия, весь народ всерьез взялись за подъем сельского хозяйства. Догнать Америку по производству молока, масла и мяса на душу населения! Ох, какая это трудная, но и почетная задача! Трудная для каждого колхоза по-своему. В «Восходе», к примеру, слишком уж привыкли к беспорядкам, как-то сжились с ними и плохо верят, что у них возможны перемены к лучшему. Вот в других колхозах, побогаче да посильнее — да, а у них — нет. Клаве уже пришлось услышать, как один из колхозников, прочитав в газете об успехах передового в районе колхоза «Строитель», сказал: «Ну, там — другое дело, у них и председатель башковитый и условия не те, что у нас»... Клава бывала в «Строителе» и знала, что ни-

каких особых условий там нет, просто порядка больше, но переубедить колхозника не могла. Очевидно, убедить его можно только делами, а дела в «Восходе» пока еще не блистали.

Что ж, для того они и посланы сюда с Бескуровым, чтобы доказать колхозникам, убедить их: все зависит от вас самих, товарищи. Убедить и заинтересовать в труде, который один — источник силы и богатства. Партия говорит: энтузиазм плюс материальная заинтересованность — вот верный путь к новому крутому подъему. Именно так. Бескуров просто молодец, что нашел возможность авансировать животноводов, несмотря на скудность колхозной кассы. Что бы там ни говорили доярки, а это их здорово обрадовало. Затраты, конечно, окупятся с лихвой, а ради этого не стоит жалеть средств.

Еще будучи в городе, Клава слышала, что готовится районное совещание животноводов. Предполагалось собрать не одних передовиков, как это делалось раньше, а всех, без исключения, работников животноводства, дать им возможность рассказать о своих нуждах, поделиться опытом, сообща посоветоваться, как работать дальше. Лучшим, а также проработавшим в животноводстве по многу лет будут вручены подарки. Это очень хорошо. Люди всегда ценят внимание, а этого-то как раз и не хватало подчас дояркам. Напрасно Клава не рассказала им о предстоящем совещании. Впрочем, она еще успеет это сделать. Сейчас главное — сойтись с ними поближе, особенно с Анной Михайловной и с той черненькой, с косами, Аней, которая тоже очень понравилась Клаве. Клава даже и не сказала ничего про доску показателей, лишь выразительно посмотрела на нее, а эта смуглянка уж догадалась в чем дело, схватила табуретку, повесила доску на второй гвоздь и переписала заново фамилии. Потом Клава разговорилась с ней и убедилась, что Аня поддержит ее во всем. Но все-таки первое впечатление было невеликое.

Перед обедом Клава узнала, что в конторе идет заседание правления. «Могли бы меня известить, — ревниво подумала она. — Или не считают нужным мое присутствие?» Она решила, несмотря на возникшую обиду, пойти, так как всяких вопросов у нее накопи-

лось немало. Ремонт конторы не был еще закончен, но и сейчас она уже выглядела эффектно: крыльцо совершенно новое, в самой избе появились три кабинета — один побольше для заседаний, второй — для председателя, третий — для заместителя и бухгалтера. Переборки только начали ставить, однако планировка была достаточно ясной. Клава вошла незаметно, присела на кончик скамейки у самых дверей, едва сдерживая кашель от едкого махорочного дыма. Тут был сам Бескуров, знакомые Клаве Овчинников и Сухоруков, какой-то досиня выбритый человек в полувоенном костюме, еще один — длинношей, благообразный, с седыми завитками волос вокруг лысины, еще пять или шесть мужчин. Говорил Бескуров.

— Вы же отлично знаете, товарищи, что эти отдаленные и труднодоступные участки не выкашивались годами. Просто не хватало ни сил, ни времени для этого. И теперь мы их освоить не в состоянии, это тоже ясно каждому. Так в чем же дело? Почему мы эти восемьдесят гектаров не можем по договору отдать лесопункту при условии, что шестьдесят процентов заготовленного сена пойдет колхозу, а сорок — государству?

Бескуров, нервно крутя в руках пресс-папье, как видно, не первый раз задавал этот вопрос и ждал ответа. Все, однако, молчали и усердно дымили кто цыгаркой, кто папирсой. Наконец, послышались отдельные голоса.

— Оно бы выгодно, да закон не позволяет...

— Пробовали мы однава так-то сделать, прокурор сказал: не имеете права торговать колхозной землей. Отвечать, мол, будете. А кому же охота отвечать? — сказал длинношей (как потом узнала Клава, это был бригадир третьей бригады Прохоров).

— Да, операция, как ни поверни, противозаконная, — скромно потупив глаза, подтвердил человек в полувоенном костюме — Платон Николаевич Звонков.

— Да какая же это торговля? — начиная терять терпение, спросил Бескуров. — Земля была и останется нашей, но раз мы ее не в силах освоить, почему она должна пропадать без пользы? Не вижу в этом никакого здравого смысла. Вот уж поистине: сами не едим

и другим не дадим. Ведь вы же эти участки из года в год оставляли нетронутыми, так?

— Верно, пропадала трава за-зря, — кивнул Сухоруков.

— А там сотни центнеров сена! — с силой сказал Бескуров и пристукнул по столу пресс-папье. — Что, они нам не нужны? За их счет мы сможем лучше обеспечить сеном честных колхозников и вдоволь за-пасти кормов для общественного скота. Я согласен, если судить формально — это, может быть, и противозаконно, а если по существу — это государственный подход к делу. Сено требуется и колхозу, и лесопункту, а ведь лесопункт — не частная лавочка. Какие еще будут мнения?

Снова наступило неловкое молчание. Звонков не поднимал глаз, как будто дело его не касалось, Прохоров сосредоточенно глядел в потолок, словно обнаружив там что-то интересное. Клава поняла, что остальные смотрят на этих двух, но вдруг Сухоруков брякнул по столешнице единственным своим кулаком, яростно сказал:

— Какого черта! Дело ясное! Заключай, Бескуров, договор и баста.

— Известно, волков бояться — в лес не ходить, — поддержал Овчинников. — Время уходит, а мы тут толчем воду в ступе.

Бескуров перевел взгляд на Звонкова и Прохорова, но те только плечами пожали: дескать, вы решили, вы и отвечайте, а мы тут ни при чем. Бескуров понял это, гневно сверкнул глазами:

— Ладно, отвечать буду я... Афанасий Петрович, — обратился он к бухгалтеру Давидонову, — сколько у нас на сегодняшний день застоговано сена?

Тот, бережно поправив галстук под вельветовой курткой, неспеша порылся в бумагах, с озабоченным видом пощелкал на счетах и отчеканил:

— Сто тридцать две с половиной тонны, или тысяча триста двадцать пять центнеров.

— Это по данным бригадиров?

— Само собой, по их данным, — несколько удивленный вопросом, сказал Давидонов.

— Так вот, товарищи, это липовые данные, — объявил Бескуров, обращаясь ко всем. — Стога и скирды

у нас обмеряются наглазок, как кому бог на душу положит. Почему в прошлом году у вас получился просчет в кормовом балансе? Да потому, что на бумаге было одно, на деле — совсем другое. Начисление сена на трудодни производилось тоже по этим вот данным. Понятно, если они преувеличены — понесет убыток колхоз, а если преуменьшены — в обиде останутся колхозники. Пора с этим кончать. Предлагаю создать авторитетную комиссию под руководством зоотехника и произвести точный обмер всех стогов и скирд. Тогда и в расходовании сена в зимний период не будет ошибок. Есть возражения?

— Лишняя работа, — сказал негромко Прохоров. — У меня глаз верный, да и другие не новички.

— А вот мы проверим. Кто еще хочет высказаться?

— Что там говорить, прогорали мы на этом деле. Я за комиссию, — поднял руку Иван Иванович Сухоуков. Возражений больше не было.

— О поощрении работников полеводства в первые десять дней уборки мы уже, кажется, договорились. Давайте не менять собственных решений: полагающийся хлеб на трудодни выдавать сполна и в срок, — еще раз напомнил Бескуров, и Клава заключила, что, видимо, и по этому вопросу правленцы жарко поспорили. — Это поможет нам быстро и без потерь убрать зерновые. Теперь насчет всякого рода рваческих элементов... — Бескуров вышел из-за стола и тут только заметил Клаву, она, заинтересованная тем, что тут происходило, смотрела на него во все глаза, боясь пропустить хоть слово. Бескуров чуть кивнул ей, улыбнулся, словно хотел сказать: «Это хорошо, что вы здесь» — и продолжал: — Партия и правительство предоставили нам право самим планировать производство, вносить изменения в Устав сельхозартели. Ну, что касается производства, то тут нам еще думать и думать надо, а вот Устав вы разработали и приняли хороший. Одно плохо: забыло правление о нашем Уставе, а лодыри этим пользуются. Есть, к примеру, в Уставе такое положение: урезывать приусадебные участки у тех членов колхоза, которые злостно и беспричинно не выработывают минимума трудодней. Правильное это положение? Безусловно. Нельзя терпеть, чтобы лодырь наравне с честным работником пользовался всеми пра-

вами члена колхоза, жил на его земле и не нес никаких обязанностей. Было ли хоть раз применено это положение к одному из наших «шабашников» и тунеядцев? Я что-то об этом не слышал. Выходит, мы сами потворствуем тунеядству и стяжательству и, значит, расхолаживаем честных тружеников. Они показывают пальцем в того же Петра Саватеева и говорят: вот он не работает в колхозе, а живет лучше меня. Конечно, трудодень у нас пока не очень-то грузен, но если все будут трудиться честно, тогда мы даже базарнику докажем, что единственно верным источником благополучия является колхоз, общественно-полезный труд. А это время не за горами...

— Дай-то бог!

— Саватееву докажешь, жди...

— А ведь верно, про Устав-то мы забыли, елки-палки...

Бескуров выждал тишину, сказал:

— Отныне Устав всегда будет лежать у меня на столе, пока наизусть не выучу. А к бригадирам у меня такая просьба: предупредить об этом кого следует, чтоб в случае чего не отговаривались, будто они не знали. Понятно?

— Это-то понятно! — удовлетворенно хохотнул Овчинников. — Давно бы так. Ты вот что еще, Антон Иванович, скажи. Как будет с тем сеном, которое иные пристегай-колхозники самовольно нахапали?

— А ты не знаешь как? — спросил Бескуров. — Создай комиссию, выяви это сено и оприходуй, ясно?

— Ну, это я с моим удовольствием обтяпаю, — тотчас сказал Матвей Сидорович. — Я-то наперечет этих хапуг знаю.

— Гляди, Сидорович, как бы тебе самому бороду не обтяпали, — полусерьезно, полунасмешливо вставил Прохоров.

Кое-кто рассмеялся, а Овчинников сердито повернулся к Прохорову, с застарелой неприязнью сказал:

— Ты-то, конечно, по сеновалам не пойдешь, потому как у тебя там кругом дружки да родственники. А пошарить у них надо бы, ох, надо...

— Длинный у тебя язык, Матвей, а послушать нечего, — холодно проговорил старик Прохоров и встал. Клава заметила, что у него такие же длинные руки и

ноги, как и шея, а туловище плоское, короткое. Мысленно она сравнила его с осьминогом, хотя и сознавала, что сравнение это грубое и не совсем удачное. Но ничего другого в голову не пришло. Прохоров, подняв маленькую горбоносую голову, с достоинством вышел в сени. Вслед ему Овчинников язвительно процедил:

— Не понравилось, видать. Сказать-то нечего, вот и поперся...

Вскоре стали расходиться и остальные. Клава видела, как Звонков вытащил из портфеля какую-то бумажку и вполголоса заговорил с Бескуровым. Тот морщился, недоверчиво вскидывал на завхоза серые, заметно усталые глаза, а потом подписал бумажку, и Звонков сразу точно испарился. Клава подошла к столу.

— Ну, как дела? Где были, что видели? Рассказывайте, — оживленно заговорил Бескуров, и все его лицо, энергично-моложавое, резковато, но не грубо очерченное, с чуть приметной ямочкой на подбородке, как-то неуловимо прояснилось и показалось Клаве простым, добрым и веселым. Прядка русых волос упала на высокий, с небольшими залысинами, лоб, Бескуров ладонью отбросил ее назад, положил руки на стол и приготовился слушать. Взгляды их встретились, и Клава не сразу отвела глаза и даже не почувствовала никакого смущения, хотя вообще-то легко смущалась.

Она негромко стала рассказывать о своих впечатлениях, об Анне Михайловне и Дусе, передала претензии доярок, высказала и собственные соображения. Бескуров слушал внимательно, временами то удивленно, то задумчиво произносил: «Вон как!.. Ну, ну, понятно»... и не спускал с Клавы глаз даже тогда, когда доставал папиросу и закуривал.

— Да, конечно, во многом они правы, — заговорил он, когда она кончила. — Я считаю, что животноводство — наиболее трудная и сложная отрасль, и за нее надо браться всерьез и по-настоящему. Очень хорошо, что вы приехали, Клавдия Васильевна, без специалиста нам было бы в десять раз труднее. Ладно, что можно, мы сделаем для доярок немедленно. Я скажу Звонкову, чтоб он обеспечил их одеждой и инвентарем. Авансировать их будем аккуратно, можете им это обе-

щать. Ферму обязательно механизуем к осени. Придут ребята с литейно-механического, с ними я договорился. Надо нам найти на фермы подменных доярок, чтобы люди имели возможность пользоваться выходным днем. Нельзя же так — изо дня в день, из года в год, без выходных. А насчет стойлово-лагерного содержания — с этим придется, я думаю, подождать. Просто не успеем мы это дело организовать, лето-то на исходе. А на будущий год — обязательно. На дневную дойку выделим лошадь, чтоб доярки не ходили пешком. Травы для подкормки поблизости мало, это верно, поэтому не жалейте, косите горохо-овсяную смесь, пока она не огрубела, не потеряла вкуса для коров. А то здешний народ удивляется: как можно горох скормливать скоту! Ведь это же горох, не трава... Им его жалко, а того не понимают, что сейчас горох — это молоко, много молока. В будущем году этим горохом и клевером мы засеем в три раза больше земли, чем нынче. Я так считаю, что если мы ничего не пожалеем для коров, то и они для нас тоже не пожалеют молока. — Бескуров улыбнулся, улыбнулась и Клава. Она слушала его с восторгом — столько силы и уверенности было в его словах. Он как бы открывал перед ней дверь в будущее, за которое она должна была бороться, и ей казалось теперь, что она знает как бороться. А если в чем и ошибется — Бескуров поможет ей.

— Но главное, конечно, — люди, — сказал Бескуров, прямо, но как-то ненавязчиво, доброжелательно смотря ей в глаза. — Все зависит от них, одни мы ничего не сделаем. Воодушевить их, зажечь стремлением идти вперед — вот наша задача. А люди здесь в большинстве хорошие, с ними можно горы свернуть. Разная там накипь, примазавшаяся к нашему великому делу — не в счет, хотя она всегда нам мешала и будет мешать. Взять хотя бы... впрочем, я не то хотел сказать... Есть и просто люди с отсталыми взглядами, заблуждающиеся или ошибающиеся — этих мы должны поставить на правильный путь и поставим. Сама жизнь поставит... Ну, — опять улыбнулся он, — я тут вроде агитирую вас, а это совсем уж лишнее. Скажите, познакомились вы со своей хозяйкой, а?

— Да, познакомилась. И знаете, она мне понравилась. Очень, по-моему, добрая женщина.

— Ну, коготки она не всякому кажет. А вы для нее — явно выгодный постоялец, зачем же ей обижать вас?

— Какая же от меня выгода? — рассмеялась Клава. — В общем, я пока довольна, а там видно будет. А вы у кого живете, Антон Иванович?

— У Белоглазовой, — невнятно ответил он. — Но это временно, придется подыскать что-нибудь другое. Так вы куда сейчас?

— Схожу еще на свинарник, очень уж там грязно. — Клава встала, жалея почему-то в душе, что разговор кончился так внезапно. — Вы слышали, Антон Иванович, что в марте и апреле здесь продали за бесценок около двухсот поросят двухнедельного возраста? А ведь летом мы бы их легко продержали и выручили бы в двадцать раз больше. А кроме того, имели бы разовых свиноматок.

— Да, слышал об этом. Разбазарили поголовье, а оправдание такое: дескать, наличные деньги и никаких хлопот. Хлопот, действительно, нет, но и мяса тоже нет. Деньги, наверно, были, да в колхозную кассу попали крохи. Коноплев в то время уже болел, ну, Звонков, видать, и разворачивался.

— Да, обидно, — начала Клава, но поскольку Бескуров встал, собираясь уходить, ей ничего не оставалось, как попрощаться и выйти из конторы...

## V

Прошло несколько дней. Для Клавы это были беспокойные дни. С утра она шла на ту или иную ферму, следила за дойкой, постепенно изучала стадо, беседовала с людьми, работала рядом с ними, днем вместе с председателем ревизионной комиссии, кладовщиком и Костей Проскураковым заново обмеривала на лугах стога сена, составляла соответствующие акты. Как и предполагал Бескуров, точный обмер выявил большую разницу между фактическим наличием сена и сводками. Подвел «верный глаз» Якова Игнатьевича Прохорова: у него оказалось сена чуть не в полтора раза больше, чем числилось в книгах у Давидонова. По этому поводу у Кости с бригадиром произошел такой разговор:

— Это вы чем же руководствовались, Яков Игнатьевич, когда этак-то обмеряли стога?

— Справочником, чем же? — огрызнулся Прохоров. — Сельхозгизом издан, могу показать.

— Да нет, я не о том спрашиваю, — спокойно продолжал Костя. — Куда лишнее-то сено должно было пойти?

— Как куда? Ты дурачком-то не прикидывайся и воду не муди, молод еще. По-твоему, цифрами скот можно накормить? Туда бы и пошло, куда ему богом предназначено — в кормушки коровам, лошадям да овцам.

— Это, конечно, так, — не без ехидства проговорил Костя, — только неизвестно, в чьем хлеву эти кормушки находятся.

Яков Игнатьевич смерил Костю презрительным взглядом и с достоинством удалился. Костя посмотрел ему в спину, усмехнулся.

— Не хочет даже разговаривать... Ох, и хитрющий мужик. Заметили, Клавдия Васильевна, колхозники его побаиваются, а почему? Захочет — озолотит, не захочет — по миру пустит. Кержаки, живут в лесу на отдалеке, сват да брат кругом, ну, и молчат. Яков-то Игнатьевич до укрупнения колхозом в Ельниках верховодил, да он и сейчас хозяином себя чувствует. Учетчика себе завел, а люди говорят: никакой он не учетчик, а самый настоящий бухгалтер. Так сказать, двойной учет с Давидоновым. Что — колхозу, что — себе или на сторону...

— Зря ты это, Костя, — сказал председатель ревизионной комиссии. — Фактов-то у тебя нет, чего же наговариваешь на человека?

— Потому и фактов нет, что тонко все делается. Слухи-то идут, а зря народ говорить не станет. Вот вы бы взяли да проверили, тогда и факты бы появились.

— Думаешь, не проверяли? Однако ничего такого не обнаружилось...

— Значит, плохо проверяли, — упрямо сказал Костя.

Председатель махнул рукой...

Клаву это не особенно интересовало, ее мысли были заняты другим. Хотя некоторые перемены к лучшему на центральной ферме всем бросались в глаза, Клава

понимала, что сделано еще очень мало. Отношение к ней доярок по-прежнему оставалось неопределенно-выжидательным: поегозит, мол, новый зоотехник на первых порах, а потом привыкнет и успокоится. Установленный ею распорядок соблюдался туго, с пререканиями, но утешало то, что Анна Михайловна и Аня Сушкова открыто поддерживали Клаву и при случае крепко, по-свойски, стыдили и отчитывали нерадивых. Как скоро убедилась Клава, Анна Михайловна была поистине великой труженицей. Несмотря на то, что у нее на руках было трое детей (муж умер два года назад), Хребтова лучше других управлялась с домашним хозяйством и всегда первой приходила на ферму. Казалось, она и минуты не сидела без дела. Проводив коров на пастбище, Анна Михайловна сразу же принималась чистить стойла, потом брала косу и шла в поле или в ближайший овраг, где по склонам росла хорошая трава, возила накошенную зеленку на скотный двор, потом носила воду и сливала ее в огромный котел на кормокухне. Придя домой, бралась за посуду, мыла, скребла, подметала в избе, штопала ребячью одежду, поливала грядки, полела и окучивала картофель... Ее и в темень, когда уставшие люди зажигали огонь, ужинали или уже отдыхали, можно было увидеть за работой дома, а то и в огороде. Проходя, иные женщины спрашивали: «Анна, ведь спать пора, неужели ты не устала?» А она в ответ, не разгибая спины: «Вот грядку доплю и пойду»...

Тем обиднее было Клаве видеть, что, хотя Анна Михайловна явно одобряет и поддерживает ее действия, она в то же время почему-то сторонится ее, на вопросы отвечает неохотно, кратко и сухо. Клава терялась в догадках, нервничала. Наконец, улучив момент, когда Хребтова, закончив вечернюю дойку, отправилась домой, Клава пошла вместе с ней. Долго и мучительно подыскивала слова, чтобы начать разговор, и заговорила совсем не о том, о чем хотела.

— Сегодня «Красавка» опять прибавила молока. По-моему, она вполне может давать литров десять, а то и двенадцать. Сколько она зимой давала?

— Кабы кормов было в достатке, «Красавка» после отела больше пуда дала бы, — с тихой гордостью за свою любимицу сказала Анна Михайловна, и глаза ее

потеплели. — А у нас ведь как — сено да солома, концентратов редко бывает, покупать их не на что, силосу тоже мало. Ох, как силос коровы любят! А у меня и «Фея» молока прибавила, видели?

— Да, я знаю, — кивнула Клава. — А вот у остальных доярок пока все по-старому.

— Ленятся — вот и по-старому. Дуська кинула вчерась охапку травы, а чтоб последить, как коровы ее поедят — где там! Сейчас же и след простыл. Все гулянка у нее на уме.

— А вот Аня старательная, только коровы у нее очень уж запущенные.

— Ничего, поправятся. Она ведь недавно их приняла. Конечно, Анька Дуське не ровня. Вот только нетерпеливая она, доить худо умеет, учить еще надо.

— Вот если бы вы ей показали, Анна Михайловна, она бы живо переняла.

— А я и так показываю. Она, и верно, переимчивая понятливая девка...

— Помните, Анна Михайловна, наш первый разговор, в молокоприемной? — волнуясь, сказала Клава. — Ну, вот, мне все хочется спросить: почему вы тогда ушли? Говорили всё правильно, хорошо, а тут встали и вышли...

Что-то дрогнуло в лице доярки — то ли брови враз опустились, то ли морщинок прибавилось вокруг скорбно сжатого рта. Она стиснула шероховатыми, темными пальцами концы платка, с минуту шла молча, потом тихо и невнятно ответила:

— Стыдно было, вот и ушла...

Клава не совсем поняла, почему Анне Михайловне было тогда стыдно, но расспрашивать она не решилась. Так они и дошли молча до дома Хребтовой. Доярка взялась уже за кольцо, вдетое в калитку, но вдруг обернулась, обдала Клаву прямым горячим взглядом.

— За себя было стыдно, девушка, да и за других тоже, ох, как стыдно... Да разве мы не видели раньше, как у нас плохо? Я-то разве не замечала? Все замечала, да притерпелась, рукой на все махнула. А ты пришла и нас уговариваешь: неужели, мол, не осилим? Я в ту ночь долго не могла уснуть, так-то уж горько было. А что ушла, так ты на это не обижайся, сдуру это я...

— Что вы, я нисколько не обижаюсь, — обрадованно и благодарно сказала Клава. — Какие могут тут быть обиды. Мне главное, чтобы откровенность между нами была, доверие. Вы не представляете, у меня сейчас будто гора с плеч!.. Спасибо вам.

— Да уж тебе спасибо-то, а не мне, — впервые улыбнулась Анна Михайловна. — Ну, я пойду, ребята, поди, заждались, есть хотят...

Так началась дружба Клавы Клементьевой и Анны Михайловны — неприметная для посторонних глаз, немногословная, строгая, но крепкая и душевная, несмотря на разницу лет. Клава не раз потом вспоминала этот вечерний разговор у калитки и признание Анны Михайловны о том, что ей было стыдно, и все более убеждалась в искренности и правдивости этого признания. Опытная доярка, когда-то участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, портреты в районной газете, а теперь... Но кто же виноват? Конечно, в первую очередь война, да ведь после нее прошло уже двенадцать лет. Почему же оказалась забытой Анна Михайловна? И разве она одна? Порастеряли в районе бывших передовиков, старых мастеров своего дела. А ведь если бы о них вовремя вспомнили, поддержали, помогли — разве ж они не доказали бы вновь свое умение? Сколько драгоценного опыта пропало зря, а между тем молодежь так нуждалась в нем! Как иногда бываем мы расточительны! Ведь ясно же, что при плохом руководстве все силы и свое мастерство Анна Михайловна была вынуждена тратить на мелочи, биться, как рыба об лед, в тисках бескормицы, разного рода неполадок и закоренелого равнодушия к ее труду. О высоких ли надеях было ей думать! Конечно, в первое время она не сдавалась, но в конце концов и ее засосала рутина, одолело отчаяние. Как же обрадовалась старая доярка, когда узнала о решениях партии и правительства по подъему сельского хозяйства. Она одобряла их всем сердцем, и хотя у них в колхозе больших перемен пока не было заметно — Анна Михайловна верила: перемены будут, обязательно будут. Она, в отличие от многих, считавших, что хорошая жизнь теперь придет сама собой, понимала, что перемены зависят и от нее, и от Дуси, и от председателя колхоза и стремилась своей работой приблизить их. Она как-то

сказала Клаве: «Были у меня и такие думки: на покой, мол, пора, наработалась вдоволь, силенок стало маловато. А теперь нет, не уйду, пока колхоз на ноги не поставим. Читаю в газетах — везде, во всей стране колхозы поднимаются, крепнут, прямо-таки как на дрожжах растут, значит, и мы сможем. Такие же там люди, как у нас, только работают, видать, получше. А мы-то что — разве работы боимся?».

Столь же близко, но на другой основе, сошлась Клава с Леной Хватовой. Дело в том, что уже после двух-трех вечеров, проведенных в душевных беседах, Клава все узнала и о Володе Шишкине, и о Мишке Чиркове, и о многих других знакомых Лены. В то же время, помня первый разговор на лугу, Лена почти ни о чем таком не расспрашивала Клаву и всячески подчеркивала, что ее откровенность — просто-напросто ее потребность, так уж она устроена. А Клава может молчать и таиться сколько ей угодно, это ее дело. Но Клаве становилось всё труднее и труднее молчать. Ни работа, ни новые знакомства не могли заглушить тоски по дому, где остались самые дорогие для нее существа. Клава хотела было побывать в городе в прошлое воскресенье, но в субботу приехал главный зоотехник МТС (она сама его вызвала) и отлучиться не удалось. А потом навалилось столько забот, что об отлучке просто стыдно было и думать. И вот, волнуемая рассказами Лены, принимая близко к сердцу ее переживания, Клава все сильнее ощущала потребность высказаться самой, поделиться с подругой тем сокровенным, что уже давно просило выхода. Она не была вполне уверена, что Лена правильно поймет ее, но что Лена искренно посочувствует ей — в этом Клава не сомневалась. А разве этого мало? Но пока удобного момента не подвertyвалось, и Клава молчала.

Она не без удивления заметила, что предупреждение правления — применить некоторые положения Устава к тем, кто систематически не выполняет минимума трудодней, — нарушило семейную идиллию Хватовых. Серафима Полиектовна была явно обеспокоена и даже отложила поездку в город, хотя в кладовке уже стояли корзины с разной огородной снедью, а полки ломились от банок со сметаной и творогом. На другой день, едва обрядившись, Серафима Полиектовна от-

правились посоветоваться с нужными людьми, провожаемая приглушенной репликой дочери:

— Ну, пошла сарафанная почта...

Мать или не услышала этого напутствия или не подала виду, что оно относится к ней, проворно спустилась с крыльца, вспомнила о чем-то и истово перекрестилась (Лена, наблюдавшая за матерью из окна, прыснула в занавеску), уже от калитки крикнула:

— Поросят не забудь прибрать, ветрогонка. Может, они уж колоду вверх дном опрокинули, поди, глянь.

— Ладно, — буркнула Лена.

Клава вышла из своей комнатки, с улыбкой спросила:

— Чего это мать не в духе? О чем вы давеча в сенах спорили?

— Перекинулись малость, — небрежно ответила Лена. — Я встала, смотрю, она огурцы пересчитывает. Говорю ей без всякой задней мысли: «Ты, мама, эти штучки оставь, а то живо прищемят. Иди лучше к бригадиру за нарядом». Ну, она и накинулась. Дескать, молода еще учить, сама знаю, для тебя же стараюсь, ну и так далее. Обозлилась страшно, а мне что? Не я ведь этот Устав придумала, общее собрание принимало. Хотела по-хорошему предупредить, а она раскричалась.

— Ты-то сама как считаешь — правильно это?

— Устав-то? Конечно, правильно. Моя бы власть, я бы давно этих околоколхозников, вроде моей мамашки, прищемила. А то какие же это порядки? Работать не работают, только воду мутят, а им все права и привилегии. Ведь знают же, черти, что без колхоза им не жизнь, а помочь не хотят. Ничего, сейчас засуетятся, как тараканы, Бескуров, видать, шутить с ними не будет.

— Думаю, что не будет, — подтвердила Клава.

Хотя Лене, прежде чем отправиться на работу, предстояло еще заглянуть в хлев, она не забыла покрутиться перед зеркалом, поправить волосы и одернуть кофточку. Затем она выпорхнула в сени, а Клава подумала: к чему могут привести эти ее стычки с матерью? Хотя Серафима Полиектовна души не чаяла в дочери, вряд ли она будет терпеть подобные уколы.

Для кого она старается, в самом деле? Клава, неизвестно почему пользовавшаяся неограниченным доверием хозяйки, не раз слышала от нее жалобы на Лену: «Я для нее последние силы убиваю, а ей всё трын-трава. Мне-то одной много ли надо?»... Действительно, после каждой поездки в город у Лены появлялись обновки. И хотя Лена явно не одобряла образа жизни матери, обновкам она радовалась не меньше, чем ребенок новой игрушке. Раньше она говорила так: «Мне-то какое дело? Начальство мамаше в рот смотрит, а я что могу сделать? Словами ее не перевоспитаешь, да и не одна она такая, за всех разом надо браться». Теперь, когда начальство решило за них «взяться», Лена целиком была на его стороне. В конце концов, ей надоело выслушивать от людей разные упреки в адрес матери. Куда будет лучше, если она по-честному возьмется за работу в колхозе. Давно пора...

Обычно Клава и Лена почти не встречались днем, но сегодня, забежав на минутку перекусить, Клава застала подругу дома и в самом необычном состоянии. Она сидела на стуле с безвольно опущенными руками и отсутствующим взглядом смотрела в окно. Тетрадка с измятыми корочками сиротливо лежала на коленях. При звуке шагов Лена шевельнулась, безучастно взглянула на Клаву и вялым движением откинула со щеки прядь волос.

— Ты чего, Лена? — сразу встревожилась Клава. — Случилось что-нибудь?

Лена вздохнула, положила на спинку стула локоть и отвернулась. Тетрадка соскользнула с колен на пол.

— Почему ты молчишь? Не хочешь поговорить? Ну и молчи. Пожалуйста!

Но Клава не могла уйти так, оставив подругу наедине со своими, как видно, невеселыми мыслями. К тому же ее разбирало любопытство.

— Так что же все-таки случилось, Леночка? — мягко спросила она, дотрагиваясь до ее плеча. — Почему ты такая расстроенная?

Лена подняла тетрадку, торопливо перелистала ее.

— Ничего не случилось, а вот... прочитай. — И она подала невероятно помятую, пахнущую землей и керосином бумажку. Плохо очиненным карандашом, без точек и запятых, в ней было написано: «Можешь

крутить с этим салажонком сколько угодно мне все равно и вообще безразлично пишу чтоб ты знала и зря не задавалась Володя».

Клава вопросительно посмотрела на Лену, не зная, что сказать. Та тоже подавленно молчала, однако через минуту ее словно прорвало, и она заговорила, глотая слова, перескакивая без видимой связи с одного на другое.

— Понимаешь, я хотела всё это в шутку принять, а он сунул в руки записку, а сам до того презрительно на меня посмотрел — ну, я и обозлилась. Конечно, с Мишкой я дружила раньше, не отрицаю, но это же ничего не значит, а что Володька к своей Любке каждое воскресенье бегают — об этом все знают. Да и вообще — какое он имеет право? С кем хочу, с тем и буду дружить, пусть он не воображает. Вот нарочно с Мишкой гулять буду, а может, и замуж за него выйду...

— Ох, не выйдешь, — улыбнулась Клава.

— А вот и выйду! — упрямо повторила Лена. — Он меня вертихвосткой будет обзывать, а я терпеть стану? Не на таковскую напал. Пусть позлится.

— Да ведь злишься-то пока ты, а не он.

— Нисколечко. Даже вот на столько не злюсь. — И Лена показала на мизинце, как мало ее задевает Володино коварство.

Клава не смогла удержать улыбки, но тут же задумалась. Да, вот у Лены слезы стоят в глазах, а все-таки она счастливая, Лена. И если б она знала, что пришлось пережить Клаве, она не расстраивалась бы сейчас так. Ох, нет, зачем ей это знать? Пусть у нее всё будет иначе — по-хорошему, как у многих, многих девушек. У многих, но не у всех. Сколько еще в жизни встречается плохих, бессердечных людей. Лена, конечно, не задумывалась об этом, а следовало бы. Кто знает, как еще обернется судьба. И если Клава увидит, что ее подруга по неопытности способна совершить ошибку — что ж, она расскажет ей о себе. Быть может, это послужит предостережением. Право, в этом нет ничего плохого, напротив...

А Лена, не столько огорченная, сколько обозленная всем случившимся, нервно мяла в пальцах косынку и думала о том, что Клава не понимает и вряд ли когда поймет ее. Какая-то она очень уж рассудительная и

спокойная. Неужели она никогда не любила, не ревновала, не получала никаких записок? Почему она никогда не рассказывает о себе? Ведь у Лены-то нет от нее тайн! Обидно, если Клава ей не доверяет, а еще хуже, если Клава думает, что Лена ничего не способна понять. Ох, уж эти ученые девушки. Возможно, им и легко жить, зато как, наверно, скучно! Правда, и Лене сейчас невесело, да уж она-то придумает, как отомстить Володе и заодно вывести на чистую воду его шапши с этой длинноногой чистюлей Любой.

— Знаешь что, Лена... — Клава присела рядом. — А ведь, по-моему, Володя не написал бы этой записки, если бы ему было всё равно.

— Ну, это теперь не имеет значения, — с вызовом сказала Лена. — Пусть я вертихвостка, а он-то и подавно вертихвост. Я ему так и скажу, как увижу.

— Почему же сразу не сказала?

— Да, знаешь, из головы выскочило. Всё как-то неожиданно вышло, я просто... ну, сама понимаешь.

— Растерялась? Ну и зря. Надо было откровенно объясниться с ним. Ведь ты его любишь?

— Не знаю...

— Ну, раз ты так расстроилась из-за этой записки, значит, любишь, — убеждающе проговорила Клава. — Да ты и сама как-то призналась, что Володя тебе нравился.

— Что ж, нравился, верно. Так это, по-твоему, и есть любовь? — Лена иронически взглянула на Клаву, как бы желая сказать: «Что ты во всем этом понимаешь?».

— Суть не в словах, — серьезно сказала Клава. — А если любишь, чего же скрывать?

— Не хватало еще, чтоб я ему навязывалась! Да я и не скрываю, а вот ты почему молчишь? Думаешь, я так и поверила, что у тебя в городе никого нет?

— Нет, Лена.

— И не было, скажешь? — Лена не рассчитывала на положительный ответ, но Клава твердо сказала:

— Было. Вернее, был. Ты давно меня спрашиваешь, так вот, я скажу. Был у меня, Лена, муж, есть от него ребенок. С бабушкой он теперь... Все было вроде как у людей — и любовь, и семья, и счастье, только короткое. Вот и все.

— Погоди. — Лена вскочила со стула, остановилась перед Клавой с прижатыми к груди ладонями. — Где же он сейчас, твой муж? Вы разошлись? Разлюбили друг друга? Почему?

— Он сам ушел от меня. Видишь ли, сошлись мы с ним еще в деревне, тогда он считал, что я ему пара. Он секретарем парторганизации в МТС работал, потом его в районную газету перевели, поэтому я и в городе оказалась. Только недолго вместе прожили. Ушел он...

— Так просто взял и ушел? — ужаснулась Лена.

— Не очень-то всё это просто было, — горько усмехнулась Клава. — Тяжело жилось с ним, но ведь я ребенка ждала, думала — обойдется, привыкнет он... Да нет, зря надеялась. Два года назад его в партийную школу послали, с тех пор и не виделись.

— И не написал ни разу?

— Ну, как же, написал. Предупредил, чтоб я не ждала его и никуда не жаловалась. Дескать, деньги на ребенка он будет высылать.

— А ты что?

— Что я? Я и так знала, что он не вернется. О чем же еще писать? На том и кончилось...

— А деньги ты принимала? — почему-то шепотом спросила Лена.

— Я не могла иначе, — с трудом выговорила Клава. — Мне надо было во что бы то ни стало окончить техникум...

— Так, — Лена, наморщив лоб, прошла по комнате, собственные заботы и огорчения уже забылись, она размышляла теперь о том, как помочь Клаве. Быть может, еще не всё потеряно и можно поправить дело. — Но все-таки я не понимаю... Когда вы сходились, ведь он тебя любил?

— Кажется, любил. Потом он сказал, что ошибся... Видишь ли, он уже тогда был видный человек, выступал на собраниях, писал в газету стихи. А я — простая деревенская девушка, сидела себе дома и молилась на него...

— Ну и дура, — с сердцем сказала Лена. — И он хорош гусь! Пусть он даже пишет стихи, а нутро у него гнилое, вот что я тебе скажу. И брось, пожалуйста, о нем думать, не стоит он того.

— Легко сказать! — вздохнула Клава, чувствуя в

то же время облегчение при мысли, что Лена теперь знает всё. — Но сейчас мне легче, тяжело было в первые дни. Ах, как обидно, Лена, как обидно, если бы ты знала!

— Ну, конечно, обидно, я это прекрасно понимаю, — мягко сказала Лена, обнимая подругу за плечи. — Ты даже не представляешь, как я это понимаю. Ведь то у тебя была первая любовь и досталась она, извини меня, подлецу... Но сейчас ты свободна, Клава. И тебе надо подумать о будущем, а не горевать, понимаешь? Иначе ты совсем раскиснешь, а это уж никуда не годится.

— Мое будущее — сын. Ему уже третий год. И представь, он нисколько не похож на отца — весь в меня. Подожди, я покажу тебе фотокарточку. Пойдем.

Они прошли в ее комнату, и Клава достала из чемодана карточку сына. Малыш очень понравился Лене, но сколько она ни вглядывалась, не могла обнаружить в его круглом курносом личике материнских черт.

— Шалун отчаянный, но бабушка отлично с ним ладит, — говорила Клава, влажными глазами глядя на карточку из-за Лениного плеча. — Я ему обещала привезти из деревни маленького-маленького жеребенка. Иначе он меня не отпустил бы.

— Слушай, вы теперь с ним... с этим... официально разведены?

— Видишь ли, мы не были расписаны. Вообще я не придавала этому значения, а он тем более.

— М-да... — только и сказала в ответ Лена.

— Я же тогда совсем была девчонкой. И я верила ему...

— Ну, сейчас это всё равно, — потрянула головой Лена. — Даже, пожалуй, лучше, раз ты не думаешь с ним сходитьсь.

— Конечно, не думаю. Теперь у меня есть работа, а это главное.

— Ну, одной работой не проживешь, — усмехнулась Лена. — Помнишь, я говорила, что эта комната счастливая? Кто в ней ни жил — все замуж повыходили. И ты выйдешь.

— Нет уж, испытала раз — хватит.

— Ладно тебе, почетная старушка! — засмеялась

Лена. — Все мы так говорим, пока время не придет. Возвращайся сегодня пораньше, на танцы ходим.

— А Володя там будет? — сощурилась Клава.

— Будет, нет ли — какая разница? Других ребят разве мало? А я его, если хочешь знать, видеть не могу, вертихвоста...

## VI

На танцы Клава пошла только потому, что этого очень уж хотелось Лене. Она упрашивала неотступно, и Клава согласилась. Да и скучно было сидеть одной дома со своими невеселыми мыслями. Девушки приоделись и отправились к клубу, откуда неслись веселые голоса и звуки гармошки. Было сумеречно, но их сразу заметили, наперебой стали приглашать на танцы. Клава не танцевала давно и с удовольствием кружилась с каким-то незнакомым парнем по отлично утрамбованной площадке позади клуба, в молодом сосновом бору. Потом они сидели с Леной под ветвистым деревом на скамейке, а перед ними стоял Костя Проскуряков и расспрашивал Клаву, нравятся ли ей здешние ребята и пляски. Сам Костя плясать не умел, зато с гордостью называл имена известных плясунов и обещал заставить их показать свою удаль. Затем он внезапно исчез и Лена коротко пояснила:

— Катька увела. Небось, приревновала к тебе. Теперь Косте от нее достанется.

Настроение Лены вскоре испортилось. Она помрачнела, беспокойно оглядывалась вокруг и с ожесточением грызла семечки, раздобыв их у кого-то из ребят. Клава догадывалась, в чем дело, однако не подавала виду. Ей легко и весело было наблюдать, как пляшут, поют, переговариваются, смеются и шутят девчата и парни — совсем как в техникуме на субботних вечерах. Где-то сейчас ее прежние подруги?

Клава первая заметила Володю и тут же подумала, что лучше бы он сегодня не приходил, ничего хорошего из этой встречи у них не получится. Не потому, что Лена вообще не любила пьяных, а потому, что в таком состоянии Володя мог сказать лишнее. А он был явно навеселе. Неизвестно, как поступила бы Лена, если бы увидела Володю издали, но она заметила его слишком поздно. Он старался держаться твердо, чинно поздоро-

вался и попросил у Клавы разрешения сесть. Лена довольно равнодушно сказала:

— Это ради чего же ты нализался, а?

— Не нализался, а немножко выпил с ребятами, — смущаясь Клавы, стал оправдываться Володя. — Тут многие выпивши, а я что, рыжий?

— Чуть рыжеватый, — насмешливо отозвалась Лена, лузгая семечки. — А может, ты с расстройства глотнул? Ох, Клава, и досталось им сегодня от Бескурова за никудышнюю работу. Уж он их песочил, песочил, просто умора!

— Ну, меня-то это не касалось, зря говоришь. Вот Мишка за процентами гонится, у того и огрехи, и мелкота, а у меня всё в порядке.

— Ох, не трепись, Володька, — явно издеваясь над ним, сказала Лена. — Все знают — Мишка не хуже любого работает. Он пашет сейчас?

— Должно, ковыряет понемножку, — усмехнулся Володя. — Можешь его навестить, скучает, небось.

— А тебе весело? Выпил и воображает тут...

— Ничего я не воображаю, а вот ты действительно... Э, да что говорить! — махнул Володя рукой. — Давай лучше сменим пластинку.

— И правда, чего вы злословите? — вмешалась Клава. — Идите, потанцуйте, а то смешно же получается.

— Верно, смешно, — согласился Володя. — Ну, выпил, так что ж из того? Может, у меня причина была...

— Ну и пей на здоровье, кто тебе мешает? — пожала плечами Лена.

— Вот видите, — сказал Володя Клаве.

— Ничего, ничего, Володя, это она так... Идите, танцуйте, а мне пора домой, завтра рано вставать.

Она чувствовала, что стесняет их, и поднялась, чтобы уйти. Лена тоже встала, хотя и не столь решительно. Клава тут же усадила ее на место и быстро скрылась в толпе.

— Слушай, Лена, давай поговорим по-человечески, а то действительно ерунда получается, — начал Володя, придвинувшись к ней поближе; она не отстранилась, но и не смотрела на него. — Ту записку, какую я давеча отдал, я сгоряча написал, ей богу. Пони-

маешь, Мишка меня подзадорил, а тут и ты еще на нервах играешь. А по-моему, так: скажи, чтоб я ушел и больше не подходил, я уйду и думать перестану, а то что же голову морочишь, в самом деле...

— Ну и уходи, ежели не нравится, — мстя за все пережитое, зло сказала Лена. — Пишешь бог знает что, оскорбляешь, и я же виновата? Думаешь, так я тебе на шею и повешусь? Как бы не так! И Мишка тут ни при чем, твоя стриженная тебе голову морочит, а не я...

— Нет, ты, — запальчиво возразил Володя. Но он сейчас же спохватился, сказал просяще и ласково: — Лена!

— Подожди, Володя, — предостерегающе шепнула она. — Кто-то сюда идет.

Володя взгляделся и тотчас встал. Убедившись, что это Мишка, быстро пошел навстречу. Лена осталась на скамейке одна.

— Ты что же это вытворяешь, а? — выдохнул Мишка Чирков, почти упираясь плечом в грудь Володи. — Товарища подводишь, а?

Он был в грязном комбинезоне, с искаженным от гнева лицом, на котором тускло блестели масляные пятна. Володя невольно отступил на шаг, чтобы не испачкаться, сказал приглушенно:

— Не ори, понял? Чего людей привлекаешь? В чем дело?

— Это я тебя хочу спросить — в чем дело? — повысил голос Чирков. — Ты мне что сказал, когда сдавал машину? Дескать, всё в порядке, да?

— Ну, дальше что? — Володя взял Мишу за рукав, попытался увести его подальше, но тот рывком высвободил руку.

— Будто не знаешь — что? Сдал неисправную машину и хоть бы словом предупредил. Это по-товарищески?

Их разговор привлек внимание. Володя затравленно оглянулся и заметил среди любопытных Лену. Она подошла к Чиркову, спокойно спросила:

— Что там произошло, Михаил?

Чирков посмотрел пристально на нее, потом на Володю, понял, что они здесь гуляют вместе, скривил пухлые дрожащие губы и буркнул:

— Ладно, без вас разберемся, — и пошел прочь,

упрямо нагнув голову, распространяя вокруг себя смешанный запах керосина и свежевзрытой земли.

— Зачем он прибежал? — несколько встревоженная, спросила Лена.

— Черт его знает, — пожал плечами Володя. — Говорит, машина неисправна, а что там стряслось — так и не сказал. Может, пустяк какой, а он растерялся, орет, будто у него задний мост отвалился.

— Он за бригадиром пошел, — сообщил кто-то из ребят. — Говорит, поломки вроде нет, а трактор не заводится.

— Там и делов-то, наверно, на пять минут, а он за бригадиром примчался. Тоже, механизатор! — насмешливо проговорил Володя.

— Нет, все-таки жалко Мишку, — сказала Лена. — У тебя-то трактор исправный был?

— Конечно, исправный. Ничего, вперед умнее будет, на ошибках скорей научится... Что ж, Лена, потанцуем, а?

— Да уж больно от тебя водкой разит, противно, — поморщилась Лена.

— Слово, Лена, даю: в первый и последний раз...

\* \* \*

В сумерки Бескуров шел из конторы на квартиру и не заметил, как миновал дом Белоглазовой. Впрочем, ему хотелось побыть одному. Татьяна Андреевна, конечно, заботливая хозяйка и симпатичная женщина, но именно поэтому-то и невозможно было поговорить с ней о том, что и самому казалось сложным и запутанным. Бескуров заранее знал, что она могла бы сказать: «Я же вам давно про то говорила, помните? Не поедет ваша жена в деревню с коровами да с грядками возиться. Да и вам это скоро надоеет»... Да, именно так сказала бы Татьяна Андреевна. И стала бы, пожалуй, сочувствовать ему, а может, предложила бы свой план, как распутать эту проблему. Но план этот никак не устраивал Бескурова. Давно надо бы перебраться на другую квартиру, да вот все некогда заняться этим...

Прошло уже больше полутора недель, как Бескуров был в городе, но лишь сегодня выпал удобный момент спросить Звонкова, что он там наговорил жене

насчет Татьяны Андреевны. Платон Николаевич сделал сначала изумленное, затем обиженно-оскорбленное лицо и объяснил, что он всего-навсего ответил на вопрос Зои Михайловны, как устроился в деревне ее муж. Да, он назвал имя Татьяны Андреевны, сказал, что она вдова и очень порядочная женщина, а больше он ничего не говорил. Помилуйте, какое ему до всего этого дело? Он вообще предпочитает не вмешиваться в личные вопросы.

— Никакого личного вопроса тут нет, — хмуро сказал Бескуров. — Просто жена поняла вас неправильно. Извините меня, Платон Николаевич, и давайте кончим об этом...

Теперь-то ему понятно, что он напрасно затеял этот разговор. Звонков, пожалуй, вообразит, будто у Бескурова с женой произошла неприятная ссора. Да еще и другим об этом расскажет. Двоедушный и скользкий это человек. В глазах лебезит и юлит, а вышел за дверь — всё стремится сделать по-своему. Но хозяйственник он действительно тертый. Два года колхоз добивался у МТС пилорамы и не добился, а Звонков достал. Взял каким-то образом в аренду у лесопункта автомашину, разыскал и шофера. Колхоз, опять-таки по инициативе Платона Николаевича, взял солидную ссуду на строительство, и дело, благодаря неусыпным заботам завхоза, быстро разворачивалось: строился крытый док, закладывался фундамент под зерносклад, заготавливался лес под будущие объекты. Правда, с конторой Звонков явно поспешил, но в конце концов и в этом не было ничего плохого. Теперь в конторе стало больше порядка, и Бескуров мог без лишних помех беседовать с посетителями в приличном кабинете... И все-таки Звонков чем-то не нравился ему, что-то в его словах и действиях казалось фальшивым. Но раз завхоз был полезен колхозу, Бескуров не хотел выказывать неприязни к нему. Тем более теперь, когда Звонков может расценить это, как личные счета...

Бескуров шел по безлюдной улице, глубоко вдыхая посвежевший вечерний воздух, машинально прислушиваясь к звукам гармошки и слитному гомону, доносившимся от клуба. «Молодежь веселится, это хорошо, — подумалось ему с внезапной грустью. — Давно ли, кажется, вот так и я ходил в парк, танцевал с не-

знакомыми девушками, сидел под деревьями и мечтал, что встречу одну-единственную... Да так, видно, и не встретил. С Зоей я поторопился, это ясно. Она сама не знает, чего хочет. Как это обидно — ошибиться в человеке. Да, но ведь и она тоже, наверно, считает, что ошиблась во мне. Если это так, значит, конец... А что же дальше?».

Ладно, на днях он съездит в город и всё выяснит, а сейчас бесполезно об этом думать. Интересно, где сейчас Клавдия Васильевна? Скорей всего спит, ей ведь здорово пришлось поработать эти дни. Она, несомненно, серьезная и милая девушка, но ей не хватает еще опыта, смелости. Впрочем, этих качеств не хватает еще многим, в том числе и ему. Ничего, со временем придут и они. Все-таки интересно, как обживается Клементьева на новом месте, каковы у нее впечатления о здешних людях, обо всем, что она узнала и увидела? Очень бы любознательно с ней поговорить, да где ее найдешь? А может, она здесь, среди молодежи? Наверняка тут, Лена Хватова не даст ей сидеть дома...

Бескуров приблизился к танцующим, на него никто не обратил внимания. Нет, Лены и Клементьевой среди них, кажется, не было. Он не спеша направился по тропке к обрыву, откуда был виден далекий, светящийся электрическими огнями город. Впрочем, сейчас он не казался таким далеким, темнота скрадывала расстояние. Здесь, на краю обрыва, Бескуров и увидел Клаву. Он сразу узнал ее по фигуре и еще по каким-то неуловимым признакам и с минуту колебался, подходить или нет. Возможно, она нарочно пришла сюда, чтобы побыть одной. Неожиданно Клава сама обернулась в его сторону.

— Это вы, Антон Иванович? Вот не ожидала, — сказала она, немножко огорченная тем, что нарушили ее уединение.

— Да и я, признаться, не ожидал... Что, любуетесь городом?

— Очень красиво, правда? А река какая огромная, мощная, как море. Это потому, что берегов не видать. Глядите, они совсем слились с рекой — впечатление такое, будто вода доходит до самого города.

— Да, верно, — взглядевшись и живо представив разлившееся перед ним таинственное море, сказал

Бескуров. — А вон и большой черный корабль, только без парусов, плывущий из далеких стран...

— Ой, да ведь это же деревня! — рассмеялась Клава. — А и верно, похоже.

— Да, это настоящий корабль, — с серьезным видом продолжал Бескуров. — И если вы посмотрите внимательнее то увидите и острова, и заливы, и рифы, и белый, да, белый бурлящий прибой — вот там, слева...

И Клава действительно видела все это, хотя и знала, что ничего подобного не может быть. Потом она опять рассмеялась:

— Да вы, оказывается, фантазер, Антон Иванович. Знаете, это уж совсем неожиданно.

— Почему? Ведь вечер такой чудесный. И такие дали кругом... Ну, хорошо, вернемся к реальным фактам и спросим: как вы сюда попали?

— Я давно заметила это место, еще в первый день, и знала, что отсюда виден город. Вот и захотелось посмотреть, как он выглядит ночью.

— А где же Лена? — спросил Бескуров, уверенный, что она должна быть где-то поблизости.

— Там, с Володей, — кивнула Клава в сторону затихающих за деревьями голосов.

— А, понятно, — сказал он. — Я бы с удовольствием пригласил вас на вальс, но молодежь уже расходится. Вы не танцевали?

— Только два раза, а потом пошла сюда. Разве так поздно? Тогда мне надо домой.

— «Домой»? — улыбнулся Бескуров. — Правда, странно? Вот и мне надо «домой», а на самом деле у нас никакого дома нет, а есть только квартиры. Вам, Клавдия Васильевна, надо забрать к себе мать и устраиваться здесь по-настоящему. И ей спокойнее, и вам удобнее. Сужу по себе...

— Да вот, обживусь немного, тогда уж... А у вас тоже осталась мать?

Черт дернул его за язык, он ведь совсем не собирался затрагивать эту тему. К чему Клементьевой знать, что у него есть жена, которая не хочет ехать в деревню? Ну и глупость же он сморозил! Но отступить было уже поздно.

— У меня положение гораздо хуже, — как можно беспечнее сказал Бескуров. — Видите ли, я поторо-

пился обзавестись женой, а она в колхоз ехать не хочет. Вот я и живу пока бобылем.

— Не понимаю, — растерянно сказала Клава; она никак не думала, что Бескуров женат, но еще больше смутил Клаву тот несомненный поразительный факт, что это известие было ей неприятно и почему-то огорчительно. — Не понимаю, Антон Иванович.... Жена — и не хочет ехать. Почему?

— Город ей больше нравится. А здесь что — земля, коровы, навоз и тому подобное... Она не хотела, чтобы я принимал колхоз, но вы, конечно, понимаете, что я не мог отказаться. Это было бы просто нечестно. Вот вы же поехали в деревню, хотя в городе, возможно, вам жилось веселее.

— Нет, я не собиралась жить там. Я ведь выросла в деревне и хотела работать только здесь.

— Вот видите... И она выросла в деревне, а думает иначе. Я-то, к сожалению, об этом узнал только теперь.

Они медленно шли сначала по краю обрыва, затем свернули в бор и скоро вышли на улицу. Деревня спала, лишь изредка раздавался то там, то здесь одинокий возглас, приглушенный смех — и снова наступала тишина. В этой тишине парни провожали девушек и можно было не сомневаться, что провожанье затянется до первых петухов.

Бескуров рассказал Клаве о Зое, не переставая удивляться, зачем он это делает. Просто ли захотелось ему выговориться, поделиться с кем-то, все равно с кем, своими переживаниями, или он это делал специально, для Клавы? Он и сам не отдавал в этом ясного отчета, но чувствовал, что ему легко и приятно говорить с девушкой, такой внимательной, чуткой, отзывчивой, словно она знала его давно и понимала, что происходит у него в душе.

— Но как же... как же будет у вас дальше? — спрашивала она, искренне жалея его и не скрывая этого. То, что она жалеет его, нисколько не оскорбляло Бескурова, хотя он счел бы унижением для себя, если бы такую же жалость проявила Татьяна Андреевна.

— Дальше? Право, не знаю, — в раздумье говорил Бескуров. — Вот поеду в субботу, узнаю, что она решила. Скорей всего, она все-таки не поедет, а люди

поймут это не так, как следует, — добавил он, имея в виду Лысова и Звонкова. — Ну, вы-то теперь понимаете, в чем дело, а это для меня много значит. Я ведь никому еще не говорил об этом.

Клава кивнула, чуть зардевшись. Но в темноте он не мог этого заметить, иначе она окончательно бы смутилась. Они уже стояли у калитки Хватовых, и Клава, прислонившись спиной к столбу, время от времени сглядывалась по сторонам. Ее светлое платье, наверно, видно издалека. Но уходить было неудобно, да и не хотелось.

— А вам разве не хочется в город? Поедьте в субботу вместе, — предложил Бескуров. — До перевоза я возьму лошадь.

— Я бы пошла, но удобно ли? Вот, скажут, председатель и зоотехник бросили всё и уехали по домам. А ведь завтра уборка, комбайн уже вышел в поле.

— К субботе всё войдет в колею, дело не станет. К тому же всего одна ночь — вечером выедем, утром вернемся. Ладно, я скажу вам, когда мы сможем выехать.

В эту минуту Клава увидела Лену. Лена, конечно, сразу узнала их, но и виду не подала, быстро шмыгнула в калитку и затопала по крыльцу, не оглядываясь. Клава торопливо сказала:

— Мне пора, Антон Иванович. До свидания, — она протянула ему горячую руку.

— До свидания, Клавдия Васильевна. Спокойной ночи.

Клава исчезла, а Бескуров еще с минуту стоял на месте, словно ждал, что она вернется. Потом он медленно провел по лицу ладонью, осторожно прикрыл отворившуюся калитку и не спеша зашагал по улице.

## VII

Комбайн удалось пустить не сразу — через каждые десять — двадцать метров он останавливался. Комбайнер, молодой чумазый, в клетчатой рубашке, яростно отплевывался, вполголоса матерился и без конца соскакивал с мостика, чтобы выяснить, в чем дело. Лишь в десятом часу агрегат, словно ему самому надоело капризничать, заработал исправно, и Бескуров с удоволь-

ствием сделал на нем огромный круг по всему полю. Потом слез, постоял еще с полчаса и, убедившись, что теперь всё пойдет как надо, направился к стоянке трактористов.

На лужайке, исполосованной гусеницами и колесными шпорами, тесноватой от разбросанных там и сям железных бочек, плугов, культиваторов, сеялок и борон, возле щита для объявлений толпились механизаторы и колхозники. Тут же крутились вездесущие ребяташки. Бескуров еще издали услышал оживленный разговор, взрывы смеха. Его разобрало любопытство, смешанное с легкой досадой: нашли время прохладиться... Потом он подумал: похохочут, перебросятся шуткой и опять за работу. День-то ведь у них не нормированный, тем более в страду.

От щита навстречу председателю шел Костя Проскураков. Как видно, он только что отсмеялся, веселые искорки еще прыгали и светились в его глазах, но к Бескурову Костя подошел как и подобает комсомольскому секретарю — с деловито-озабоченным выражением на лице, со сдвинутыми к переносью бровями.

— Чего там ребята смеются, Костя? — спросил Бескуров. Он еще в первые дни заметил этого сухощавого, энергичного парня и полюбил его за неунывающую веселость, за постоянную готовность выполнить любое поручение.

— Смеются-то? Да вот, боевой листок из МТС привезли, Антон Иванович. Насчет Володи Шишкина. Слышали, какой он номер отколол?

— Нет, не слыхал. А что такое он сделал?

— Ох, и разрисовали его там! — ткнул Костя пальцем в сторону щита. — И стихи есть. А в общем, Антон Иванович, некрасивая история. Он же, понимаете, из города добровольцем к нам приехал, пример должен показывать, а он черт-те что отмачивает. Говорят, до прокурора дело дошло.

— Вон как! Чему же вы тогда смеетесь? Тут, брат, не до смеха. Шишкина я знаю, он же безупречно до сих пор работал. Что с ним стряслось? — Бескуров встревоженно посмотрел на расходившихся от щита людей, присел на вросший в землю старый мельничный жернов.

— Верно, работал Шишкин неплохо, а тут сорвал-

ся. И неспроста, по-моему. Напарником у него Мишка Чирков, а Мишку я вдоль и поперек изучил, поэтому и говорю, что неспроста... Позавчера, значит, является Мишка на смену, спрашивает Володю: как, мол, машина, в порядке? Тот говорит: садись и езжай, не в первый раз... И сам сразу же попер домой. Мишка сунулся — не заводится трактор. Туда, сюда — не может понять, в чем загвоздка. Поди, с час промучился, плюнул и айда в деревню за бригадиром. А время к полночи уже. Идет он мимо клуба, а там, известно, танцы, гармонь, девчата. Мишка и подумал: наверно, и Володя тут. Ну, нашел его, перекинулись они как следует, однако до драки не дошло, ребята не дали. А Володя, между прочим, с Ленкой Хватовой был, в этом-то вся и штука. Если бы не Ленка, он, может, и признался бы, а при ней не мог, стыдно стало... Ну, пока бригадира нашли, то да се — смены как не было. Бригадир глянул в мотор и аж затрясся: «Ах, сукин сын, я ему покажу!»... Оказывается, Володька, перед тем как сдать трактор, взял да и разрегулировал контакты магнето. А Мишка же недавно на тракторах, не догадался, в чем причина...

— Да, некрасивая история, — с сожалением сказал Бескуров. — От Шишкина я этого не ожидал.

— И я тоже. — Костя присел рядом, заговорил доверительно: — Бригадир хоть и разозлился страшно, однако в МТС не стал сообщать. Так, наедине трепку задал и точка. На том бы и дело кончилось, если бы не Ленка. Это ведь она в МТС сбегала и листок оттуда притащила.

— Лена? Но ты же говорил, что она дружит с Володей?

— Ну да, дружила, а теперь неизвестно, как у них выйдет. Володька ходит и глаз от земли не поднимает, она тоже в сторону глядит. Главное, что сейчас ему ни за что «ДТ-54» не дадут, а он всё лето о нем мечтал. Боюсь, совсем не свихнулся бы парень.

— Да, ему тяжело сейчас. Как, по-твоему, зачем он это сделал?

— Ладно, — тряхнул головой Костя, — скажу, как думаю. Ленка во всем виновата, из-за нее ребята поцарапались, ей богу. Ревность Володьку толкнула, больше ничего.

— Ну, это совсем уж плохо. Впрочем, — Бескуров улыбнулся собственным мыслям, — бывает и так, Костя. Хотя и глупо это, а бывает. Ладно, я позвоню в МТС, к прокурору Володю вызывать не стоит. И без того парень переживает.

— Вот за это спасибо, Антон Иванович, — обрадовался Костя. — Я с Володей потолкую, выясню, чем он дышит. Наказать можно и своими силами, ну, там приказ написать, выговор дать, что ли. Он же сам поехал в деревню, ни с чем не посчитался, это тоже надо учитывать. А потом, вы смотрите, Антон Иванович, — Костя показал на стоявшую неподалеку жатку-самосброску, — это он ее ремонтировал, сегодня я на ней работать буду. Парень же на все руки, а ошибиться каждый может.

— Вот именно, — кивнул Бескуров. — Так ты думаешь, с Леной у него совсем разладилось? А может и не было ничего? Иначе Лена не побежала бы в МТС жаловаться.

— Нет, все равно побежала бы, Антон Иванович, — решительно сказал Костя. — Такая уж она, черт ее знает. А тут, выходит, Володя и ее обманул, потому что при ней всё дело было, а он все-таки не сознался.

— Пожалуй, ты прав. Ох, и некстати же этот нелепый случай! Не сегодня — завтра шефы с завода приедут, про Володю могут дознаться, а это уж совсем лишнее. И им будет неловко, и ему тоже — ихний ведь посланец, сам понимаешь. Ты вот что, Костя... хоть Володя и не в твоей организации, ты его из виду не упускай, а то когда там еще в МТС о нем вспомнят.

— Ладно, Антон Иванович, — серьезно сказал Костя. — Я и за Ленкой пригляжу. А вообще-то, по-моему, давно бы надо всех механизаторов в нашу организацию влить, больше бы порядка было. Работаем вместе, а подчинение разное. Мы бы не хуже МТС и техникой, и людьми распорядились.

— Наверняка не хуже, — подтвердил Бескуров. — Да силенок у нас пока маловато — такую ответственность на себя брать. Подожди, укрепнем немного, всё у нас — и земля, и техника, и квалифицированные кадры — в одних руках будет. А тогда мы развернемся!

— И воспитанием механизаторов МТС слабо занимается, — продолжая свою мысль, пожаловался Костя.

— А боевой листок? — кивнул Бескуров на щит. — Это не воспитание?

— Один листок за всё лето, подумаешь! Да и то небось, Ленка писала.

— Ну, а мы-то с тобой на что? Вот и давай воспитывать таких, как Володя, на то мы и поставлены здесь комсомолом и партией.

— Володя — это еще полбеды, — сказал Костя, польщенный тем, что Бескуров поставил его в один ряд с собой и вроде бы похвалил. — У нас похуже типы есть. Да вы же знаете, один Петр Саватеев чего стоит...

— Знаю, — оживился Бескуров, он привстал, глянул на поле, по которому медленно, но безостановочно полз комбайн, снова сел на жернов и с улыбкой продолжал: — Позавчера я с этим Саватеевым, так сказать, вплотную познакомился. Действительно, тип... Захожу к нему во двор, время примерно обеденное. Поперек дверей — коромысло. Значит, думаю, жена и дочь его на работе, а где — это вопрос. В бригаде-то их во всяком случае нет. Прохожу мимо крыльца, гляжу — сарай распахнут, а в нем сам Саватеев навоз убирает, да так истово, будто на аккорд работенку взял. А костыль, между прочим, рядом валяется.. Увидел меня, сейчас же вилы в сторону, костыль в руки, спрашивает:

— Здравия желаю, товарищ председатель. Чем обязан столь почетному посещению?

Да вот, говорю, зашел проведать, как живешь, как здоровье. На здоровье, видать, жалоб нет, а про жизнь мы и сами кое-что знаем. Веди-ка, говорю, на сеновал, поглядим, сколько ты сена наготовил.

Саватеев спокойно отвечает:

— Пожалуйста, глядите, но имейте в виду — сено законное, мне правление разрешило косить за грабли и прочий инвентарь, который я колхозу отдал.

— Ты не кустарь-одиночка, чтобы своему колхозу грабли продавать, — говорю ему. — Самовольно косить тебе разрешал прежний председатель, а не правление. Придется исправить ошибку. Сено мы оприходуем, а ты получишь от него десятую часть. Конечно, если у твоей семьи имеются сенокосные трудодни, колхоз выдаст сено и на них.

— Какие могут быть трудодни у инвалида? — кри-

чит Саватеев и трясет костылем чуть не перед самым моим носом.

Я прошу показать медицинскую справку, а он свое: «Вот моя справка!» — и размахивает костылем. Я знаю, у него есть давнишняя справка об инвалидности, но она уже два года как не подтверждалась врачебной комиссией. Спрашиваю — где жена и дочь, почему они тоже не работают в колхозе. «Спросите у них, они взрослые»... В таком случае, говорю, придется урезать вашу усадьбу, а кроме того, лишитесь скот колхозных выгонов и других привилегий, которыми пользуются честные колхозники. Тут Саватеев вовсе вышел из себя. «Это, кричит, незаконно, я буду жаловаться. За что же тогда кровь проливали? Приехал тут и распоряжается. Инвалида войны вздумал обижать»... Ну, и так далее. Когда накричался, я попробовал его убедить, что сейчас в колхозе выгоднее работать, чем вот так промышлять. Это факт, Костя. Если справимся со льном, уберем вовремя хлеб, повысим надои, вообще наведем в хозяйстве порядок — выдадим на трудодни и денег, и зерна, и сена больше, чем в прошлом году. Животноводам мы уже сейчас выдаем аванс, осенью будут получать и остальные... Однако Саватеев уперся, как бык. Под конец я предупредил: если завтра все трое не выйдут на работу, правление применит Устав. На том и расстались...

— Конечно, не вышел ни один? — спросил Костя. — Ох, и закоренелые, черти!

— Представь себе, обе женщины вышли. Сами явились утром к Овчинникову. А Петр Саватеев заболел. Говорят, горячкахватила. Ну, не беда, остынет, я еще раз его навещу.

— Вот это здорово! — восхитился Костя, но тут же озабоченно проговорил: — Надо бы, Антон Иванович, в Ельниках доскональную проверку сделать. Там больше тащат, только не самовольно, а с разрешения самого Прохорова, ей-богу. И трудодни у многих, по-моему, липовые. Конечно, фактов у меня пока нет, но ежели покопаться — найдутся и факты.

— Ладно, возьмемся скоро и за Прохорова. Уже то, что мы делаем в первой бригаде, наверняка скажется и на остальных. Хорошие вести не лежат на месте, верно? — рассмеялся Бескуров.

— Верно, Антон Иванович, — весело сказал Костя. Мы их расшевелим, будьте уверены. Да, чуть не забыл. Вам не рассказывал Матвей Сидорович, как он у Марьи Пивоваровой сено приходовал? Нет? Ох, и умора! Она же ему соседка, ну, та, которую вы с молоковозчиков сняли, помните?... Заявляется это он к ней, серьезный такой, а она уже догадалась в чем дело, двери на запор и в окно выглядывает. Сидорович, понятное дело, стучит в двери, сперва довольно вежливо, потом кулаки в ход пустил. А Марья открыла окно, подзадоривает: «Бей, Сидорович, бей, разобьешь — отвечать будешь»... Тогда Овчинников прыг с крыльца, ухватился за раму и полез в окно. Марья его и за волосы, и за бороду, и по-всякому, но Сидорович все-таки влез, спокойно этак снял с гвоздя хозяйкин ремень и огрел разок Марью по заднему месту. Потом они уже мирно пошли на сеновал. А там опять чуть не до драки. «Да у тебя тут пудов пятьдесят наберется, — говорит Овчинников. — Ну и здорова баба, мужику столько не осилить». А Марья свое: «Не пятьдесят, а двадцать». Ему бы еще кого с собой прихватить, так нет — один пошел. Спорят они на сеновале, а жена Сидоровича услыхала и туда. Кинулась — дверь заперта. Стучит, а они не слышат. Перестала стучать, и они притихли. Жена Сидоровича вокруг дома бегаёт, руками машет, а они там сено обмеряют... Как уж они там договорились, не знаю, а только в акте проставлено 40 пудов, сам видал...

Бескуров, от души посмеявшись, сказал:

— Выходит, Овчинникову труднее было, чем мне. Мне-то повезло, что хозяйки дома не оказалось. А если б они оба с Саватеевым взяли меня в оборот, а?

— Тоже получилась бы веселая историйка, будьте уверены, — сказал Костя.

## VIII

Федор Семенович Лысов, полуобернувшись к окну и слегка поскрипывая креслом, рассеянно наблюдал за потоком прохожих на противоположном тротуаре. Особых забот у него в эту минуту не было, и он лишь ждал шести часов, чтобы отправиться домой. Без пяти шесть зазвонил телефон. Первый секретарь просил Лысова зайти к нему.

Федор Семенович огорченно свистнул, потом задумался. Неужели опять предстоит командировка? А ведь завтра суббота, и он обещал прийти к одному из друзей на день рождения. Досадно!

Комаров, хмурый и чем-то недовольный, достал из ящика стола конверт, брезгливо бросил его на стекло и сказал:

— Вот, почитай... — Лысов, сощурившись, словно целясь, потянулся за письмом, но Комаров остановил его: — Потом прочтешь, я спешу, завтра еду в обком... Да, насчет укрепления колхозов кадрами. Наломали мы дров в этом деле порядочно. В одном «Сеятеле» за два года сменилось три председателя. В некоторых наших посланцах мы ошиблись, это факт. Вернусь — специально соберем по этому вопросу пленум райкома. Это письмо — кляуза на молодого председателя в «Восходе» Бескурова...

— А почему вы считаете, что это кляуза? — с живостью перебил Федор Семенович.

— Потому, что письмо анонимное, — сердито ответил Комаров. — Собственно, не стоило бы обращать на него внимания, но там пишется о вопиющих фактах, поэтому, чем думать о Бескурове бог знает что, лучше поговорить и выяснить вопрос с ним самим. В крайнем случае, побеседовать с коммунистами...

— Понятно, Василий Васильевич, — с готовностью кивнул Лысов. — Но интересно — в чем Бескуров обвиняется?

— Представь, будто бы он, вопреки решению правления, отдал восемьдесят гектаров сенокоса Северному лесопункту, заставляет работать инвалидов, грозит урезать у них приусадебные участки, устраивает коллективные выпивки... А дальше я не верю ни одному слову...

— Разве это не всё — сделал возмущенное лицо Федор Семенович.

— Нет... Этот трус-аноним пишет, будто Бескуров не хочет перевозить жену в колхоз, так как живет там с молодой вдовой. Никогда этому не поверю. Я вызывал Екимовского, секретаря парторганизации торго, и он тоже заверил, что ничего подобного не может быть. Вообще он самого лучшего мнения о Бескурове, но, понятно, в колхозе Екимовский не был и не знает всех

подробностей. Придется тебе, Федор Семенович, съездить туда и выяснить, где правда и где ложь. Ни в коем случае не дискредитируй Бескурова перед колхозниками, пока мы досконально не разберемся во всем сами. Бескуров — дельный и способный работник, в этом я убежден. Если он в чем ошибся — я допускаю, что по неопытности он мог ошибиться — мы обязаны его поправить. Нас ведь тоже поправляют, когда мы ошибаемся. К тому же Бескурову мы практически пока ничем не помогли.

— А если это не ошибка, а преднамеренная линия? — осторожно спросил Лысов. — Кстати, насчет жены я Бескурова предупредил...

— Пока это кляуза, ничего больше, — отрезал Комаров. — Прошу это иметь в виду.

— Допустим... Но всё же мне предстоит пренеприятная миссия. Вы помните, Василий Васильевич, я воздержался при голосовании, когда мы утверждали Бескурова на бюро. Не потому, однако, что считал его неспособным, отнюдь нет. Просто потому, что в «Восходе» уже был не менее способный работник — Звонков, и следовательно, мы могли использовать Бескурова в другом месте. Вот какова была моя позиция. Теперь, если хоть часть обвинений подтвердится, поневоле придется мнение о Бескурове менять. Очень, очень жаль. Это явится большим минусом в нашей общей работе с кадрами.

— Не спешите с выводами, товарищ Лысов, — сухо сказал первый секретарь. — Минусов, конечно, у нас хватает, но посмотрим, может быть, Бескуров как раз окажется нашим плюсом? Учти, дела у него идут неплохо, я ведь хоть и по сводкам, а слежу за ним.

— Сводки, знаете... — Лысов многозначительно покачал головой.

— Знаю, товарищ Лысов, и очень жалею, что до сих пор не удосужился побывать в «Восходе». Вернусь — обязательно съезжу, — Комаров встал. — Когда сможешь туда выехать?

— Хоть завтра, — позабыв о дне рождения, на который он был приглашен, ответил Федор Семенович.

— Да, завтра, — твердо сказал Комаров. — И прошу иметь в виду то, о чем мы здесь говорили...

Дверь за Лысовым, наконец, захлопнулась. Васи-

лий Васильевич, нагнув голову и заложив руки за спину, прошелся по кабинету из угла в угол. Расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Комаров не думал сейчас о том, что и как он скажет на бюро обкома. Знал — в данном случае от него потребуют не столько цифр, сколько живой, ясной и точной характеристики людей, которые во многом решали судьбу сельского хозяйства района. И, конечно, спросят, как райком помогал этим людям, как воспитывал их. Обо всем этом у него еще будет время подумать — путь до областного центра не близкий. Ясно было и другое: ему придется выслушать немало горьких истин, и хотя Василий Васильевич уважал критику, считал ее верным средством по предотвращению крупных ошибок — все-таки выслушивать ее было всегда неприятно. Вот и Лысов говорит: в Бескурове бюро райкома, судя по всему, ошиблось. Василий Васильевич сказал ему: это кляуза, человеку, побоявшемуся подписать жалобу, нельзя доверять... Мало ли еще у нас мелочных, злобствующих, кляузных людишек, эгоистов и карьеристов, а то и просто любителей насолить ближнему? Они под разными масками скрывают свое истинное лицо, хитрят и лавируют, их подчас долго не удастся вывести на чистую воду, но в конце концов они запутываются в собственных же грязных сетях, расставленных для других. Иначе не может и быть. Но верно и то, что вреда подобные людишки приносили и приносят тоже немало.

А если это не клевета, не кляуза? Только теперь Василий Васильевич понял, что раздражение и сухой, резкий тон, каким он разговаривал с Лысовым, вызваны были именно смутным, где-то в глубине души таившимся опасением, что Лысов, быть может, прав и Бескуров действительно виноват. Сознать это было очень горько, так горько и обидно, словно Бескуров обманул лично его, Комарова. Да по существу так оно и есть, поскольку он настойчивее всех членов бюро рекомендовал Бескурова в «Восход». Допустим, дело тут не в личностях, и Бескуров подвел не Комарова, а райком, партию, но от этого Василию Васильевичу было еще тяжелее. Стоило бы вспомнить, почему он тогда так поверил в Бескурова, если бы это помогло его оправданию. Нет, его, Комарова, личное мнение ниче-

го сейчас не изменит. Помочь Бескурову может только сам Бескуров. Не сумеет — пусть пеняет на себя. Разные бывают ошибки: одни можно простить, за другие человек должен расплачиваться полной мерой.

И все же Василий Васильевич не верил, что мог так жестоко ошибиться в Бескурове. Это был бы слишком горький и обидный урок...

## IX

В «Восход» Лысов приехал в полдень. В конторе, кроме бухгалтера и счетовода, никого не было. Федор Семенович ничуть не удивился происшедшим здесь переменам, словно знал, что контору отремонтировали и переоборудовали специально в ожидании его приезда. Он одобрительно похлопал ладонью по новым, еще не покрашенным переборкам и прошел в кабинет председателя. Вызванный туда Давидонов в пять минут отбарабанил нужные сведения: сколько сжато зерновых и вытереблено льна, сколько сдано хлеба, заготовлено сена и силоса, посеяно озимых, надоено молока... Лысов, не вдумываясь, быстро записал все цифры в блокнот и уж затем стал вникать в их суть. Однако гектары, тонны и литры мало что говорили ему — их надо было сравнить хотя бы с прошлогодними данными, но это заняло бы много времени. Зато у Федора Семеновича оказались с собой показатели по другим колхозам, преимущественно передовым, и по ним он легко сориентировался.

Оказалось, дела у Бескурова действительно шли неплохо — во всяком случае, не хуже, чем у других. Уборку зерновых он, пожалуй, на днях завершит, силоса уже заложил около пяти тонн на корову («в прошлом году было, кажется, всего по две тонны»), план сенокосения перевыполнил («Ну, тут вопрос ясен: гектары — на счет колхоза, сено — чужому дяде»), лен вытеребил («Его и было-то с гулькин нос, стыдно не управиться»). А вот озимых посеяно мало, слишком мало. Хлеба сдано тоже маловато. С надоями молока явное отставание, хотя, конечно, за два месяца Бескуров, да и любой другой на его месте, вряд ли мог при всех усилиях наверстать упущенное раньше.

В общем, по сводкам Бескуров выглядит вполне добропорядочно, а вот каков он на самом деле? Ведь бы-

вает так: захочет человек блеснуть, пыль в глаза пустить — он ничем не брезгует, может решиться даже на противозаконную комбинацию, лишь бы выдвинуться, зарекомендовать себя. А там — хоть трава не расти, он своего дсбился и ходит чуть ли не в передовиках. Да, были такие случаи... И в моральном отношении Бескуров далеко не безупречен, а это о многом говорит. Комаров хотел бы, чтобы письмо оказалось кляузой, да оно и понятно: Бескуров-то его ставленник, неудобно все-таки... Однако признать ошибку вам придется, уважаемый Василий Васильевич! Признать и впредь повнимательнее прислушиваться к советам и рекомендациям второго секретаря. А то уж слишком много на себя берете, товарищ Комаров. У меня стаж партийной работы побольше, чем у вас, знаний тоже не занимать. В обкоме это известно, а если там позабыли, то можно и напомнить. Посмотрим, с чем вы приедете оттуда — просто с предупреждением, а может и с выговором. Минусов-то действительно хватает, а Бескуров, судя по всему, и подавно плюсом не станет...

Федор Семенович очнулся от своих мыслей, закрыл блокнот и, сделав деловито-строгое лицо, велел счетоводу найти и позвать Звонкова. Однако Платон Николаевич, неизвестно как прослышавший о приезде второго секретаря райкома, явился сам, приветствуя Федора Семеновича почтительной улыбкой.

— С прибытием вас, Федор Семенович. Давно, давно ждали, хоть и знаем, что хвалить нас не за что. Слабо беремся за хозяйство, недостатков уйма...

— Ладно, не прибедняйся, Платон, — добродушно сказал Лысов и обвел пухлой белой рукой кабинет. — Твоя работа?

— Обидно же, Федор Семенович: в других колхозах контора как контора, а у нас всё не как у людей. Бескуров, конечно, сопротивлялся, а сейчас и сам рад, что сидит в приличном кабинете.

— Он, видать, не понимает, что о хозяине судят не только по урожаю, но и по избе. Чего ж ты дела до конца не довел?

— Как? — сразу насторожился Звонков.

— Контору привел в порядок, а вывеску старую оставил. Фанерка вся потрескалась, букв почти не заметно. Срамота, а не вывеска.

— Верно! — всплеснул руками Звонков. — Совсем забыл, закрутился с делами...

— Закажи в городе настоящую, на стекле. Не настолько уж вы бедны.

— Пустяки, Федор Семенович, деньги мы найдем, есть деньги. Ну, как я мог забыть? — искренне огорчился Звонков и опять разводил руки.

— Ну, это дело поправимое, — утешил его Федор Семенович. — Рассказывай, как ты тут разворачиваешься, с председателем как срабатываешься?

Звонков, привстав, плотнее прикрыл дверь, зачем-то заглянул в окно и торопливым полусшепотом заговорил:

— Вы меня знаете давно, Федор Семенович, я чужими идеями не привык жить. Но раз я ответственный работник и к тому же член партии, я соблюдаю дисциплину и себя не выпячиваю. Товарищ Бескуров, конечно, здесь хозяин, но и я свое дело знаю. Он может говорить что угодно, но факты не опровергнешь, они известны колхозникам. Какие же это факты? Очень, я бы сказал, наглядные... Контору вы уже видели. Далее, я заканчиваю строительство крытого тока, возвел фундамент под зерносклад емкостью в 150 тонн, начал механизацию скотного двора. Наконец, я достал пилораму, автомашину, насос, трубы, запчасти. Ничего этого не было. И всё это... я хочу сказать — пилорама, машина и мои строители приносят доход, Федор Семенович. Товарищ Бескуров...

— Платон Николаевич, — перебил Лысов небрежным тоном, — за тот тес, который ты в прошлый раз привез без моего ведома (я узнал об этом от жены) сколько с меня следует?

— За кого вы меня считаете, Федор Семенович? — обиделся Звонков. — Из-за каких-то четырех кубометров я бы стал крохоборствовать? Нет, серьезно, вы меня обижаете...

— Ничуть, Платон Николаевич. Дело, конечно, пустяковое, не спорю, но что полагается — я уплачу.

Оба они в эту минуту испытывали друг перед другом крайнюю неловкость. Звонков, бесцельно обдергивая под ремнем гимнастерку, беспокойно размышлял: «Вот, послужи человеку, а благодарность... когда-то еще ее дождешься. Чего доброго, еще он же считает меня жуликом и пройдохой. А откажи — и подавно жули-

ком окажешься, потом доказывай, что ты не верблюд». Федор Семенович, словно бы в деловой озабоченности, опустив на блокнот глаза, думал: «Уплатить, конечно, надо, но кому? Не могу же я допустить, чтобы в колхозных книгах фигурировала моя фамилия. И откуда он разнюхал, что у меня крыша прохудилась?».

— Так что ты хотел сказать о Бескурове?

— Я, Федор Семенович, одного хочу: чтобы мне не мешали делать то, что я делаю исключительно на пользу колхоза, — снова оживился Звонков. — А Бескуров — я должен сказать это прямо и честно, хоть и не люблю жаловаться на людей — Бескуров мне мешает... вернее, тормозит осуществление моих планов. Возможно, — тут Звонков скромно потупил взор, — он завидует мне, но ведь дело-то, я считаю, общее, и стараюсь я не ради какой-то славы. Она мне не нужна, вы хорошо об этом знаете...

— Не понимаю, — пожал плечами Лысов. — Я бы на его месте дал полный простор твоей хозяйственной инициативе. Ведь он здесь председатель, значит, и слава вся его. А она ему вот как сейчас нужна! — энергично полоснул он ладонью по шее. — Я, собственно, за тем и приехал, чтобы разобраться с Бескуровым. Ты должен мне помочь.

— А в чем дело, Федор Семенович? — медленно спросил Звонков.

— На Бескурова поступила в райком жалоба. Автор, к сожалению, неизвестен, да это дела не меняет. Вот, почитай. Но — никому пока ни слова, понял?

— Понял. Ай-яй-яй! — укоризненно покачал головой Звонков, разворачивая письмо. — Впрочем, этого надо было ждать. Только я не предполагал, что так скоро.

Лысов подивился, с какой быстротой прочитал Платон Николаевич письмо. Можно было подумать, что он сам его писал. Прочитав, Звонков медленно сложил исписанный лист по старым сгибам и спокойно сказал:

— Тут всё правда.

— Правда? — воскликнул Федор Семенович. — Тогда почему же ты, как коммунист, до сих пор молчал? Ты обязан был сообщить обо всех этих безобразиях в райком партии немедленно.

— Позвольте, Федор Семенович, — нисколько не

обескураженный, сказал Звонков. — Во-первых, кроме меня, здесь есть другие члены партии, а потом, я ведь не мог ходить следом за Бескуровым и смотреть, где и как он распоряжается, — у меня у самого дел по горло, с утра до вечера на ногах. Жалобы, как вы знаете, Федор Семенович, не в моих правилах, а тут тем более. Все сразу бы подумали, что я сделал это из личных побуждений...

— Допустим, — в нерешительности проговорил Лысов. — Тогда почему же ты утверждаешь, что всё правда?

— А потому, что вам любой колхозник то же самое скажет, да и Бескуров, по-моему, отрицать не будет. Трудно с отрицать факты.

— Факты? — всё еще сомневаясь, спросил Лысов.

— Да, Федор Семенович, — почти торжественно подтвердил Звонков. — Сенокос лесопункту отдал? Отдал. Мы с бригадиром Прохоровым предупреждали Бескурова — не послушал, даже рта не дал раскрыть. Инвалида войны Саватеева гнал на работу? Гнал. Другим колхозникам угрожал? Угрожал. Молодых ребят насильно заставил ночью, под дождем, копать силосную яму, а чтобы они помалкивали — напоил их и выдал им без санкции бухгалтера сто рублей. Ну, насчет жены... тут дело ясное. Ни к чему она тут, коли он живет у молодой вдовушки, как у Христа за пазухой.

— Спит, что ли, с ней? — усмехнулся Федор Семенович. — Договаривай.

— Чего не видел, того не видел, а зря наговаривать на человека грешно, — ответно ухмыльнулся Звонков.

— Так, ясно, — многозначительно побарабанил пальцами по столу Лысов. — Для Василия Васильевича это будет большим сюрпризом. Как, по-твоему, Платон Николаевич, с какой целью Бескуров шел на эти безобразия и даже на прямое беззаконие? Полагал, что всё сойдет с рук?

— Может и так, кто его знает, — осторожно сказал Звонков. — Но, по-моему, цель у него другая. Скорей всего он хочет уйти из колхоза и опять устроиться на тепленькое местечко в торге. Он же не глупый и понимает, что здесь ему воз не по силам, одно беспокойство, а выгод никаких.

— Ну, если он и уйдет отсюда, то не по своей воле и отнюдь не чистеньким, — жестко проговорил Лысов. — Не знаешь, где сейчас председатель?

— Уехал в третью бригаду. Между прочим, Прохорову от него житья нет. Придирается ко всякой мелочи, поневоле опустишь руки. Чем старик не понравился — ума не приложу. Разве тем, что часто голосует против Бескурова. Этак он и меня скоро выживет с заместителей.

— Не он ставил, не ему и распоряжаться. Насчет Прохорова тоже придется выяснять. Пошли-ка мне сейчас бухгалтера, а потом разыщи этого инвалида... как его... Саватеева и кого-нибудь из тех ребят, что яму копали. Ни о чем с ними не говори, скажи только, чтоб шли сюда, я с ними побеседую.

— Понятно. Это я мигом... Убедительная к вам просьба, Федор Семенович: ночевать ко мне пожалуйста. Как говорится, чем богат, тем и рад...

— Благодарю, но... удобно ли? Пожалуй, не стоит, как-нибудь в другой раз.

— Да, пожалуй, — в первый раз заметно смутившись, согласился Платон Николаевич. — Ладно, подходящую квартирку я найду, вы не беспокойтесь, занимайтесь тут своими делами...

## Х

Звонков бросился выполнять поручение секретаря райкома. Сердце его трепетало от радостного предчувствия. «Вон оно! Теперь-то уж Бескуров не вывернется. А он-то, чудак, воображал: пришел, увидел, победил... Как бы не так! На придирках да на угрозах хотел выехать. Нынче, брат, не те времена. Отольются ему теперь наши охи да вздохи. А Бескурова не будет — все Платону в ноги поклонятся. Платон себя покажет, дайте срок. То, что он успел сделать — это лишь цветочки, ягодки-то впереди».

Звонков знал, как многие в колхозе только руками разводили, дивясь расторопности завхоза. Еще бы! Всем известно: Бескуров обещал было пилораму достать — и не достал. А Платон Николаевич поехал, двух суток не прошло — и вот она, чудесная машина, стоит за околицей, развевая желтые опилки, до позд-

него вечера сотрясаясь в лихорадочной работе. Лес везли сюда не только из окрестных деревень, но и из-за Согры — никому не отказывал Платон Николаевич, цену брал справедливую: с кого — со скидкой, а с кого — с накидкой. Спорить с ним не приходилось: нужда в тесе у всех была огромная. До десятка лошадей кинуто на вывозку леса, заготовленного еще прошлой зимой да так и оставленного у пня. Быстро росли штабеля колхозного теса, но так же быстро и рассасывались: на ток, на ремонт ферм, еще куда-то... Своих плотников не хватало — Звонков брал людей и со стороны. Раздобыл он себе и шофера: разбитного парня с одним глазом (другой был выбит в драке), веселого и отчаянного лихача. Один был за ним недостаток — любил выпить, а будучи навеселе, болтал иногда лишнее. Ну, ничего, будет у Звонкова власть — он укоротит шоферу язык...

Первым делом Платон Николаевич побежал к Саватееву. Тот в последние дни не вставал с постели, но как только увидел Звонкова в окно — вскочил, засуетился, побежал открывать дверь (теперь она всегда была на запоре). Еще в сенях нетерпеливо, со страхом и надеждой спросил:

— Ну, какие вести?

— Одевайся и иди в контору, — приказал Платон Николаевич. — Лысов приехал. Дошла до них жалоба, понял? Но ты и виду не подавай, будто и ведать ничего не ведаешь. Шарф на шею намотай да костыль и справку не забудь.

— Да, может, он и не спросит про справку-то?

— Спросит или нет, а ты покажи, не бойся. Гляди, не проговорись.

— Ладно, — кивнул Саватеев. — Да ты объясни, как он... Куда ветер-то дует?

— Куда надо, туда и дует, — усмехнулся Звонков. — Пожалуй, какюк будет нашему председателю. Ну, ты шевелись, хромай скорей туда, пока Бескуров не приехал.

Выйдя от Саватеева, Платон Николаевич задумался: кого же из тех ребят послать к Лысову? Выбор пал на Толю Утусикова, смиренного и малоразговорчивого парня, работавшего подручным в колхозной кузнице. Многого от него не добьешься, зато и лишнего

не скажет. Был такой факт? Был... А больше ничего и не надо. И Звонков решительно направился к кузнице...

Тем временем Лысов, сидя в председательском кабинете, допрашивал Давидонова. Давидонов был напуган неожиданным вызовом, не знал, чего от него хотят, и отвечал односложно, а то и просто ограничивался кивком головы. Федор Семенович скоро отпустил его и уже через пять минут разговаривал с Саватеевым. Потом пришел, как был — в фартуке, с засученными локотью рукавами — Толя Утусиков... Картина казалась Лысову ясной. Оставалось еще побеседовать с секретарем парторганизации Сухоруковым, но тут Федору Семеновичу передали, что вернулся Бескуров, и сейчас он будет здесь.

Лысов подумал, что всё складывается как нельзя лучше. Нет, лично против Бескурова Федор Семенович ничего не имел. Правда, где-то в душе у него сохранился неприятный осадок от первой встречи с Бескуровым в райкоме, но это было давно, и теперь, когда Бескуров так глупо дискредитировал себя, Федор Семенович даже сочувствовал ему. Конечно, если бы Комаров послушался в то время доброго совета и не настаивал на своем предложении рекомендовать Бескурова в «Восход», всё было бы иначе. Звонков отлично бы управился здесь без посторонней помощи, у Бескурова был бы чистый послужной список, а у райкома меньше оказалось бы минусов. Хорошо еще, что Комаров поехал в обком до этой скверной истории, но уж на пленуме разговора о ней не избежать. Раз уж это случилось, надо быть до конца объективным и вскрыть истинную подоплеку событий. Разумеется, Комарову это будет очень неприятно, но что же делать... Ошибки надо признавать не только с глазу на глаз, а и всенародно.

... Бескуров узнал о приезде Лысова не позже чем через четверть часа после появления секретаря на территории колхоза. По пути в третью бригаду Антон побывал на картофельном поле, затем у льноводов и тут ему сообщили о Лысове. Первой мыслью было — вернуться, самому рассказать о том, как идут дела, но, поразмыслив, Бескуров отказался от этого намерения. «Зачем? Пусть ходит один, с народом поговорит, а

то привыкло районное начальство с одними председателями истину выяснять. Нет, не стоит его стеснять».

Откровенно говоря, Антон давно ждал кого-либо из района, слишком много накопилось у него разных вопросов, по которым хотелось бы посоветоваться с более опытными людьми. Лучше всего, если бы приехал сам Комаров или же Атаманов, но раз они заняты — Бескуров был бы рад любому знающему и, главное, понимающему жизнь человеку. Возможно, дела в колхозе идут хуже, чем сам Антон думает. Со стороны всегда видней, а он все эти дни настолько увяз в повседневных заботах, что ему, конечно, трудно окинуть и критически, трезво оценить общее положение. Во всяком случае, оно представлялось Бескурову далеко не блестящим, хотя он и не мог не видеть, что некоторые сдвиги определенно имеются. Правда, постороннему их не так-то легко будет заметить, ибо выражались они, эти сдвиги, не в гектарах и процентах, а происходили в сознании людей, но именно это и представлялось Бескурову самым ценным из того, что ему удалось сделать за два месяца. Он, конечно, отдавал себе отчет в том, что сделано пока мало, но ведь всякое большое дело имеет свое начало и в данном случае, что бы там ни судачили малoverы и нытики, начало было положено хорошее. Впереди оставалось еще много трудностей, но уже и Овчинников, и Сухоруков, и Клава, и Костя Проскуряков, и сам Бескуров — все они и десятки других колхозников верили, что сумеют преодолеть эти трудности. А это было главное.

Все-таки приезд Лысова несколько смутил Антона. Не потому, что он мог отругать за недостатки (ругать было за что), а потому, что Антон хорошо помнил предыдущие встречи со вторым секретарем и чувствовал какую-то скрытую неприязнь в его отношении к нему, Бескурову. О причинах личного характера не может быть и речи. Лысов воздержался тогда на бюро. значит, он считал Бескурова неподходящей кандидатурой в «Восход» и, очевидно, предпочитал видеть здесь председателем Звонкова. Но ведь окончательно вопрос решали не они, а колхозное собрание. Звонков это сразу понял и, кажется, не имеет сейчас каких-либо претензий к Бескурову. Правда, по некоторым вопросам у них бывали стычки и разногласия, но они вы-

званы интересами дела, которому оба служат. Смешно было бы, если бы они по всем вопросам думали одинаково. Бескурову приходится иногда резко поправлять завхоза, отвергать его «прожекты», если они оказывались преждевременными, но и это казалось Бескурову в порядке вещей. Как же иначе? Пока он здесь председателем, его святой обязанностью является следить за всем и строго блюсти интересы колхоза. Вот почему Бескурова беспокоили слухи о кое-каких неблагоприятных комбинациях Звонкова, однако не настолько, чтобы он мог позволить себе отвлечься хоть на день от других неотложных и куда более важных дел. Возможно, в дальнейшем серьезного разговора со Звонковым не избежать, тогда пусть он пеняет на себя.

Да, Лысов будет прав, если даст председателю взбучку за отдельные промахи и недоделки, но, черт возьми, неужели все этим и кончится?

Бескуров пришел в контору усталый и несколько подавленный тем, что ему пришлось увидеть и узнать в третьей бригаде. Федор Семенович по-прежнему занимал председательское место, поэтому Антон взял у стенки свободный стул и присел поодаль, как посетитель. Он был без кепки, в белой, с закатанными рукавами, запыленной рубашке с потемневшим от пота воротом. Лицо, как всегда, было выбрито досиня, лишь ямка на подбородке темнела, запорошенная дорожной пылью. Голубые глаза смотрели из-под сдвинутых рыхлых бровей устало и серьезно.

— Ну-с, товарищ Бескуров, как дела? — начал Федор Семенович, открывая блокнот и подчеркивая некоторые цифры карандашом.

— Какие именно? Дел, сами знаете, много, — улыбнулся Антон.

— Могу уточнить, если вы сами не в состоянии выделить главное, — сказал Лысов, желая сразу перейти на официальный тон. — Например, почему вы медлите с севом озимых и тем самым тянете район назад? Позвольте, позвольте, я назову цифры...

— Я их знаю, — ответил Бескуров спокойно. — Никого тянуть назад мы не собираемся, это не в наших интересах. Верно, сроки уходят, но еще не ушли. До пятого сентября сев закончим, задержка получилась из-за поломки трактора. Завтра он будет на ходу.

— Не правда ли, всё очень просто, по-вашему: подвела техника, а мы-де тут ни при чем? — задетый его спокойствием и уверенностью, съязвил Федор Семенович.

— Да, техника частенько нас подводит, потому что распоряжаемся-то ею не мы. Я предлагал бригадире тракторной бригады пахать участок у Кривой березы, а он говорит: мои ребята там работать не будут, невыгодно... Поехали к Починку и поломались. Но я не оправдываюсь. Нам недостает еще организованности и оперативности, а это такая штука, которую враз не приобретешь.

Федор Семенович захлопнул блокнот и откинулся на спинку стула. Он был явно возмущен. Подумать только, Бескуров не хочет оправдываться! Он даже не прочь пофилософствовать, словно разговаривает с каким-нибудь репортером. Да и то так рассуждать может лишь руководитель передового колхоза, имеющий за плечами многолетний опыт и заслуги. А он-то что о себе воображает?

— Интересно, чем вы объясните тот факт, что колхоз хуже всех в зоне ведет сдачу хлеба? Тоже неорганизованностью? В таком случае разрешите напомнить вам, товарищ Бескуров, что райком затем и рекомендовал вас сюда, чтобы покончить с отставанием и неорганизованностью. И вы даже заверяли бюро, что справитесь с этим, не так ли?

Бескуров жестом беспримерной усталости провел загорелой ладонью по волосам. Всё, что он передумал и пережил за эти трудные дни, вспомнилось ему разом, и оттого, что эти переживания никому не интересны и ненужны, на душе стало горько и пусто. Предстоял никчемный разговор, с которым необходимо было поскорей покончить и отдохнуть, а потом подумать о том, что делать дальше.

— А вы бы хотели, товарищ Лысов, чтобы я за два месяца всё вверх дном перевернул? Такого заверения я не давал и не мог дать. Можно подумать, что вы сроду не бывали в «Восходе» и не знаете, какие порядки существовали здесь годами. Но если вы обладаете секретом, как за короткий срок изменить эти порядки, сделать их идеальными — я с благодарностью воспользуюсь вашими советами.

— Что же, вы так и собираетесь всю жизнь работать по чужим подсказкам? — зло спросил Федор Семенович; он уже почувствовал, что с этим Бескуровым церемониться нечего.

— Иногда это бывает полезно. Итак, я вас слушаю.

— Да, придется послушать! — вскочил со стула Федор Семенович. — За два месяца вы, конечно, не сделали здесь погоды, но отличиться сумели. Райкому известно всё о тех безобразиях, которые вы тут натворили. Мне остается выяснить лишь немногое...

— Что вы имеете в виду? — настороженно спросил Бескуров.

— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Не разыгрывайте из себя простачка, товарищ Бескуров. Я говорю с вами как с коммунистом по поручению первого секретаря райкома товарища Комарова. К нему поступила на вас жалоба, и я убедился, что в ней изложены только факты, возможно, даже не все...

— А, жалоба, — равнодушно сказал Бескуров. — Это интересно.

— Это очень печально, товарищ Бескуров, во всяком случае для вас, — внушительно проговорил Лысов. — Скажите, на основании какого Устава и каких законов вы отдали восемьдесят гектаров колхозного лесокоса Северному лесопункту?

— На основании здравого смысла, товарищ Лысов. Эти отдаленные лесные и частично заболоченные участки не выкашивались много лет и пропадали зря. Нынче мы получили с них сотни центнеров сена. Какое же тут преступление? Притом, это сделано по решению правления.

— Многие члены правления были против, но вы их не стали слушать. А гектары вам понадобились для сводки, чтобы вылезти в передовики. Такова подоплека этой незаконной сделки с лесопунктом, товарищ председатель.

В голосе Федора Семеновича слышалось нескрываемое торжество, смешанное с презрением, но Бескуров отнюдь не выглядел виноватым и уничтоженным.

— Мне нужно было сено, чтобы кормить скот, а не гектары. Ваше утверждение — это досужая выдумка. А сено мы будем иметь, — упрямо сказал Антон, чув-

ствуя, однако, что ему становится всё труднее сдерживать себя.

— Что ты инвалида войны гнал на работу, угрожал ему и другим урезать приусадебные участки — это тоже выдумка?

— Я не угрожал, а предупредил всех, кто не работает в колхозе, что, кроме прав, у них есть и обязанности. Об этом записано в Уставе артели. О каком инвалиде идет речь? Не о Саватееве ли? Вы говорили с ним?

— Да, и не только с ним.

— Тогда понятно, — усмехнулся Бескуров. — Интересно, показывал он вам документ об инвалидности?

— Конечно. Неужели вы думали, что я поверил бы на слово?

— Документ фальшивый, дата на нем подделана. Вас ввели в заблуждение, товарищ Лысов. Впрочем, янисколько не удивляюсь — этот Саватеев способен на всё. Он здоров не хуже нас с вами, но шкурник законенелый. И главное, на него смотрят другие. Его жена и дочь выходят на работу когда вздумается, остальное время заготавливают грибы и ягоды. Как прикажете поступить с этой семьей?

— Это дело правления. Как бы там ни было, угрозы — не метод руководства. Вы совершенно забыли о воспитательной работе с людьми.

— Разных людей надо воспитывать по-разному. Шаблона тут быть не может.

— Как раз вы и следуете этой прописной истине. Одним угрожаете, других без причин одергиваете, третьих спаиваете. Довольно разнообразные у вас приемы, ничего не скажешь.

— Всё это ерунда, выдуманная каким-то злопыхателем, — раздраженно сказал Бескуров. — Я считаю, что райком, рекомендовавший меня сюда, обязан не только критиковать и поправлять меня, как коммуниста, но и защищать от явной клеветы и извращения фактов. А вы как будто рады, что на меня поступила вздорная жалоба. Это не по-партийному...

— Вон как! — зловеще процедил сквозь зубы Федор Семенович. — Вы еще осмеливаетесь учить райком, как ему следует поступать? Ну, знаете, это уж слишком! Будьте уверены, на бюро мы дадим достой-

ную оценку вашему поведению. Отрицать очевидные факты, всячески выкручиваться и...

— Вот что, Федор Семенович, — холодно перебил Бескуров, — давайте лучше кончать. Вы хотите, чтобы я признал факты? Пожалуйста, вот они. Да, я настаивал на том, чтобы отдать лесопункту заброшенные участки сенокоса и получить сено, да, я предупреждал злого лодыря и нарушителя Устава Саватеева, что он будет лишен привилегий и прав колхозника, если не станет честно работать в колхозе. Всё это было. Был и такой случай, когда я угостил ребят рюмкой водки, потому что они работали ночью под дождем, устали и продрогли по дороге.

— А потом выдали им самовольно сотню рублей? — напомнил Лысов.

— Да, выдал, и считаю, что они их честно заработали.

— А как обстоит дело с бригадиром третьей бригады?

— Прохоровым? Его придется снимать.

— Вот, вот! — подхватил Лысов, уже ничему не удивляясь. — На каком основании?

— Оснований более чем достаточно. Сегодня я обнаружил скирду хлеба, которую Прохоров попросту пытался скрыть. Поставки хлеба сдерживает сознательно и не первый год. Бригаду превратил в свою вотчину, общественным добром распоряжается как бог на душу положит. Весной разбазарили полсотни поросят, но в книгах нашей бухгалтерии об этом ни слова. Часть молока с фермы исчезает неизвестно куда. До сих пор всё как-то сходило с рук, хотя Звонков, оказывается, знал о некоторых махинациях Прохорова.

— Если бы знал, он принял бы меры, будьте спокойны. Нечего впутывать в эти дела других. Дай бог расхлебаться с тем, что вы сами успели натворить. Ведь вы рассказали не всё. Последний вопрос: почему вы, товарищ Бескуров, до сих пор не перевезли и, кажется, не собираетесь перевозить сюда жену?

— Жену? — Бескуров посмотрел прямо в лицо Лысову и докончил: — Об этом я с вами не буду говорить, Федор Семенович.

— Можешь не говорить, я и без того всё знаю. Что ж, на этом, пожалуй, кончим. Остальное выяснит-

ся завтра на партийном собрании. Будьте добры, пошлите кого-нибудь за Сухоруковым.

## XI

Над деревней тихо, незаметно опускался вечер. Солнце село за дальним леском, но еще долго его лучи просвечивали и золотили верхушки елей, неподвижно устремленных ввысь. На противоположной стороне неба дыбом вставали темно-серые, светлые по краям, облака. От них тянуло холодком, и приятная свежесть постепенно наполняла еще недавно знойный воздух. В проулке разноголосо мычали коровы — стадо возвращалось домой. У пожарного сарая ребятишки гонялись друг за другом, вздымая босыми ногами искрошенную в пыль землю. У колодца стояли и разговаривали две женщины, а рядом, наклонив морды к обшешелой, наполненной ледяной водой колоде, утоляли жажду жеребята. Вспугнутые звоном упавшего ведра, они бросились врассыпную по улице, и дробный перестук их копыт скоро затих за поворотом.

Бескуров шел навстречу дыбившимся на западе облакам и ни о чем не думал. Вернее, он думал о многих вещах сразу и не мог и не пытался остановиться на чем-либо одном. То он вспоминал Зою, то Прохорова, то Лысова, затем Костю Проскуракова и Клаву, снова Лысова и тут же пробовал угадать, о чем разговаривают две женщины у колодца... Единственное, что ему хотелось сейчас — это отдохнуть, а потом уж не спеша «переварить» то, что он услышал. Глупо, что он не спросил у Лысова, кто писал жалобу. Впрочем, не всё ли равно?

Ивана Ивановича он застал дома. Сухоруков только что пришел с фермы, разгоряченный, с ржавыми пятнами на рубахе, со свежими царапинами на единственной руке. Не успев поздороваться и не переставая что-то разыскивать по углам избы, оживленно заговорил:

— А ведь, пожалуй, мы не зря Платона в завхозы произвели, ей-богу. Там слесаря с завода пришли, а у него и трубы, и железо, и насос — всё под рукой. Где раздобыл — неизвестно, а только не в сельхозснабе. Ну, это ясно, у него полгорода друзей, завсегда вы-

ручат. Столбы мы завтра закончим ставить, а там дело пойдет, ребята пришли шаговитые. Эх, одна затрудность — денег у нас маловато, а то бы мы развернулись... Постой, ты чего это такой... глаза какие-то чужие. Потерял что?

— Я-то нет, а вот ты чего ищешь, по избе мечешься? — без улыбки спросил Бескуров.

— Мочалка куда-то запропастилась, никак не найду. Да нет, в самом деле, чего ты такой кислый? Разморило, небось, на солнышке? Вст что, пойдём-ка со мной в баню, эх, и попаримся! Как рукой устаток снимет, у меня это верное средство.

Он, наконец, обнаружил мочалку и мыло на запечке, быстро завернул их в газету и засунул в карман.

— Мочалку взял, а белье почему не берешь? — усмехнулся Антон.

— Черта с два его у бабы найдешь, — весело проговорил Иван Иванович. — Перероешь у нее всё, потом шуму не оберешься. Да у меня же это вне очереди баня, Егора Пестова жена истопила. Мне бы только попариться, люблю. Завсегда с Егором наслаждаемся.

Бескуров знал эту его слабость. Как бы ни умаялся Иван Иванович за день — не о еде вспомнит, а о бане, где бы и кем бы она ни была истоплена. И, конечно, белье он не брал не потому, что трудно его найти, а чтобы жену от лишней нагрузки избавить. При его работе ежели через день белье менять — жене только и дела останется, что мужа обстирывать. А ведь у нее еще трое ребятишек.

— Придется тебе, Иван Иванович, сегодня в другой баньке попариться, — сказал Бескуров с улыбкой. — Иди-ка в контору, Лысов срочно требует.

— Лысов? Эка досада! Чего он приехал? Ты-то видел его?

— Видел, наговорился досыта. Иди, тебя ждет.

— Нет, ты погоди, не толкай меня. То-то, замечаю, на тебе лица нет. Говори толком, что там стряслось? Поругались, что ли?

— С начальством ругаться не полагается, забыл? Смотри, не вздумай спорить, признавайся во всем, а то худо будет.

— Да ну тебя, в самом деле! — обиделся Иван Ива-

нович, кладя обратно мочалку и мыло. — В чем я должен признаться, ежели у меня ни сзади, ни спереди... Серьезно, Антон Иванович, зачем Лысов приехал? Поглядеть, как с уборкой управляемся? Так ты меня введи в курс, я, знаешь, все эти дни с топором вождался, на полях-то почти не бывал.

— Не бойся, об этом он спрашивать не будет... — И Бескуров неохотно и коротко рассказал Сухорукову о жалобе и о происшедшей у него с Лысовым довольно невежливой беседе.

Иван Иванович сразу помрачнел, зачем-то снял с гвоздя ремень и, ловко орудуя одной рукой, туго подпоясался, а выслушав, недоуменно спросил:

— Как же это понимать, Антон Иванович? Кому же всё это нужно? Оно, конечно, всё это факты, да ведь этак любой факт можно так повернуть, что выйдет уже не факт, а прямое беззаконие. Ну, скажем, сенокос... Пропадал этот сенокос за зря сколько лет — и никто виноват не был, а тут нате вам... О Саватееве я и говорить не хочу, это такая зараза, что и слов тратить жалко. Остальное тоже сбоку-сприпеку приклеено. Кто же всю эту дрязгу мог написать, а?

— Я не спрашивал, да не всё ли равно?

— Ну, а ты сам как думаешь — кто? — допытывался Иван Иванович.

— Не знаю. Может быть, тот же Саватеев...

— Нет, одному ему не сообразить, — решительно заявил Сухоруков. — Лаяться он мастак, а бумагу составить у него ума не хватит. Ну, ладно, я всё это выясню и Лысову растолкую, а ежели не поверит — соберем коммунистов.

— Завтра партийное собрание, Лысов сам будет проводить.

— Ну и мы тоже слова пока не лишены. Скажем, что думаем. А здорово, видать, кому-то ты насолил, раз уж до райкома дошло. Ну и ну. Однако ты, парень, голову не вешай, правда на твоей стороне, понял?

— Пока правда обнаружится, Лысов немало дров наломает. Если б он хотел ее увидеть — сразу увидел бы, а он не хочет. Ну, я пошел, устал что-то очень. До свидания.

— Ладно, ты только не волнуйся, всё будет в порядке, — растерянно сказал Иван Иванович, выходя

вслед за Бескуровым на крыльцо. У калитки они расстались...

Нет, дорогой Иван Иванович, вряд ли теперь все будет в порядке. Ты думаешь, это просто: расскажешь Лысову все, как было, и делу конец. Так просто не бывает, когда человека обвиняют в злом умысле и факты косвенно подтверждают это. Лысов даст им соответствующую политическую оценку, он, как дважды два — четыре, докажет тебе, что Бескуров не должен был, не имел права так поступать, а ты, секретарь парторганизации, проявил близорукость, не воспрепятствовав неправильным действиям. Ты, конечно, честный человек, дисциплинированный член партии, но тебе трудно с той грамотой, какая у тебя есть, спорить с Лысовым, хотя внутренне ты и убежден, что тут что-то не так. И ты, возможно, совсем растеряешься, когда тебе скажут, что Бескуров карьерист и демагог, не оправдавший доверия партии, что он уже не любит свою жену и не хочет ее видеть...

Вот что примерно хотел сказать Антон Ивану Ивановичу, когда тот заявил, что всё растолкует Лысову и выяснит истину. Но он не сказал ничего этого, потому что Иван Иванович страшно удивился бы и ответил, что всё это чепуха и этого не может быть. Однако, как бы там ни было, Сухоруков уверен в честных намерениях Вескурова и не отвернется от него. Вот только хватит ли у Ивана Ивановича сил бороться до конца? Хватит ли этих сил у него, Бескурова? Ведь если дело дойдет до бюро, — а Лысов теперь, после резкого разговора в конторе, обязательно настоит на этом — оправдаться будет нелегко. Его, Лысова, объяснение некоторых фактов многим покажется вполне правдоподобным, а тут еще Зоя... Да, это самое тяжелое из того, что вообще могло случиться...

Бескуров добрался до квартиры, но не вошел в дом, а присел на крыльце. Можно было бы сразу лечь спать, благо Татьяны Андреевны дома не оказалось и он был избавлен от лишних расспросов и обязательного вечернего чая, однако уснуть вряд ли бы удалось. К тому же в избе, Антон знал, будет душно, а на улице становилось всё свежее, пахло листвой и еще чем-то с огорода, кажется, укропом. Сумерки сгущались быстро, и Антон впервые подумал о том, что уже насту-

паст осень — пора, когда над опустевшими полями господствует тишина, с деревьев опадают листья, лишь на рябине зреют тяжелые гроздья, когда человек отдыхает от летних тревог и забот, а природа бушует вовсю дождями и ветрами, словно вознаграждая себя за долгую сдержанность.

Бескуров медленно, как бы в нерешительности, спустил рукава рубашки, застегнул манжеты и, оглянувшись на окно, уже освещенное лампой (мать Тагьяны Андреевны боялась темноты), направился по улице. Да, теперь уж не стоило обманывать себя: он шел в надежде, что удастся увидеть Клаву. Странные бывают вещи на свете... Думал ли когда-нибудь Антон, что эти два месяца, промелькнувшие как две недели, окажутся такими переломными в его жизни. Ведь всё уже, казалось, утряслось, определилось, позади остались и война, и скитания, и трудные поиски своего места под солнцем — и вот всё приходится начинать сначала. Но теперь Антон стал другим. Еще недавно Антон думал, что он любим и потому счастлив — это оказалось ошибкой; он наивно предполагал, что самые трудные испытания уже миновали, а они еще были впереди; он воображал, что умудрен опытом, но эти два месяца доказали — опыт приобретается всю жизнь и все-таки человек не гарантирован от ошибок. Антон боялся ошибиться еще раз, поэтому-то он и раздумывал сейчас над тем, почему его так властно и неудержимо тянет к Клаве.

Они встречались часто, иногда несколько раз в день, но это были короткие деловые встречи на людях, только и всего. Но Антон замечал за собой, что он говорит и смотрит на нее иначе, чем на остальных, ему всегда хотелось задержать ее, ощутить на себе ее взгляд, увидеть улыбку, сказать ей что-нибудь не относящееся к делу, узнать, как она живет и что думает о том-то или о том-то, — и чем сильнее было это желание, тем сдержаннее становился он с ней, боясь выдать себя. Но глаза все равно выдавали его, он это чувствовал по тому, что Клава быстро смущалась, торопилась закончить разговор и уходила, бросив на него непонятный грустно-умоляющий, робкий взгляд.

Полное душевное смятение и замешательство охватили Антона после его разговора с Любой Мальце-

вой. Он не сразу решился на этот разговор. Действительно, неудобно было расспрашивать постороннего человека о жене, но Антон успокаивал себя тем, что он и не собирается говорить только о Зое. Люба особенно запомнилась Антону, тогда, на вечеринке, и ему просто интересно узнать, что она за человек. Его, правда, удивила растерянность Любы, когда они, наконец, остались наедине, и только позже он понял, чем была вызвана эта растерянность. Люба заранее готовилась и боялась, что он спросит ее о Зое. Вот почему, не успев Антон рта раскрыть, как Люба, отводя в сторону глаза и от волнения глотая слова, рассказала ему всё... Он, кажется, глупо улыбнулся, когда Люба кончила, сказал с наигранной беспечностью: «Да, так вот, значит, какие новости»... но тут же отвернулся, кусая губы. И после, придя домой, Антон всю ночь не сомкнул глаз.

С того дня Бескуров думал о жене с жалостью, к которой примешивалось презрение. Потом осталось только презрение. В самом деле, Зою нечего было жалеть: она отлично знала, что делала, к этому она и стремилась, раз Антон не захотел бросить всё и вернуться к ней. Она, пожалуй, сделала бы это и при нем — рано или поздно. Ей хотелось нравиться всем, такова уж у нее натура. Просто непостижимо, как она решилась выйти за него замуж. Возможно, она считает сейчас этот свой шаг роковой ошибкой, а возможно, и не считает. Ведь Антон несколько не мешает ей. Она вольна жить как ей хочется, а больше ничего и не требуется — вот ее философия. Как он был глуп! Но, наконец, это кончилось. Нет, не совсем: теперь Лысов этого дела так не оставит. Оно, несомненно, получит в его толковании неприглядную окраску. Что ж, пусть так, Бескуров все равно не станет объяснять ему, как это всё случилось. Но Клаве он должен объяснить, это решено. Да, Клава (мысленно он не называл ее иначе) должна знать всё. Тогда он будет спокоен.

Деревню уже начинала окутывать серая вязкая мгла. В домах зажглись огни. Стало совсем прохладно, но Бескуров не чувствовал этого. Где-то на западе прогремывал гром, за лесом изредка сверкали молнии. Сердце Бескурова вдруг забилося чаще — он увидел огонек в доме Хватовых. Один единственный огонек,

как раз в комнате Клавды — желтый и трепетный, словно горела свеча. Неужели Серафимы Полиектовны нет? Впрочем, если бы она и была, Бескуров все равно зашел бы в дом. Он должен увидеть Клавду, вот и всё. Какое ему дело до других, в том числе и до Серафимы Полиектовны?

Бескуров с решимостью отчаяния толкнул калитку и зашагал по знакомой дорожке к крыльцу. Где-то загремело ведро (Бескуров притаил дыхание и невольно замедлил шаг), потом раздался добродушный голос Лены: «Ешь, ешь, черномазый, еще принесу»... Она вышла из сарая, когда Бескуров уже был на второй ступеньке крыльца, испуганно вскрикнула:

— Ой, кто это?

— Лена, это я, Бескуров, — сказал Антон как можно спокойнее. — Клавдия Васильевна дома?

— Антон Иванович! — обрадовалась Лена. — Дома, дома Клавда, проходите, пожалуйста.

Она засуетилась, взбежала на крыльцо, на ходу отодвинула с дороги пустой ящик, в сенях зажгла спичку, чтобы Бескуров не наткнулся в темноте на какой-нибудь предмет. Можно было подумать, что она давно ждала Бескурова и хотела, чтобы он так и понял ее предупредительность. Войдя в кухню, Лена сказала:

— Мамаша к Сушковым ушла, я тут одна обряжаюсь. Клавда, ты не спишь? — крикнула она. — Проходите вот сюда, Антон Иванович.

Шпильки выпали из рук Клавды, и она застыла на месте. Волосы, рассыпавшись, прикрыли лицо, она отбросила их назад и, полуобернувшись к дверям, ждала, что будет дальше. Ей казалось, что сейчас, вот сию минуту произойдет что-то необычайное и страшное.

Но ничего страшного не произошло. Антон остановился перед Клавдой, смущенно улыбаясь, ища, куда бы присесть и стать незаметным в этой маленькой уютной комнатке, слабо освещенной повернутой настольной лампой с закоптевшим стеклом. Однако второго свободного стула не оказалось, и Бескуров сказал:

— Извините, Клавдия Васильевна, что являюсь так поздно, но мне надо с вами поговорить. Буквально несколько минут...

— Пожалуйста, садитесь, Антон Иванович. — Она подала ему свой стул, а сама пересела на покрытую клетчатым легким одеялом кровать. — Я рада, что вы зашли.

Он пристально взглянул на нее, как видно, усомнившись в искренности ее слов. Она залилась румянцем, но при тусклом свете Бескуров вряд ли заметил ее минутную растерянность.

— Клава, — громко сказала за перегородкой Лена, — я пошла к Кате, присмотри тут за домом, ладно?

— Хорошо, Лена. — Клава услышала, как за Леной хлопнула дверь и повторила спокойно: — Я рада, что вы пришли. Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего особенного... Просто мне захотелось поговорить с вами. Вы не сердитесь?

— Нет, зачем же? Но я вижу, что-то случилось. Я слышала — приехал секретарь райкома Лысов. Ждала, что он зайдет на ферму, а у нас там... Он еще не уехал?

— Нет. Завтра он будет на нашем партийном собрании. — Бескуров извиняюще улыбнулся, как-то подомашнему, доверчиво развел руки. — Знаете, Клава, у меня серьезные неприятности, вот я и зашел к вам отвести душу. Отлично сознаю, что это по меньшей мере эгоистично — надоедать вам своими жалобами, но... мне, собственно, больше некуда было пойти.

— О, я понимаю! — сказала она взволнованно. — Что-нибудь с женой?

— И с женой... — ему было тяжело говорить об этом, но, собравшись с мыслями, он негромко продолжал: — Помните мою «знакомую» — Любу с завода? Я ее почти не знаю, видел лишь один раз на вечеринке у жены. Там были и мужчины. Правда, я их выпроводил, но это к делу не относится... Так вот, Люба рассказала мне, что жена открыто связалась с одним из этих парней — Будахиным, которого, между прочим, я считал кавалером самой Любы. Он ходит к жене на квартиру, хотя и побаивается, как бы я не намял ему бока. Ну, до этого я еще не дошел, тем более, что Будахин, я уверен, у нее не первый и далеко не последний фаворит. Вот, кажется, и всё...

— Но это ужасно, — тихо отозвалась Клава, опу-

ская на колени руки. — Как же она могла? Разве нельзя было иначе?

— Нет, — коротко ответил Антон. — Не стоит это объяснять, Клава. Я был глупцом, раз не сумел предвидеть этого раньше.

— Вы и не могли предвидеть, ведь вы любили ее.

— Не знаю, что это было — любовь или слепое увлечение. Может быть, и любовь, но теперь я сомневаюсь. Всё пролетело, как в дурном сне. И я рад, что пролетело, позже было бы хуже.

— Ну и как же теперь? Вы подадите на развод?

— У вас можно закурить?.. Я приоткрою форточку и буду пускать дым на улицу. — Клава улыбнулась, но промолчала, с любопытством и с затаенным волнением наблюдая за ним. — Да, конечно, жить с ней я не могу и не буду, это ясно. А вот с разводом придется пока подождать. Понимаете, Клава, Лысов обвинил меня сегодня в семи смертных грехах, а если я еще затею этот развод — мне и подавно не сдобровать. Впрочем, Лысов, кажется, и без того информирован достаточно подробно, так что пункт «бытовое разложение» мне все равно обеспечен...

Клава была возмущена.

— Кто же может приклеивать какие-то пункты, если вы не виноваты? Вы же рассказали товарищу Лысову, как именно обстоит дело?

— Нет, не рассказав, — улыбнулся Антон. — Я рассказал это только вам, Клава.

— Да, конечно, — опять вспыхнула она, — но ведь я не секретарь райкома. И я ничем не могу вам помочь.

— А мне и не надо помогать, — мягко сказал он. — Я попробую бороться сам. Лысов — это еще не весь райком, там найдутся умные и чуткие люди. Затрудность, как выразился Иван Иванович, в том, что я действительно в некоторых случаях поступал неосмотрительно. Мне-то, понятно, казалось, что я поступил правильно, а вот Лысов и еще кое-кто квалифицируют мои действия иначе. И если посмотреть со стороны, покажется, что правы они, а не я.

— Но какие же это действия? В чем вас обвиняют, Антон Иванович? — с недоумением и тревогой, которую она не могла да и не хотела скрывать, спрашивала Клава.

Бескуров, по возможности смягчая слова и выражения, передал ей содержание своего разговора с Лысовым. Сначала он описал внешность самого Лысова, упомянул о прежних встречах с ним и только потом перешел к беседе в конторе — всё для того, чтобы продлить свое пребывание в этой уютной, укутанной полумраком комнатке, еще и еще смотреть в глаза сидевшей напротив девушки, без конца повторять ее имя и слушать ее то удивленные, то возмущенные или одобрительные восклицания и реплики. Бескурова несказанно радовало, что Клава приняла его огорчения близко к сердцу, что она понимает его с полуслова и уже не сводит взгляда, когда он ласково и благодарно смотрит на нее. Ему даже совестно стало от мысли, что он перекладывает на ее девичьи плечи часть собственной душевной тяжести, зато насколько ближе и роднее показалась она Антону, когда воскликнула:

— Я пойду и расскажу Лысову все сама! Это ложь! Тот, кто писал в райком, двуличный и низкий человек. Почему же он не выступил открыто?

— Возможно, он еще выступит, — успокоил ее Бескуров. — А с Лысовым говорить бесполезно. Представьте себе, что кто-нибудь видел, как я зашел к вам. Ну и пожалуйста: сразу подумают, что я подговорил вас.

— Да, верно, — рассмеялась она и вдруг потрянула головой так, что волосы опять рассыпались и почти закрыли все лицо. — Ну и пусть думают, а я все равно завтра поговорю с Лысовым.

— Не стоит, Клава, — он протянул руку, взял ее за согнутый локоть. Она сразу встала, но Антон, тоже поднявшись, не отпустил ее руки. Так они несколько секунд стояли друг против друга, словно прислушиваясь к биению своих сердец, потом он притянул ее к себе и прижался щекой к ее теплым, мягким волосам.

— Не надо, Антон Иванович, — чуть слышно проговорила она и отошла за столик, на котором добирала последний керосин, едва горела лампа.

Антон неловко опустился на стул. Что бы ни случилось с ним дальше — сейчас он был счастлив.

— А знаете, Антон Иванович, — стараясь сгладить наступившую неловкость, заговорила после паузы Клава, — ребят вы угостили водкой, по-моему, зря.

Во-первых, лишние разговоры, а, во-вторых, зачем их вообще было угощать?

— Да, я тогда об этом не подумал, — согласился Антон. — Но видели бы вы, как они работали! Сперва-то они было совсем раскисли, ну, я и говорю: «На фронте никто из вас не был? Такие ли там дожди хлестали, однако мы и окопы рыли и в атаку шли, никто не хныкал. А комсомольцы на целине? Они ведь на голом месте совхозы создавали, всякого пришлось хлебнуть, а все-таки целину освоили. Неужели мы одни такие слабяки?..» Ну и пошло дело. А потом, когда кончили, захотелось мне с ними поближе познакомиться, кое-что им рассказать. А какой же душевный разговор может быть между мужчинами без рюмки? Тем более, что на нас сухой нитки не было. Ну, выпили, потолковали и расстались друзьями. Я теперь за этих ребят где угодно поручусь — не подведут, — с гордостью сказал Антон и усмехнулся: — А тут вон что получилось. Целая история...

Он, сморщив высокий, с залысинами, лоб, опять развел руками. Клаве снова стало легко и просто с ним, словно она знала его давно и заранее могла сказать, как он поступит в том или ином случае.

— Да, неприятная история, и вам за нее придется отвечать, — с шутливой строгостью сказала она.

— Ладно, отвечу, а ребята все-таки хорошие, — в тон ей ответил Антон. Он понял, что она не сердится на него, и тоже повеселел. Он как-то уж привык к ее серьезному, грустно-задумчивому взгляду, а теперь Клава опять была другой: глаза ее лукаво посмеивались, да и вся она в этом домашнем штапельном халатике, с распущенными светлыми волосами казалась Антону совсем новой, незнакомо далекой и близкой одновременно.

— Завтра воскресенье и завтра собрание. Значит, вы не пойдете завтра в город? — спросила Клава.

— Нет, — покачал головой Бескуров. — Собственно, мне там нечего делать. Я отправлюсь туда только по вызову. А вы обязательно идите, навестите семью. Вы так и не были дома ни разу?

— Была, — опустив глаза, ответила Клава. — Как вы советовали, помните: вечером туда, утром обратно.

— Ну, это зря, — искренне упрекнул он. — На этот

раз побудьте не меньше двух дней, понятно? Пока председатель здесь я, так что извольте слушаться.

— Спасибо, но... я бы хотела знать, чем кончится завтра собрание, — тихо проговорила Клава.

— Я потом вам расскажу. Вот так приду и всё расскажу, если вы позволите, — ласково и настойчиво сказал Бескуров. — Зачем вам терять время?

— Ну, хорошо, — после короткого раздумья согласилась Клава. — Только, пожалуйста, Антон Иванович, будьте благоразумны. Не горячитесь и не спорьте зря, вообще не лезьте на рожон. Ведь наши коммунисты знают правду, значит, всё уладится. Нужна только поддержка, понимаете?

— Да, да, я понимаю, — восторженно глядя на нее и не думая о том, что он говорит и что надо сказать, пробормотал Антон. — Я вам всё расскажу, как только вы вернетесь. Непременно...

Она никогда не видела его таким, и ей, как в первую минуту встречи, опять стало страшно. Она испуганно сказала:

— Ой, лампа совсем догорает! Наверно, совсем уж поздно. Куда это девались мои хозяйки? Вам надо домой, Антон Иванович...

— Верно! — спохватился он, но в его голосе явно слышалось огорчение. — Извините, Клавдия Васильевна. Спокойной ночи.

Он протянул ей руку.

— Подождите, я вас выведу, а то темно...

Взяв его за руку, Клава пошла вперед. Антон ощутил пальцами как часто-часто трепещет у нее на запястье теплая тоненькая жилка, и ему показалось, что он отчетливо слышит перестук Клавиного сердца. Антон легонько сжал пальцы, словно желая успокоить Клаву, и торопливо сбежал с крыльца...

\* \* \*

Клава вернулась в комнату и, не раздеваясь, лицом в подушку, бросилась на постель. «Да, да, — лихорадочно думала она, ужасаясь и не смея радоваться тому, что произошло, — да, он хороший, я ему верю, верю... И он, наверно, мне верит. Но как я могла допустить до этого? Почему я сразу не сказала ему о ре-

бенке? И если я скажу теперь, что он может подумать?..»

Ее жгла стыдом мысль, что Бескуров может подумать, будто она умолчала о ребенке нарочно. Она проклинала сейчас собственную робость, свое прошлое, всё, что помешало ей быть такой же откровенной, как он. Но с другой стороны, с какой стати она принялась бы рассказывать всё о себе? Быть может, это Бескурову совершенно не интересно. А она-то, дурочка, позволила себе надеяться. Столько лет сдерживаться, жить затворницей, всего и всех бояться — и вдруг так глупо, только потому, что хороший человек пришел и поделился с ней своими огорчениями, поддаться несбыточным мечтам! Пусть Клава ни в чем не виновата — все равно она не имела права так непростительно забыться. К чему это привело бы? К новому, еще более горькому разочарованию? Нет, нет, это было бы ужасно!

«Да, я сама во всем виновата, — в отчаянии думала Клава. — Если бы я сразу сказала ему про Женю, ничего этого не было бы. Он поговорил и ушел бы, только и всего. Он, конечно, думает, что я одна... Что ж, завтра я ему все объясню. Я должна это сделать. И тогда на душе опять будет спокойно. Спокойно... и пусто. Я уже к этому привыкла».

Однако Клава сама не верила тому, в чем пыталась убедить себя. Как она хотела быть счастливой!

## XII

Клава догнала его по дороге на Пеньки... Она не знала, велел ли ей Бескуров идти за ним, будет ли ее ждать и захочет ли вообще рассказывать о вчерашнем собрании, но терпеть неизвестности она больше не могла. Судя по тому, что сообщила ей Лена, а главное — по тому, как он вел себя на ферме, Клава не сомневалась, что всё кончилось хорошо, а значит, и тревожиться за него не было оснований. Но Клава теперь тревожилась за себя и решила не откладывать тяжелого объяснения, которое бы разом покончило со всеми ее мучительными раздумьями и иллюзорными надеждами. Правда, она не представляла себе, как начнет этот неприятный и, может быть, ненужный разговор,

однако что-то подсказывало ей, что повод обязательно найдется. А там будь что будет...

Клава хорошо изучила дорогу во вторую бригаду. Это была, собственно, не дорога, а пешеходная тропинка, которой пользовались, чтобы сократить путь из Погорелова в Пеньки. Настоящая дорога шла низом, через Согру, но Бескуров, конечно, отправился тропкой.

Клава торопливо перебежала лужайку, ту самую, где недавно работали на силосовании шефы, спустилась в овраг, поросший мелколистым, а дальше тропка тянулась по краю оврага, никуда не сворачивая, и Клава сразу увидела медленно шагавшего Бескурова. Вскоре он оглянулся, и сердце Клавы дрогнуло: значит он ждал ее.

— Я не знал, что вы вернулись и уже на ферме. Почему так рано? — спросил Бескуров, пожимая ее руки, которые она машинально протянула к нему.

— Я же обещала прийти утром, вот и пришла. Ну, что собрание? Кто выступал, чем всё кончилось? — нетерпеливо заговорила она, желая поскорее удостовериться, что ему ничто не грозит.

— А, собрание, — неохотно проговорил он. — Пойдемте, тут есть место, где можно присесть, а то везде сыро. Да, неприятная штука — осень...

Он сошел с тропки и спустился по склону оврага шагов на десять. Охваченная недобрим предчувствием, Клава шла следом. Он остановился возле продолговатого, похожего на перевернутое днище лодки, серого камня, пригретого вылупившимся из облаков солнцем. Клава тоже остановилась, но Бескуров опять взял ее за руки и попросил присесть на камень. Она села, не спуская глаз с его серьезного, помрачневшего лица.

— Я обещал вам всё рассказать, но рассказывать-то, собственно, нечего. Мне объявили строгий выговор. Незаконные действия, недостойное поведение в быту и так далее...

— Боже мой, — тихо сказала Клава.

— Я не имею права рассказывать, кто и как выступал, но поскольку это касается одного меня, вам я расскажу. Это просто любопытно с психологической точки зрения...

— Но это же всё неправда, Антон! — воскликнула

Клава, всё еще не веря, не желая верить тому, что он сказал.

— И тем не менее многое, в чем Лысов обвинил меня, выглядит вполне правдоподобно, — продолжал Бескуров, взглядом благодаря ее за то, что она в порыве возмущения и одновременно горячего сочувствия к нему впервые назвала его Антоном. — В этом всё дело, Клава... Лысов выступил со всем апломбом, на какой только способен. Я не думаю, что он заранее готовил речь, слишком уж она показалась мне заученной. Те факты, которые у него имелись, он, осветил, так сказать, в моральном плане. Почему я разрешил лесопункту косить колхозные участки? Да только потому, что хотел иметь на счету лишние гектары и пролезть в передовики. Это худший вид карьеризма, ни больше, ни меньше... Мой метод руководства основан, с одной стороны, на угрозах, а с другой — на пустых обещаниях и подкупе своих сторонников. В то же время инициативу других руководителей (как потом выяснилось, он имел в виду Звонкова) я всячески торможу и сковываю. И я же, дескать, упрашивал Лысова прикрыть все мои грехи авторитетом райкома. Жену я не везу сюда потому, что она якобы помешала бы моим шашикам с Татьяной Андреевной...

— С Татьяной Андреевной? — как эхо, отозвалась Клава.

— За эти слова он мне еще ответит, — скрипнул зубами Бескуров. — Да, так вот... В общем, он обвинил всю парторганизацию и особенно Сухорукова в политической близорукости и укрывательстве. В этом месте пафос Лысова достиг высшей точки, так что Иван Иванович и остальные коммунисты были просто сбиты с толку. Потом говорил я. Я даже не помню, что говорил, потому что был слишком взвинчен и в голову лезло черт знает что... Потом выступал Иван Иванович. Он хоть и растерялся вначале, но защищал меня довольно горячо, хотя и не совсем последовательно. Ну, безусловно, где ему сравниться с Лысовым? Егор Пестов прямо заявил, что всё это клевета, чьих-то грязных рук дело и на этом поставил точку. Зато Звонков и Ярыгин целиком поддержали Лысова. Особенно старался Звонков, прямо-таки ужом извивался, удивляясь, как это я, советский человек, член партии, мог дойти до жизни

такой... Давидонов обиделся, что я выдал этим ребятам сто рублей без его санкции, и тоже голосовал за выговор. Вот и всё.

Клава потерянно молчала. Бескуров устало присел рядом.

— Но кто же мог написать эту ужасную клевету? — спросила она, так как этот вопрос всё время занимал ее.

— Иван Иванович утверждает, что Звонков, больше никому. Почерк, говорит, не его, но это ничего не значит — под диктовку любой напишет. Тот же Саватеев или его дочка постарались, не иначе... Сказал бы он это до собрания, я бы ни за что не поверил, а теперь... — Бескуров покачал головой. — Впрочем, в душе я Звонкову и раньше не доверял, но чтобы он способен был на такую подлость — никак не предполагал.

— Всеякие бывают люди, Антон Иванович, — вздохнула Клава, вспомнив о Борисе и о своем намерении рассказать всё Бескурову. Однако теперь она совершенно не знала, как и подступиться к этому. Лучшее в другой раз, когда Бескуров немного успокоится и сам заговорит на близкую тему, например, о жене. Боже мой, сколько еще тяжелых минут предстоит ему пережить. Клава была просто в отчаянии, что ничем не может ему помочь.

Бескуров закурил и прежним спокойно-ласковым тоном, который Клава так хорошо запомнила с того памятного вечера, спросил:

— Ну, как там дома? Всё в порядке?

— Да, — чуть слышно проговорила она.

— Вам, наверно, покажется странным, что я даже на собрании думал о вас, Клава. Ведь вы-то не считаете меня пропащим, верно?

— Ни капельки, — от всего сердца сказала она.

— Ну, вот... это для меня много значит. — Бескуров, наклонившись, не решался взглянуть на нее, мял в пальцах недокуренную папиросу, потом бросил ее и то же самое стал проделывать с увядшим стебельком дикого клевера. — Да, очень много, и я хочу, чтобы вы это знали. Удивительные вещи случаются в жизни, но самое удивительное, когда происходят они с самим собой... Вот совсем недавно я был женат, считал, что люблю жену и буду всегда с нею счастлив. И вдруг всё

словно оборвалось... Нет, не вдруг, это началось с мелочей, с того первого разговора, когда я решил ехать в колхоз, потом эта нелепая вечеринка... И все-таки я еще на что-то надеялся. Наверно, это был просто страх оказаться в глупом положении, потому что рассудком я уже понимал, что ничего поправить нельзя. Чем же объяснить, что я полюбил ее, хотя откровенно говоря, еще тогда видел, что интересы у нее другие, чем у меня? Да нет, этого, по-моему, никто не объяснит, а тем более я. Это выше нашего разумения. Да и незачем объяснять, люди это могут лишь чувствовать. Как музыке... Я ее не понимаю, а просто чувствую иногда до слез... Я это говорю, Клава, потому, что вот так же не могу объяснить — отчего мне хорошо и легко с вами, словно я вас знаю давно, давно...

— Но ведь вы меня почти совсем не знаете, — с тоской проговорила Клава, готовая заплакать от нахлынувших на нее разноречивых чувств.

Бескуров поднял голову, убежденно сказал:

— Нет, я вас хорошо знаю, Клава. Главное в человеке — чуткость, а у вас ее много. Чуткий человек не может быть плохим. Разве этого мало?

— Я не знаю сама, какая я... наверное, плохая. Я ведь была замужем, Антон Иванович, и у меня есть ребенок.

Она закрыла лицо руками и замерла на камне, как под ударом.

Бескуров в изумлении поднял брови, но сейчас же, стараясь сохранить хладнокровие, спросил:

— Замужем? Вы не шутите, Клава? Как же это случилось?

Клава не отрывала ладоней от лица и молчала. Бескуров беспокойно огляделся вокруг, встал, затем снова присел и мягко отнял руки от ее лица.

— Зачем же плакать? — глухо произнес он. — Если вам тяжело, можете ни о чем не рассказывать. Но... я считаю, будет лучше, если вы хотя бы коротко расскажете, как это вышло.

— Да, я скажу, я должна рассказать... Я хотела это сделать тогда, вечером, но подумала, что это вам будет не интересно. А сейчас я хочу, чтобы вы всё, всё знали, так будет лучше, вы правы...

И она, сначала всхлипывая, глотая слова, а по-

том уже с сухими глазами, зло и беспощадно, словно наказывая себя за прошлое, рассказала Бескурову всю свою бесхитростную и короткую жизнь, в неудачах которой винила столько же Бориса, сколько и самое себя. Он слушал ее, не проронив ни слова, сосредоточенно и печально, как будто одновременно прислушивался и к тому, что происходило в его душе. Клаву и пугало, и радовало это, ибо она чувствовала, что сейчас он заново проверяет себя и, значит, как только она закончит свой рассказ, всё сразу решится. Наконец, она замолчала и опустила голову, боясь взглянуть на него.

Бескуров некоторое время тоже молчал, собираясь с мыслями.

— Да, судя по всему, этот Белимов — холодный и расчетливый эгоист, — медленно проговорил он. — Но ведь любовь иногда слепа, а ребенку нужен родной отец, ему-то нет дела до наших переживаний...

— Я знаю, Женя поймет, почему у него нет отца, — поспешно и горячо сказала Клава. — Не сейчас, позже...

— Он поймет, если будет счастлив, а если не будет? — в раздумье сказал Бескуров, обращаясь не столько к Клаве, сколько к себе. — Он не должен чувствовать одиночества, он должен быть любим, тогда...

— О, я люблю его больше жизни! — воскликнула Клава. — Я думаю, при отце я любила бы его меньше, может быть, как-то иначе.

— Да, конечно, — согласился Бескуров. — Так вы окончательно решили не сходиться с Белимовым, Клава?

— Нет, нет, ни за что! Да он и сам не захочет, я знаю.

— А если бы он захотел? Ради ребенка?

— Все равно. Даже ради ребенка я не могу пойти на это. У меня не осталось к нему ничего, никакого чувства, кроме презрения. Я его ненавижу за одно то, что сейчас мне приходится переживать из-за него. Это невыносимо! — Она опять закрыла лицо, едва сдерживая слезы.

Бескуров неловко положил руку на ее вздрагивавшие плечи. Она сразу притихла, даже дыхание притаила, ожидая, что он скажет.

— Клава, от того, что вы мне рассказали, вы не стали для меня другой. Ни капельки! — вспомнил он ее словечко и улыбнулся. — Естественно, всё это было для меня очень неожиданным, ведь я ни разу не задумывался о таких вещах. Очевидно, мне потребуется некоторое время, чтобы хорошенько всё обдумать. К тому же официально я еще связан узами брака. Боюсь что-либо вам советовать, но хотел бы, чтобы вы поскорее привезли сына и бабушку сюда. Наверно, мы подружиться бы с Женей, как ты думаешь, а?

— Я не знаю, Антон... Если бы ты захотел подружиться... — Клава грустно улыбнулась сквозь слезы, не решаясь продолжать.

— Конечно, я хочу с ним подружиться, — весело сказал он. — Как же иначе? Только он-то захочет ли, вот вопрос.

— Он доверчивый, ласковый мальчик, очень любит мужчин, гораздо больше, чем женщин, — серьезно сказала Клава; она хотела добавить: «Он тебе обязательно понравится, я уверена» — но вовремя спохватилась, что этого сейчас не надо говорить.

— Только не надо, чтобы Белимов с ним встречался, раз ты не собираешься с ним жить. Пойди к Егору Пестову, у него пустует половина дома, и он охотно ее уступит. А потом возьмешь машину и перевезешь вещи.

— Хорошо, — коротко кивнула она.

Он привлек Клаву к себе и, уверенный, что не оскорбит ее этим, крепко поцеловал в губы. У нее опять выступили на глазах слезы, но она улыбалась и не вытирала их. Бескуров вдруг нахмурился.

— Черт возьми, я совсем забыл о Лысове, — сказал он. — А если бюро райкома не только утвердит договор, но и сочтет невозможным мое пребывание здесь?

— Этого не может быть, Антон, — испуганно сказала Клава, беря его за руку.

— Я тоже думаю, что не может быть. Это было бы слишком обидно и несправедливо. Если меня не будет, значит, останется Звонков. Я слышал кое от кого, что он давно мечтает иметь свсбоду рук. А, теперь мне понятно. Иван Иванович прав: клязузу писал Звонков или кто-то другой по его наущению. Ну, как же, бывший директор десятка разных контор, когда-то сослу-

живец Лысова, удачливый хозяйственник — и вдруг оказался каким-то заместителем! Разве для этого он приехал сюда? Как бы не так! Но как ловко он маскировался! Ладно, теперь я за него возьмусь. Я знаю, он готов вбухать все средства на строительство, остальное его не интересует, но разве с этого надо начинать? Конечно, строить мы будем, но сперва надо создать базу, поднять животноводство и льноводство, а без конца занимать деньги у государства, чтобы только строить — это и дурак может. Да и не строительство Звонкову нужно, а возможность комбинировать и наживаться на этом строительстве. Об этом мне тоже говорили, пора разобраться в его махинациях. Бюро состоится в конце недели, время еще есть. Я не уйду отсюда, пока не развяжу этот грязный клубок...

— Антон, что ты говоришь? Как ты можешь уйти? — с дрожью в голосе сказала Клава.

— Да нет, я не собираюсь уходить, — успокоил ее Бескуров. — Действительно, это было бы малодушием. Я чувствую, что правда на моей стороне, и я постараюсь доказать это. А пока всё должно идти своим чередом. Сегодня я соберу правление и добьюсь снятия этого удельного князька Прохорова. Спросим отчет и со Звонкова. Ну и, конечно, решим вопрос о выделении средств на премирование доярок.

— А разве это не решено? — удивилась Клава. — Ты же пообещал девчатам по платью.

— Обещал и сдержу свое слово. Не булавки же мы им будем дарить, — рассмеялся Бескуров. — Деньги найдем, а за покупками тебя пошлем, выберешь платья на свой вкус. Думаю, доярки в обиде не останутся.

— Еще бы! Они очень рады, что ты принес им такую новость.

— Да я бы не пошел, если бы знал, что ты там. Нет, вру, — снова обнял он ее, — прибежал бы еще раньше. Знаешь, мне теперь всегда будет тебя не хватать.

— И мне тоже, — призналась Клава, не опуская перед ним сияющих преданных глаз.

Они посидели еще недолго. Клаве пора было идти обратно. Он помог ей выбраться по склону на тропинку. Она торопливо побежала, часто оглядываясь и махая ему рукой. Бескуров посмотрел ей вслед и в деся-

тый раз спрашивал себя: «Смогу ли я искренне, всей душой полюбить ее сына, как люблю ее?..»

### ХIII

Дня через три к Бескурову приехал сосед — председатель колхоза «Нива» — Василий Фомич Лобанцев. До этого они встречались всего несколько раз, да и то накрестке, мельком, хотя ревниво следили за делами друг друга. Лобанцев был «старый», уже опытный председатель, умный и добродушный толстяк, любивший острое словцо и шутку. В свое время ему пришлось немало попортить крови из-за разногласий с бывшими председателями (а их скопилось в «Ниве» целых пять человек), пока он не заставил их признать свою, как он говорил, «линию к коммунизму». Это была, по сути, линия рачительного и дальновидного хозяйствования, а не выжидания всяческих благ и помощи свыше, которой придерживались прежние руководители артели. «Нива» уверенно становилась на ноги, и Бескуров невольно в некоторых вопросах равнялся на нее, как на своего ближайшего соседа.

Антон искренне обрадовался Лобанцеву, когда тот, неуклюже слезши с седла и привязав лошадь к перильцам, шумно ввалился в контору. Все эти дни он находился в таком нервном напряжении, что встреча с человеком, с которым он мог отвести душу, отвлечься хоть не надолго от одолевавших его мыслей, была просто необходима. Конечно, с Клавой Бескуров делился всем, но то было совсем другое.

Лобанцев, хорошо помнивший старую контору, остановился у порога и изумленно чмокнул языком.

— Вот это хоромы! Ну и ну! Сразу видать — богато живете, недаром у соседей перестали бывать. Нет уж, я лучше дальше поеду, вон у меня сапоги какие грязные. Ведь думал в луже сполоснуть, да с лошади не захотелось слезать...

— Проходи, проходи, Василий Фомич, потом посмеешься, — несколько смутившись, сказал Бескуров.

— Да уж пройду, на зло пол испачкаю, чтоб не так мне завидно было, — добродушно прогудел Лобанцев, протягивая Бескурову руку. — Здорово, Антон

Иванович, давненько мы не виделись. Пойдем-ка к тебе в кабинет, потолкуем о житье-бытье.

В кабинете Василий Фомич снял с бритой головы потертую, из черного хрома, фуражку, распахнул на обе стороны телогрейку, обнаружив преждевременно округлившийся живот, попросил:

— Махорочка есть? Ах, да, ты же папиросы предпочитаешь. Ну, давай папиросу, коли так. Забыл, понимаешь, кисет дома.

— Каким же ветром тебя к нам занесло? — улыбнулся Бескуров.

— Да вот, дай, думаю, съезжу, посмотрю, как у соседа самсчувствие. Лысов-то, говорят, здорово тебя пощипал, а?

— Было такое дело, — охотно ответил Бескуров, присаживаясь на край стола.

— Он, брат, и мне страху нагнал, а ты как думал? Нас ежели только по головке гладить, так мы, пожалуй, плесенью обрастем и мурлыкать с теплой печки научимся. Нет, шевелить нашего брата почаще надо, а то ведь иной председатель сидит себе в конторе и далее своего носа ничего не видит.

— А Лысов, по-твоему, видит?

— Э, вон ты куда! — лукаво прищурился Василий Фомич, грозя Бескурову обкуренным пальцем. — Конечно, Лысов-то видит, только точка зрения у него, как бы тебе сказать... однопупая, что ли. Ну, вот, когда человек дальше носа видит, а уж дальше своего пупа — ни-ни. Я его давно знаю, Лысова-то, еще до райкома, вроде ничего был парень, а теперь разных слов нахватался — не подступишься. Приезжает он позавчера прямехонько от тебя ко мне и давай читать: это надо сделать, то решить, десятое завершить и закончить... Ну, я воробей стреляный — слушаю и молчу, пока он выговорится. Потом этак бодро отвечаю: «Всё будет выполнено, Федор Семенович, в лучшем виде, не извольте беспокоиться...».

— Ну и как — выполняешь? — смеясь, спросил Бескуров.

— А как же! — невозмутимо сказал Василий Фомич. — Всё, что у меня было намечено, я обязательно выполняю, такое уж у меня правило. Ну, а что от лукавого — то подождет... Ты вот недавно в колхозе, а, не-

бось, лучше Лысова свое хозяйство знаешь, так? Ну, и я тоже не без головы, понимаю, когда мне сеять, когда жать или молотить. Уж если ты мне помочь хочешь или на путь истинный наставить, так по-настоящему разберись, в чем я ошибся, что мне надо сделать, какие силы привести в действие, чтобы, значит, всё было в порядке. А сил у нас теперь много, есть на кого опереться. Ну, ясное дело, ежели я добрых советов из амбиции не хочу принимать и продолжаю гнуть свою неправильную линию, тогда, понятно, надо меня убрать, чтоб другим поперек дороги не стоял. Так я понимаю всю эту политику...

— Я согласен с тобой, Василий Фомич, — взволнованно сказал Бескуров, расхаживая по кабинету. — Но вот Лысов обвинил меня в карьеризме, в подрыве артельной экономики и прочих грехах, даже не потрудившись здраво разобраться, что побудило меня поступить так, а не иначе. А ведь я действовал из чистых побуждений, даю тебе честное слово коммуниста.

Лобанцев резко двинулся всем туловищем, словно хотел поудобнее усесться на стуле, полез было за кисетом, но, вспомнив, отдернул руку, как от горячего.

— Ты мне не клянись, я-то тебе верю, понятно? Мне Сухоруков всё рассказал, а его я как облупленно-го знаю, этот не совет...

— Когда же он успел? — крайне удивленный, спросил Бескуров.

— Так, случайно встретились... Ты тут еще новый человек, а я местный уроженец, каждого человека не только в лицо, а и в спину узнаю. Ну и, конечно, дела в «Восходе» мне тоже отлично известны. Давненько сюда настоящий хозяин требовался, и ты правильно начал тут порядок наводить, прямо скажу. Петьку Саватеева еще не выгнал из колхоза?.. Зря, таких надо гнать, чтоб другим не повадно было. А Звонков?.. — Лобанцев крикнул, почесал всей пятерней коричнево-морщинистую кожу на виске и сердито продолжал: — Он тебе дом воздвигнуть собирается — знаешь, за чей счет?

— За счет колхоза. Это мы уже выяснили.

— А что он тесом торгует — выяснили? Счета фиктивные в бухгалтерию подсовывает, автомашину ис-

пользует направо и налево — об этом тебе тоже известно?

— Кое-что стало известно, но, видимо, далеко не всё.

— Вот именно! — резко выбросил руку вперед Лобанцев. — Этот шофер ваш, одноглазый-то, вчера в Березняках, где сельпо, кутил с нашими ребятами, всех угощал, ну, и расхвастался. Мы, дескать, с Платоном жили и жить будем, а кто нас продаст — тот трех дней не проживет. Скоро, мол, Платон председателем станет, тогда я «Победой» закручивать буду, сам Звонков обещал... Понял теперь? Я тебе вот что посоветую: собери завтра ревизионную комиссию, вызови этого шофера и заставь его рассказать всё как есть. Жулики, они народ хлипкий на расплату, а одноглазый-то и по-давно струсит, если ему про вчерашнюю пьяную похвальбу напомнить.

— Я так и сделаю, — кивнул Бескуров. — Собственно, ревизионная комиссия уже работает, мы обсуждали этот вопрос на правлении. Звонков, конечно, всё отрицает и расценивает это как месть с моей стороны.

— Тем более нужны факты, — подчеркнуто сказал Лобанцев. — Пусть шофер сообщит о некоторых сделках и назовет фамилии, а дальше уж ревизия сама доберется до корня.

— Я сам поговорю с ним, — с силой придавливая окурки в пепельнице, коротко ответил Бескуров.

Василий Фомич, с шумом выдохнув из широкой груди воздух, навалился на спину стула и прежним добродушно-ироническим тоном заговорил:

— Да, дела... Не сладкая она, председательская жизнь, верно? А ты, небось, когда ехал сюда, думал: раз-два и в дамки. Признайся, были такие думки?

— Нет, когда ехал, таких мыслей не было, а вот раньше были. Казалось, как же это так: директива есть, указания тоже, всё расписано и разжевано, а отстающие колхозы еще не вывелись. Чем там председатели думают? Уж, кажется, теперь у них всё есть — и права, и огромная помощь государства, и современная техника. Ну, а теперь я понял: есть-то оно есть, да надо с умом всем этим воспользоваться. А это ох как не просто.

— В том-то и суть, браток, — тряхнул бритой голо-

вой Василий Фомич. — Иной туда-сюда мечется, сна ему нет, на вид будто уж деловитее председателя не бывало, а глянет кругом — прорех полно. Знавал я одного такого. И заботливый, и дело любил, и честный на все сто, а чего-то ему не хватало. А все потому, что за всякую мелочь хватался сам, вперед заглядывать не умел. Да и то сказать, Антон Иванович, хоть и простым кажется наше крестьянское дело, а фактически оно очень даже сложное. Завод, к примеру, под крышей находится, гудок у него есть, машины на ходу, продукция известная — следы, чтоб всё в норме шло, а ежели заминка случилась — сейчас же тебе звонок и тут уж не зевай...

— Всё это, конечно, тоже не просто, Василий Фомич, — возразил Бескуров. — Даже куда сложнее, чем у нас. Недаром там трудятся люди с высшим образованием и высококвалифицированные рабочие.

— Неплохо бы и нам с тобой иметь высшее образование, да так оно и будет в скором времени, — уверенно сказал Лобанцев. — Я не говорю, что на заводе легко, да уж больно много разных каверз в нашем-то деле, прямо беда. Скажем, ты планируешь пшеницу к такому-то числу посеять, а тут тебе — бац! — ливень на три дня. Или трактор поломался... А то придешь в контору, и тут тебе сразу сто вопросов надо решить — со льном, с хлебом, с авансами, с кредиторами да с дебиторами, а иногда и с коровой, у которой роды неправильные. Но и это еще не беда, а вот беда, когда твои указания не выполняются... Ведь как у нас иногда бывает? Приезжает, допустим, Комаров и спрашивает у председателя: почему, дескать, то-то и то-то до сих пор не сделано? А он этак спокойненько отвечает: так, мол, и так, указания мною давались, решение правления было, да вот бригадиры у нас, знаете, такие... опять подвели... Ох, и дает Василий Васильевич жару за подобные «указания». Не дай и не приведи...

Василий Фомич, словно вспомнив, как ему в свое время давали «жару», прикрыл глаза мохнатыми, тронутыми сединой бровями и восхищенно хлопнул ладонями по коленям.

— Да, люди — это основное, — сказал Бескуров, мысленно прикидывая, на кого он сейчас может твердо положиться. — Конечно, я еще не могу утверждать,

что все мои указания выполняются точно и в срок, но, так или иначе, с разболтанностью мы скоро покончим.

— Так, так, — кивнул Василий Фомич, — это уже неплохо. А дальше?

Бескуров в недоумении посмотрел на улыбающееся лицо Лобанцева, на котором был выражен тот же вопрос: «Что же дальше?», пожал плечами, пытаясь угадать, что имеет в виду его хитрый и многоопытный собеседник.

— Что же, так всю жизнь и будут твои бригадиры и специалисты работать только по председательским указаниям? Заранее скажу — толку не будет, — строго проговорил Лобанцев и потянулся за фуражкой.

Бескуров просиял.

— Василий Фомич, я понял. Ну, как я сразу не догадался, я же думал об этом, целые ночи думал. Да, ты прав, тысячу раз прав. Конечно же, успех придет тогда, когда люди будут знать свое дело и трудиться без дополнительных указаний и напоминаний. Самостоятельности, инициативы — вот чего еще не хватает многим. Но это придет, обязательно придет, к этому я и стремлюсь, Василий Фомич.

— Да я и так вижу, что стремишься, только мне хотелось дать один совет. Дело это кропотливое и тонкое, так что хорошенько изучай людей, будь терпелив и настойчив. Ну, вот, кажется и всё. Да, чуть не забыл. В райком я тоже с тобой поеду, мне Комарова вот так надо повидать. — Он выразительно провел ладонью по шее и подмигнул Бескурову. — Дельце одно есть, очень уж щекотливое... Ну, всего доброго.

— До свиданья, Василий Фомич, — с чувством сказал Бескуров и крепко пожал его большую, сильную, с шероховатой кожей, руку.

#### XIV

Комаров вернулся из обкома почти в хорошем настроении. Правда, это хорошее настроение пришло не сразу. На бюро, когда обсуждался его отчет, он чувствовал себя настолько скверно, что иногда не понимал, о чем, собственно, идет речь. Но, оказывается, его память, помимо воли, в силу особого рефлекса, приобретенного за годы беспокойной партийной работы, проч-

но удержала все замечания и советы выступавших из бюро товарищей, и как только Василий Васильевич очутился в гостинице, он с полной ясностью представил всю картину обсуждения. В первую минуту ему показалось, что положение с подбором и воспитанием колхозных кадров в районе крайне безотрадное и что теперь это дело, по существу, придется начинать сначала. Однако дальнейшие размышления и трезвое сопоставление фактов постепенно заставили его отказаться от первоначального поспешного вывода. Тут, кстати, Комаров припомнил, что и бюро обкома такого вывода тоже не сделало. Зато оно помогло Комарову взглянуть на работу райкома как бы со стороны, глубже понять причины недостатков, подсказало пути их устранения.

Как это бывало и раньше, поездка в обком явилась хорошей зарядкой, и Василий Васильевич вернулся домой внутренне возбужденный, полный энергии и уверенности, хотя внешне это было почти незаметно. Он, как всегда, выглядел строгим, серьезным и пунктуальным даже в мелочах, и только те, кто знал его близко, могли заметить повышенный интерес первого секретаря к людям, словно он искал среди них какого-то позабытого, но крайне нужного человека. Иногда он расспрашивал о работнике, о котором в райкоме ничего не знали. В таких случаях Комаров говорил: «Надо узнать, познакомиться с ним. Любопытно, что он за человек. Может, у него имеются такие таланты, о которых мы и не подозреваем».

Естественно, что сразу по приезде Комаров вспомнил о Бескурове и, вызвав Лысова, попросил информировать, как обстоит дело. Они беседовали полчаса, причем говорил почти один Федор Семенович. Для Комарова это был серьезный удар, тем более неожиданный, что он до последней минуты верил, что обвинения против Бескурова сильно преувеличены и искажены. Ему даже не пришлось уточнять детали — настолько подробно и всесторонне обрисовал Лысов весь неприглядный облик председателя «Восхода». Не был забыт и тот факт, что Бескуров, по-видимому, порвал с женой, она будто бы наотрез отказалась переехать в колхоз. В то же время сам он уже давно не бывал дома...

Выслушав, Комаров коротко сказал:

— Хорошо, разберемся на бюро. Вы передали в орготдел материалы?

— Да, конечно, Василий Васильевич.

А в пятницу, накануне бюро, в райком приехал Василий Фомич Лобанцев. Он долго, кряхтя и отплевываясь, счищал у входа грязь с сапог, потом с шумом поднялся по лестнице, радушно, как со старой знакомой, поздоровался с дежурной и громко спросил:

— Василий Васильевич у себя?

— У себя, но он сейчас занят, придется подождать.

— Ага, подожду, мне не к спеху. — И он, раздевшись, прочно уселся на стуле возле столика дежурной, на котором стояла огромная пепельница для посетителей.

Вскоре от Комарова вышли двое — судя по одежде — речники. Они оживленно разговаривали, стоя у вешалки. Василий Фомич ткнул в пепельницу недокурную цыгарку и грузно поднялся со стула.

Он пробыл у первого секретаря полтора часа, так что Комарову самому пришлось дважды выходить в коридор и извиняться перед ожидавшими посетителями. Дежурная, знавшая пунктуальность секретаря в этих делах, удивленно качала головой. Она еще больше удивилась, когда Комаров, провожая Лобанцева до самой вешалки и пожимая ему руку, сурово сказал:

— Итак, до завтра. Твое присутствие необходимо.

\* \* \*

Заседание бюро началось ровно в двенадцать. Бескуров познакомился с повесткой дня и узнал, что разбор персональных дел начнется не раньше четырех часов. Он бы не поехал так рано, но Иван Иванович, которому надо было кое-что купить, упросил его. Они пошли по магазинам.

Если бы речь шла о покупках для себя, Иван Иванович покончил бы с ними в два счета, но угодить же не оказалось не так-то просто. Названия разных предметов детской одежды, их размеры и цены перепутались в голове Ивана Ивановича сразу же, как только он переступил порог дома, а в городе и вовсе выветрились из памяти. Однако Иван Иванович не растерялся и нашел единственно правильный выход: он брал для

детишек всё, что лежало на прилавках, а пригодность обновок определял на-глазок.

— Как, по-твоему, налезут эти штанишки на Витьку, а? — спрашивал он совета у Бескурова, но тот обычно пожимал плечами или коротко говорил:

— По-моему, нет.

— Ну, тогда Васе как раз будут. Беру.

Когда в кармане остался один червонец, Иван Иванович спохватился:

— Мать честная! Чуть без рубля не остался, а ведь нам пообедать надо, с голодухи-то этот узел, чего доброго, до дому не дотяну.

Узел образовался порядочный. Иван Иванович с опаской оглядел его и безнадежно проговорил:

— Винегрет да и только. Если что не по нраву будет бабе — конфликта не миновать. Ну, а ежели бы я помнил эти размеры, думаешь, убоготворил бы ее? Черта с два! Это уж у нее порядок такой: как приезжаю из города — обязательно ей шум надо поднять, иначе она и спать не ляжет. Как-то раз велит мне купить железную ванну — младшего купать. Ох и не возрадовался я! Эта ванна, оказывается, во какая, как бы я ее с одной рукой потащил столько верст? Посмотрел я ее в хозмаге, пощупал и решил: чем мне с этакой огромной посудиною возиться, возьму-ка я корыто, его хоть под мышкой можно унести. Моя мать сроду в корыте детишек купала, а ей, чертовке, ванна понадобилась. Я и корыто-то едва донес, в пяти местах помял, потому что не один был и с ребятами пришлось маленько выпить. Ну и катавасия тогда дома разгорелась — хоть святых выноси. Потом она корыто под стирку приспособила, деревянное-то выбросила, а ванну-таки пришлось купить, только тогда я уж с лошастью был, довез благополучно. Вот какие дела случаются, а ты ходишь вот за мной и нос повесил. Что же, по-твоему, на бюро нас так расказнят, что и костей не соберешь?.. Ну, чего ты молчишь, как немой? Я, если хочешь знать, теперь рад, что нас на бюро вызвали, по крайней мере, ясность будет.

— Я тоже так думаю, — сказал Бескуров. — А молчу потому, что мы уж, кажется, обо всем раньше переговорили. Да и отвлекать тебя от важного поручения не хотелось.

— Подумаешь, поручение... Если бы я трактор или автомашину для колхоза покупал, а то тряпки разные. Ну, вот она столовая, чуешь, как борщом пахнет? По тарелке наверх и в райком.

Они действительно оказались возле столовой, что очень удивило Бескурова. Он вовсе не хотел идти сюда, где мог встретиться не только с Зоей, но и с бывшими сослуживцами. Видеть их и, быть может, отвечать на их праздные вопросы было свыше его сил. К тому же Иван Иванович, которого Бескуров по дороге в город посвятил в свои семейные неурядицы, мог снова завести разговор о примирении, бесполезный вообще и тем более ненужный сейчас. Уж не с этой ли целью он и стремился в столовую, таща за собой его, Бескурова? По доброте своей Иван Иванович не считал дело неправильным и искренне хотел помочь товарищу. По-видимому, в душе он верил, что Зоя не такой уж плохой человек, как о том наговорили Бескурову. Его бесхитрый ум не уловил всей горечи и глубины разочарования в словах Бескурова, когда тот рассказывал о крушении своих заветных надежд. Впрочем, Антон и не вдавался в подробности, а хотел лишь поставить Ивана Ивановича в известность, почему он не может привезти жену в колхоз.

— Нет, победать мы определенно не успеем, уже четвертый час, — сказал Бескуров, решительно останавливаясь. — Да и есть не хочется, ей-богу. Давай уж лучше после бюро.

— А? После бюро? — переспросил Сухоруков и пристально посмотрел на Бескурова. — Ну, что ж, после так после, можно и потерпеть. Я-то привычный, а ты как хочешь. Но уж потом одной тарелкой не отделаешься, имей в виду.

— Согласен на любое меню, — пообещал Бескуров.

Они вернулись в райком. В прихожей толпилось человек шесть. Одни одевались, другие приходили и, раздевшись, садились рядом с теми, кто ждал вызова на бюро. Иван Иванович заметил, что все почти беспрерывно курили и переговаривались друг с другом почему-то вполголоса.

Внезапно из кабинета первого секретаря вышел Василий Фомич Лобанцев и еще издали приветствовал Бескурова и Ивана Ивановича широкой улыбкой. Бес-

куров был приятно удивлен: он думал, что Лобанцев не приехал, позабыв о своем обещании.

— Здорово, земляки. Я тут два раза выбегал, смотрю — нету и нету. Куда, думаю, девались? Тебе, Иван Иванович, как секретарю, полагалось с самого начала присутствовать на бюро, а ты где-то бегаешь. Нехорошо.

— Да, видишь ли, дела были срочные, — смущенно оправдывался Сухоруков, косясь на свой узел, положенный вместе с кепкой на полку. — Небось, без меня обошлись.

— Понятно, дожидаться не стали, — рассмеялся Василий Фомич. — Ну, как самочувствие?

— Нормально, — бодро ответил Сухоруков.

— Главное, не тушуйтесь, люди там сидят грамотные, им самая суть дела требуется, а не словеса да обиды разные.

Бескуров кивнул. Они потолковали о предстоящем завтра совещании первой группы животноводов, затем Лобанцев сообщил, что через неделю намечено созвать пленум райкома, а в ноябре — районную партконференцию. Комаров, по его словам, приехал из обкома довольно «сердитый», но в общем-то критиковали его правильно и теперь многое стало «яснее». Что именно стало яснее, Василий Фомич не успел рассказать, так как в это время их позвали на заседание бюро.

Просторный кабинет первого секретаря на сей раз показался Бескурову тесноватым. Почти все стулья были заняты, так что Лобанцеву, Ивану Ивановичу и Бескурову пришлось сесть порознь, где нашлось свободное место. Впрочем, Бескурова сейчас же пригласили подвинуться поближе к столу, за которым сидели члены бюро. Председательствовал Комаров. Вдоль длинного стола разместились в разных позах румяный, оживленный председатель райисполкома Атаманов, хмурый, с решительным выражением на лице Лысов, секретарь райкома по идеологической работе Братцев, заведующий орготделом Ступаков и другие. Со всеми этими людьми, в разное время и по разным поводам, Бескурову приходилось разговаривать и решать те или иные вопросы, но сейчас они казались ему совершенно незнакомыми и какими-то далекими, словно невидимая преграда отделяла его от них. Это острое ощу-

щение отчужденности продолжалось недолго. Вскоре Бескуров полностью овладел собой.

— Пожалуйста, товарищ Ступаков, — сказал Комаров, приглашая заведующего орготделом познакомиться присутствующих с решением колхозной парторганизации.

Ступаков, худощавый, чуть сутулый, с приподнятыми угловатыми плечами, встал, раскрыл папку и глуховатым, но напористым баском заговорил:

— Персональное дело коммуниста Бескурова, председателя колхоза «Восход», возникло, собственно, из анонимной жалобы, поступившей в райком. Поскольку жалоба расследовалась секретарем райкома товарищем Лысовым и затем обсуждалась на партийном собрании, я считаю, нет необходимости зачитывать ее здесь. Вот постановление коммунистов колхоза по поводу действий товарища Бескурова, принятое ими на своем собрании...

И заворг в полной тишине зачитал постановление. Атаманов тотчас спросил:

— А в чем конкретно выразились его незаконные действия?

Ступаков рассказал то, что ему было известно из жалобы и из сообщения Лысова. Неугомонный Атаманов, оглянувшись на первого секретаря, снова спросил:

— Какое мнение орготдела? Утверждать или не утверждать Бескурову строгий выговор?

— Пока нет, — внезапно улыбнулся Ступаков. — Давайте сначала выслушаем мнение другой стороны.

Комаров бегло просматривал какие-то бумаги и ни разу не взглянул на Бескурова. Сейчас он поднял голову и коротко сказал:

— Давайте, товарищ Бескуров.

Бескуров, чувствуя на себе настороженно-любопытные взгляды, медленно поднялся, переставил стул вперед, оперся о его спинку руками. Где-то за спиной беспокойно покашливал Иван Иванович. Лобанцев, широко расставив ноги и положив на колени большие темные ладони, приготовился слушать. На полных губах Лысова то появлялась, то исчезала ироническая усмешка. Атаманов, повернувшись всем корпусом к Бескурову, ободряюще кивнул и сейчас же потянулся за стаканом с водой, словно выступать предстояло не

Бескурову, а ему самому. Комаров, собиравшийся закурить, отложил папиросу и посмотрел на лежавшие перед ним часы, как бы напоминая Бескурову, чтоб он говорил покороче.

— Как вы знаете, товарищи, я молодой председатель, солидным опытом еще не успел обзавестись. Возможно, я работал не в полную силу, в чем-то ошибался. Но я искал... — Бескуров остановился, почувствовав, что такое начало завело бы его слишком далеко; недовольный собой, он незаметно для себя повысил голос. — Когда товарищ Лысов разбирает жалобу, ему следовало бы спросить у честных колхозников, что думают они о тех незаконных действиях, которые я совершил...

— Я разговаривал с коммунистами — этого вам мало? — удивленно сказал Лысов. — Ну, знаете, подобного сомнения я еще не встречал.

— Вы приехали в колхоз с готовым решением, вот в чем дело, — в упор бросил Бескуров. — Честные коммунисты говорили вам, что вся эта жалоба состряпана нечистыми руками, но вы их не хотели слушать. Я готов понести любое наказание, если меня и колхозников убедят, что сено, которое мы получили с заброшенных и годами неиспользуемых участков, принесет не пользу, а вред колхозу и государству. Возможно, формально я эти участки не имел права отдавать, но по совести и здравому смыслу обязан был это сделать. В будущем году нам уже не придется обращаться за помощью к лесопункту, сделаем всё своими руками. Теперь насчет угроз и превышения власти... Жаль, что товарищ Лысов не захватил с собой медицинскую справку так называемого «инвалида» Саватеева. Очень легко было бы доказать, что она фальшивая. Но даже и этому злостному «шабашнику» я не угрожал, а просто действовал в рамках нового Устава сельхозартели. Беда наша в том, что мы еще сами плохо выполняем Устав, а этим пользуются лодыри и прочие люди, ищущие легкой жизни. К сожалению, во всех этих сложных вопросах товарищ Лысов разобраться и помочь нам не захотел, он подошел к делу формально и, должен сказать, оскорбительно...

— То есть, как это оскорбительно? Поясните, — попросил Комаров.

— В личной беседе и затем на собрании он отозвался обо мне как о бесчестном карьеристе и демагоге. Он даже заявил, что я будто бы в близких отношениях со своей квартирной хозяйкой и поэтому не хочу везти в деревню жену.

— Возмутительно! — хлопнул ладонью по столу Атаманов.

Лысов лишь холодно взглянул на него и промолчал.

— Так, — хмуро сказал Комаров. — А всё же почему вы до сих пор не перевезли семью в колхоз?

— Потому, что жена категорически отказалась переезжать.

— Странно, — пробормотал Атаманов. — Чем же это вызвано? Разлюбила она тебя, что ли?

— Вернее сказать, она и не любила меня, — тихо, но твердо ответил Бескуров.

— Странно, странно, — покачал головой Дмитрий Егорович. — Такие вещи, конечно, бывают в жизни, но всё же... Так-таки и отказалась наотрез? — снова спросил он, всё еще не веря.

— Да.

— Понимаете, Василий Васильевич, в таких случаях даже и посоветовать не знаешь что, — как бы извиняясь и в то же время давая понять, что этот деликатный вопрос не стоит сейчас обсуждать, сказал Атаманов.

— Сам разберется, не маленький, — скупой улыбнулся Комаров. — У вас всё, товарищ Бескуров?

— Как будто всё, — облегченно сказал Бескуров и хотел уже сесть, но тут ему задали вопрос:

— А как насчет коллективной выпивки?

— Какая же это выпивка, да еще коллективная? — смущенно произнес он. — Просто выпили, чтобы согреться и поговорить с ребятами по душам. Возможно, не надо было этого делать, но тогда мне в голову не пришло, что меня могут обвинить в совращении молодежи. Таких ребят рюмкой не совратишь. Чудесный народ, ей-богу.

Даже Комаров не смог удержать улыбки. В кабинете зашушукались. Один Лысов сидел неподвижно, саркастически скривив губы.

— Вопросов больше нет? Кто желает говорить?

— Разрешите, Василий Васильевич, — приподнял руку, громко, четко, требовательно произнес Лысов. Он отодвинул подальше стул, выпрямился во весь свой рост, помолчал секунду, словно собираясь с мыслями, и веско заговорил, обращаясь в основном к одному Комарову. — Как выглядит, товарищи члены бюро, поведение молодого, недавно рекомендованного райкомом на ответственный пост товарища Бескурова в свете тех требований, которые предъявляет сейчас наша партия к колхозным кадрам? Весьма и весьма незавидно. Эго, по-моему, ясно всем присутствующим, за исключением самого Бескурова. И это очень печально, товарищи. Бескуров пытался уверить нас, будто всё, за что его резко и справедливо осудили колхозные коммунисты, это пустяки, о которых даже и говорить не стоит. Дескать, всё, что он творил единолично и самовольно, шло только на пользу колхозу. Посмотрим, так ли это на самом деле. — Тут Лысов сделал короткую паузу, приготавливая слушателей к дальнейшему. — К великому сожалению, далеко не так. И утверждаю это не я, а факты, многие свидетели этих фактов. Возьмем сенокосные участки, яксы брошенные и неиспользуемые. По чьей вине неиспользуемые? По вине тех же бесхозяйственных руководителей колхоза. Бескуров, конечно, знал, что в этом году с него потребуют отчета за каждый невыкошенный клочок сенокоса. В частности, я лично предупреждал его об этом. И какой же он нашел выход? Самый легкий, хотя и незаконный. Он отдал восемьдесят гектаров лесных сенокосов предприятию, которое...

— Шестьдесят процентов сена пошло колхозу, — глухо перебил с места Иван Иванович.

— Это не имеет значения, — даже не повернув головы, продолжал Лысов. — Бескуров думал: и взятки с него гладки, и гектары в сводке прибавились. Понятно, он рассчитывал скрыть эту сделку, но шила в мешке не утаишь. Мне не ясно, Василий Васильевич, почему наш прокурор до сих пор не заинтересовался этим делом...

— Он интересовался, — сухо ответил Комаров. — Продолжайте.

Лысов, вопросительно глянув на Комарова, пожал плечами и продолжал:

— Бескуров не так прост, как хочет здесь показаться, товарищи. Он действительно угрожал многим колхозникам, которые по разным причинам плохо работали в колхозе. В том числе и инвалиду войны Саватееву. Не знаю, фальшивая или нет у него справка, дело не в бумажке, а в том, что человек сейчас в постели и передвигается с костылями. А вот на воспитательную работу среди масс Бескуров смотрит с недоверием. Это ли, товарищи, не забвение уставных обязанностей нашей партии? Он ни разу не выступил перед колхозниками с докладом или лекцией. Зато молодежи, как мы уже слышали, он показывает «достойный» пример, пьянствуя с нею. Он не доверяет членам правления, например, своему заместителю товарищу Звонкову, из чувства зависти сдерживает его инициативу. Далее, Бескуров собирается снять с работы опытного, с двадцатилетним стажем, бригадира Прохорова...

— Мы уже сняли его, — снова вставил Иван Иванович, сидевший как на иголках.

— Вот видите... Так воспитывает товарищ Бескуров свои кадры. Я должен сказать, товарищи, хотя это и не нравится Бескурову, что он не вполне чистоплотен и в быту. Не знаю, любит ли его жена, зато известно, что он и не пытался воздействовать на нее, как коммунист. Разговоры о квартирной хозяйке не я выдумал, об этом говорят многие в колхозе.

— Это неправда. Об этом болтает один Звонков, — в бессильной ярости сказал Бескуров.

— Спокойно, товарищ Бескуров, — предупредил Комаров, не замечая, что у него у самого желваки нервно двигаются под кожей, а карандаш, зажатый в руке, давно уже выбивает по столу частую дробь.

— Я кончаю, товарищи. Хочу лишь добавить последний штрих, который один лучше характеризует Бескурова, чем все остальные факты. В личной беседе со мной он не постеснялся заявить и даже потребовать, чтобы райком не только не наказывал, но и взял бы его под свою защиту. Дальше, как говорится, ехать некуда. У меня всё.

Лысов не спеша сел. С минуту длилось неловкое молчание.

— Уф! Ну и картина, — вздохнул Атаманов, бес-

цельно передвигая бумаги перед собой. — Боюсь, перехватил ты, Федор Семенович.

— При чем тут я? Мы обсуждаем решение собрания первичной парторганизации.

— А ты и там в таком же духе выступал? Или еще похуже? — уже не скрывая неприязни, спросил Дмитрий Егорович.

— Если тебя это интересует, почитай протокол, — отпарировал Лысов. — Я всегда говорю то, что думаю.

— Товарищи, к порядку. Кто хочет выступить? — Комаров обвел взглядом присутствующих. — Дмитрий Егорович, вы?

— Нет, по-моему, надо дать слово секретарю парторганизации.

— Товарищ Сухоруков, пожалуйста.

Иван Иванович, потный от волнения, долго готовившийся к выступлению и сейчас разом потерявший все приготовленные слова, долго переминался с ноги на ногу, пытаясь вспомнить хотя бы главное. Так и не вспомнив, сердито махнул единственной рукой и выпалил:

— Что тут Федор Семенович наговорил — это, извиняюсь за грубое слово, хреновина... — он поднял голову и, испугавшись, что ему больше не дадут говорить, заторопился. — А почему хреновина? Да очень просто. Никогда Антон Иванович таким двуличным или там карьеристом не были и не будет, точно вам говорю. Ведь это что получается? Человек сил не жалеет, старается, чтоб польза колхозу и колхозникам была, а ему вроде ножку подставляют. И кто подставляет-то? Добро бы один Петька Саватеев, от него и не такой пакости можно ждать, а ведь солидные, грамотные люди, вот что обидно. Мы после вас, Федор Семенович, кое в чем разобрались и жалеем, что вы Звонкову на удочку попались. Подвел вас Звонков да и прочие, кои вокруг него увивались. Казнокрадом Платон-то Николаевич выявился, мы его под суд скоро отдадим, а вы ему верили. Пока не доказано, а только я не Сухоруков буду, ежели не Звонков с Саватеевым клязду-то сочинили. Правда завсегда наружу выплывет, испокон веку известно...

— Насчет Звонкова — это верно? — спросил Атаманов.

— Верно, Дмитрий Егорович, — за Сухорукова ответил Лобанцев. — Жуликом оказался. Он и жалобу мог написать затем, чтобы Бескурова убрать и сделать все шито-крыто.

— Ясное дело, — энергично подтвердил Иван Иванович, тем более ненавидевший сейчас Звонкова, что еще недавно сам восхищался им. — Вот уж двуличный человек — это да. А Бескуров весь на виду, что на сердце, то и на словах. Вы вот, Федор Семенович, Саватеева пожалели, хоть я вам и рассказывал про него, а не поинтересовались, какие у нас в колхозе порядки стали заводиться. Таких-то Саватеевых меньше стало, это факт. Люди стали охотнее работать, дела лучше пошли — тоже факт. А что председателя колхозники уважают — об этом и говорить нечего. Вот чем вам надо бы поинтересоваться, а вы за кляuzu ухватились. Верно, выговор мы Бескурову вынесли, да кто за выговор-то голосовал? Звонков да Давидонов, а Ярыгин, тот совсем малограмотный, испугался ваших страшных ученых слов, ну и поднял руку на всякий случай. Вы нашу парторганизацию раскритиковали правильно, слабовата она, но вы-то ведь не помогли нам сильнее стать. Только я так думаю, что через год мы во как окрепнем, достойных людей у нас много. Ну и, конечно, умнее будем, разным Звонковым, ежели они появятся, сами укорот дадим.

— Правильно! — одобрительно отозвался Атаманов.

Лысов сидел внешне невозмутимый, изредка кривя губы и что-то записывая в блокнот, но прежней решительности в лице уже не было.

Потом говорил Василий Фомич. Он заявил, что Бескуров с душой взялся за дело и ведет правильную линию, следовательно, его надо не шельмовать, а помочь и предупредить от возможных ошибок в дальнейшем.

— Сбить человека с панталыку легко, а вот влезть ему в душу, понять, чем он живет и ради чего живет, — это потруднее. Этого-то как раз и не хватает товарищу Лысову, — сказал в заключение Лобанцев.

— Да и многим из нас, — серьезно заметил Ступак-ков.

— Беда даже не в том, что не хватает, — сказал

Дмитрий Егорович Атаманов, — а в том, что приобретать этого умения иные не хотят. Заучили разные слова и цитаты и думают, будто они поняли линию партии. Партия требует от нас не только ума, но и сердца. С цитатой, брат, в душу человека не влезешь.

Обсуждение затянулось, но Комаров не только никого не останавливал, но даже и на часы перестал смотреть. Он внимательно выслушивал каждого, вопросов не задавал, однако взглядом подбадривал тех, кто почему-либо тушевался и спешил поскорее «закруглиться». Так было со Ступаковым, который заявил, что он с самого начала усомнился в «преступности» Бескурова и хотел даже послать в колхоз инструктора, чтобы уточнить некоторые факты. Не послал потому, что опасался противодействия Федора Семеновича...

Когда все желающие выступили, Комаров сказал:

— Как видим, товарищи, персональное дело Бескурова — надуманное дело, хотя на первый взгляд в нем имеются факты, явно показывающие против Бескурова. Оно поучительно, прежде всего, в том смысле, что наглядно показывает, в чем основная причина наших недостатков в работе с колхозными кадрами. Это — формализм, увлечение второстепенными мелочами (среди мелочей есть и такие), неумение, а иногда и нежелание видеть главное — живого человека, будь это председатель, бригадир или рядовой колхозник. Всем, конечно, известна истина, что успех любого дела решают люди, но всегда ли мы любознательны и внимательны к ним? Далеко не всегда. Отсюда и ошибки. Нельзя даже к заядлому тунеядцу подходить с предубеждением, потому что в нем могут, при определенных условиях, обнаружиться новые качества. К сожалению, товарищ Лысов поехал в «Восход» с явным предубеждением против Бескурова, при этом проявил черствость и странную пристрастность в проверке фактов. Он апелировал здесь к прокурору. К счастью, прокурор у нас — не бездушный буквоед и формалист, хотя Бескурову, должен его предупредить, придется побеседовать с ним. Это пойдет только на пользу общему делу. Считаю, что Бескуров правильно понимает стоящую перед ним задачу по подъему артельной экономики и добьется успеха. А мы ему помо-

жем. Предлагаю выговор, объявленный первичной организацией, отменить. Есть другие предложения?

Других предложений не было. Лысов, стиснув зубы и опустив голову, молчал. Он один голосовал против отмены.

Выходя из кабинета, Василий Фомич толкнул Сухорукова локтем в бок и негромко сказал:

— Понял? А ты боялся. По всему видать, Лысову на партконференции туго придется.

— Ясное дело, — коротко кивнул довольный Иван Иванович.

---

## ДЕЛЕГАТЫ

Визжат летучие полозья,  
Взметая с горок снежный дым.  
И дует пламенем морозным  
В лицо ребятам молодым.

Парок клубится перед ними.  
И тут, как будто для красы,  
Им подрисовывает иней  
Еще небритые усы.

Вот и райком. Гремят ступени.  
С ног парни стряхивают снег.  
У них в руках колючий веник  
Свой доживает жалкий век.

Заходят празднично одеты  
В тепло натопленный райком.  
И сразу веет в кабинете  
От них морозным ветерком.

— Вы делегаты?

— Делегаты!

Светлеют лица у ребят.  
Перед комиссией мандатной  
Они, веселые, стоят.

Размашист секретарский почерк —  
Их биография проста:  
Кто скажет: «Родом из рабочих»,  
Кто скажет: «Родом из крестьян».

Смотрю на них — мои погодки,  
Задорен взгляд. Красива статья.  
Их по уверенной походке  
Легко приметить и узнать.

... Вот так же их отцы когда-то  
С фронтов, состроек, с дальних мест,  
Как новой власти делегаты,  
Входили с Лениным на съезд.

И так же, словно между прочим,  
Назвав родимые места,  
Басили: «Родом из рабочих!»  
Бросали: «Родом из крестьян!».



## СОЛДАТ

В высоком звании солдата  
Прошел он до конца войны.  
Лицо от пороха щербато,  
И на руках рубцы видны.

Теперь он стар. В запас не годен.  
И оттого взгрустнув порой,  
Он ищет карточку в комодке,  
Ту, на которой молодой.

А там, завернуты в бумагу,  
Полузабытые лежат  
За Бухарест, Берлин и Прагу  
Медали, что принес солдат.

И вновь в огне душа солдата...  
Стоит, впервые удивлен,  
Что пол-Европы смог когда-то  
Пройти не кто-нибудь, а он!



## РАДОСТЬ

Ходит радость снежным переулком  
На рассвете к булочной одной,  
Покупает яблоки и булки  
И приносит к завтраку домой.

Ветерок колюч. Блестят слезинки  
В уголках больших и серых глаз.  
На платке — у подбородка — льдинки:  
Так морозно по утрам сейчас.

Свежие, чуть вспыхнувшие щеки,  
Кольца индевеющих кудрей.  
В рукавичках, маленьких и легких,  
Пальчики озябшие у ней.

Греет их она дыханьем влажным,  
И на них — взгляни со стороны —  
Не отмытые и мылом даже  
Пятнышки чернильные видны.

Солнцу, снегу, людям улыбаясь,  
Ничего на сердце не тая,  
Улицею ходит эта радость...  
И она, товарищи, моя!



## РУССКАЯ ПЕЧЬ

Она стоит на середине  
Иль у дверей избы любой,  
Как величавая твердыня,  
И служит комнатам стеной.

С рассветом, людям угождая,  
Печет и варит дотемна.  
А сколько дум людских рождает,  
То знает только лишь она!

... Мы помним, как снаряды выли,  
Крошились стены от свинца,  
И как среди огня и пыли  
Держались печи до конца.

И на виду у пол-России  
Изранены, опалены  
Они лишь мщенья просили  
У всколыхнувшейся страны.

Потом, как повелось извечно,  
Когда затих военный гром,  
Простой и ладной русской печью  
Мы вновь венчали каждый дом.

... Стоит, и ей износу нету,  
Хотя в работе целый век.  
И вот ее за всё за это  
И любит русский человек.



\* \* \*

Да здравствует полка вагона  
Вся сплошь из раздумий и снов —  
Отрада сердец беспокойных,  
Подруга горячих голов!

Да здравствует кузов трехтонки,  
Продутый крутым ветерком,  
Украшенный песнею звонкой  
И легким девичьим платком!

Да здравствуют гордые крылья,  
Которые с бездны высот  
Веселому взгляду открыли  
Далеких земель горизонт!

Да здравствуют рек повороты,  
Петляние троп по лесам,  
Где чудится новое что-то,  
До срока невидное нам!

Да здравствуют трижды на свете  
Лежащие всюду пути,  
Вся радость которых лишь в этом,  
Что края у них не найти!



## ДИОНИСИЙ

В Вологодской области находится Ферапонтов монастырь — исторический памятник древнерусского зодчества. Его в 1500—1501 гг. расписывал гениальный русский живописец Дионисий.

Когда-то было в Белозерье это:  
В монастыре, затерянном в лесах,  
Иконописец, попросту одетый,  
Богopodobно красками писал.

И пахари, забыв на время дело,  
У врат соборных грудились толпой.  
И, задирая бороды, глядели  
Восторженно под купол голубой.

Там совершалось чудо: Дионисий,  
Лобастый и приземистый старик,  
Касался сводов немудреной кистью —  
И на камнях рождался дивный лик.

И что-то очень близкое, земное  
Сквозило в лике матери святой.  
И люди с обнаженной головою  
Немели перед этой красотой.

... В молчанье строгом я гляжу на фрески,  
Хранящие седых времен следы,  
И вижу в них не ангелов библейских,  
А дальних предков мудрые черты.

И говорят об этом фрески сами,  
Что наши предки в глубине веков  
Своими гениальными руками  
Себя творили в образе богов!

## СТРОИТЕЛИ

(Глава из романа)

### I

Дожди шли всё лето, то на несколько дней затихая, то усиливаясь. Люди, выходя на улицу, каждый раз взглядывали на низкие, по-осеннему быстро бежавшие тучи и кутались в плащи. Непросыхавшие крыши домов и дощатые тротуары блестели, как будто были покрыты лаком.

Природа заснула тревожным, не вовремя пришедшим, сном. Не снилось ли ей неожиданное наступление осени? Но деревья стояли в зеленом уборе, трава не желтела, а воробьи в редкие дни прояснений оживленно обсуждали свои, воробьиные, новости. Казалось, всё жило ожиданием солнца, тепла и мягкого ветра, который закружит и цветы, и листья, и запахи позднего лета.

Но сегодня, как и вчера, по листьям берез стекали крупные темные капли дождя и шлепались на тротуары; подросшая за несколько выдавшихся теплых дней трава приникла к земле, продрогшие грачи безучастно смотрели на унылую картину вокруг и лишь изредка спрашивали: «ко-гда», «ко-гда», «ко-гда».

Грунтовые дороги, проезжие только в устойчивое сухое лето, раскисли и стали непролазными.

Глубокие колеи наполнились до краев пенистой красноватой водой. Придорожные сточные канавы, за-

пльвшие осадком глины и песка с полотна дороги, не вмещали всей воды, и она заполняла низкие места, недавно вырытые котлованы и траншеи.

Только отдельные смельчаки-шоферы пытались прорваться из города на строительство. Но их попытки заканчивались безуспешно: машины, поднимая задними колесами фонтаны грязи, или медленно сползали в кювет, или останавливались в ожидании тягачей.

Строительная площадка оказалась без цемента, кирпича, металла, горючего. Работы прекратились. Не слышалось прерывистого урчания экскаваторов, не стучали топоры на опалубочных работах, замолкли дробные перекачивающиеся звуки работающих бетономешалок, не громыхали металлическим стуком сгружаемые у готовых под монтаж бетонных фундаментов колонны.

Люди — электросварщики в желтоватых брезентовых неудобных для работы костюмах, плотники в серых, пахнувших сосновой смолой фуфайках, экскаваторщики в насквозь пропитанных маслом комбинезонах, каменщики в запыленных красной кирпичной пылью фартуках — забрались под навесы, в кабины машин, в пропитанные табачным дымом прорабские будки. Иногда с надеждой и тревогой взглядывали на небо — не блеснет ли там светлая полоска, предвестник кончающейся надоедливой непогоды.

Громов, спустившись с невысокого обмытого дождем крыльца небольшого домика, только что построенного для конторы строительного участка, запахнул плащ. Тело невольно ответило на сырость и холод, забиравшиеся под одежду, зябким неукротимым подрагиванием.

Змейка вившейся среди сырой травы тропинки от конторы участка вела к строительной площадке.

Сапоги сразу же схватила вязкая тяжелая глина и идти было тяжело, будто к ногам привязали пудовые гири.

Громов приехал в Прилужье совсем недавно, и своеобразные условия новой стройки ему были непривычными. До этого он в должности прораба участвовал в строительстве большого и новейшего трубного завода на юге страны.

Строительство южного завода закончилось, и Гро-

мову предложили поехать на север с повышением в должности. Но если Громов и согласился, то не потому, что его назначили здесь начальником строительного участка, а потому, что новое строительство увлекло еще большим размахом, технической смелостью в исполнении, сгущенностью людей и техники, которые должны были в невиданно короткий срок создать завод-гигант, на постройку которого раньше потребовались бы десятилетия.

Выезжая в Прилужье, Громов готовился к суровым условиям севера. Он знал, что здесь короткое лето, суровая зима и строительный сезон поэтому непродолжителен. Он знал и другое: термина «строительный сезон» на практике уже не существовало. Надо строить круглый год. Но Громов стал в тупик, когда в самое теплое время года пошли дожди, выводя из строя и дороги, и подъезды к строительным объектам, и даже подходы к ним.

Участку Громова, именовавшемуся в тресте «Промстроем», было поручено строить целую группу ремонтных и подсобных цехов, которые должны были обеспечивать новый завод необходимым ремонтным оборудованием, снабжать кислородом, сжатым воздухом, а в период строительства изготавливать металлические конструкции, разнообразные механизмы для новых цехов.

«Промстрой» еще только складывался. Приходили новые люди, завозились оборудование и материалы, комплектовались чертежами начинающие строиться объекты. Но всё это происходило на ходу. Люди направлялись сразу же на площадку, материалы укладывались не в штабеля, не на склады, а в стены, перегородки и фундаменты зданий.

План Громовым был получен сразу же после рождения строительного участка. «А как его выполнять здесь, этот нелегкий, очень нелегкий план?» — думал Громов, подходя к затопленным рыжеватой водой котлованам.

— Стоим, значит? — спросил он бригадира землекопов — высокого и на вид неловкого Комлева, вышедшего навстречу Громову из-под навеса.

— Стоим, товарищ Громов. Надоело страсть. И не поймешь, откуда она, эта водища, прет и прет! Как будто Рыбинское море подняли на недосягаемую высо-

ту, и оно теперь выливается через мелкое сито на наши головы. А сколько это продлится? И мы ничего не можем сделать. Подвоз цемента сорван. Почему так получается? Все знают, что в наших местах климат влажный, без дорог ни пройти, ни проехать. А мер никаких не принимается... Надо бы начинать строительство не вот с этих вырытых и теперь затопленных котлованов, а с дорог. Сиди теперь и жди погоды. Эх, были бы дороги!

Громову нравилась горячность, с которой Комлев, прищутив глаза, доказывал свою мысль. Для Громова это новая и не новая идея. Везде, где приходилось строить раньше, в равной степени вставал вопрос о дорогах.

Но нигде строительство дорог не было первым и основным делом. Дороги строились попутно вместе с основными объектами, а подвоз осуществлялся по временным грунтовым дорогам и подъездам. Такие подъезды являлись достаточными и не тормозили дело. Громов и здесь еще не был уверен твердо, что дороги — главное для успеха дела. Он думал, что Комлев по неопытности упрощал.

— Дороги, говоришь? Хорошо бы, конечно, иметь их готовыми к началу большого строительства. Это надежные союзники, — сказал Громов задумчиво. — Но что они дадут — дороги? Куда мы будем закладывать бетон, прямо в воду? Вы же видите, что делается кругом. Главное состоит в том, что никакой из наших наличных насосов не сможет откачать такое количество воды. Ты ее качай, а она десятками больших и малых ручьев будет возвращаться обратно в котлованы. Вот тут и думай, как делать и как быть.

Громов взглянул коротко в небритое, покрытое мелкими капельками дождя лицо Комлева, думая, что поставил бригадира в тупик.

— Как быть, спрашиваете? Сообразим, подумаем... И обязательно сделаем, если вы нам разрешите поставить насосы. Воды не будет, уверяю! — хитро улыбаясь, сказал Комлев, разбивая носком резинового сапога налитанные водой комочки глины.

— Как же это? — непонимающе спросил Громов.

— А кто мешает нам поступать так: копать огромный котлован по частям и частями же вести в нем

строительные работы. Откачивать воду из каждой такой части можно и обычным насосом.

— Бить противника по частям? — Громов задумался. Потом улыбнулся. — А интересно!.. — добавил он и собрался уходить.

«Части... Да, это надо обдумать, поспрашивать, почитать где-нибудь. Предложение дельное, но практически трудно выполнимое», — решил Громов, направляясь к застывшему с приподнятой стрелой экскаватору. Громов привык видеть эту машину в работе, в движении. Хотелось знать, почему стоял экскаватор. Может быть, ему тоже мешала непогода?

## 2

О том, что из-за бездорожья, вызванного многодневными дождями, прекратился подвоз материалов на строительство, знал весь город. Каждый оценивал это сообщение по-своему. Старожилы мирились с этим и говорили, вздыхая, что виновата в этом природа, которая в последние годы стала совсем не такой, что была здесь раньше; приехавшие строители из молодых всю вину за бездорожье сваливали на начальство, которое «ничего не понимало в делах»; богомольные старушки — их было совсем мало — уповали на бога, которого «прогневали» люди своими «богохульными» делами.

Но как бы ни рассуждали люди, дожди шли, создавали бездорожье, и план строительства, тот самый план, который являлся законом для всех больших и малых людей строительства, — этот план не выполнялся.

Все эти дни секретарь горкома партии Горелов не находил себе места. Он то уходил на строительную площадку, то вызывал к себе Одинцова, показавшегося Горелову на редкость спокойным человеком: мол, моя хата с краю, когда «небесная канцелярия» прогневалась; то пробовал отвлечься от строительства, уйти в дела городской организации, которых всегда было много.

Посоветовавшись с членами бюро, Горелов пришел к выводу, что надо вопрос о дорогах и подъездах к строительству обсудить на бюро горкома. С какой сто-

роны подойти к этому вопросу, кто будет доказывать, что дороги — это теперь всё? Не промышленные объекты, а дороги! Надо вызвать Одинцова и послушать его, как он себе мыслил создавшееся положение.

Вызванные на бюро Одинцов и директор завода Крутов в своих выступлениях не отрицали важности постоянных дорог в местных условиях. Одинцов, делая сообщение, вспомнил даже исторический факт о том, что Петр Первый придавал большое значение дорогам в России. На реплику: «Это к делу не относится» — Одинцов прямо возразил: «Согласен, но если уж мы хотим докопаться до корня волос, то надо поднять всю историю вопроса. Я утверждаю, что никто иной, как Петр Первый, начал серьезно думать о дорогах».

— Ближе к делу, товарищ Одинцов, — не поднимая глаз и позевывая, посоветовал член бюро Михайлов, которому явно наскучили общие рассуждения Одинцова.

— Еще один момент разрешите мне оттенить, товарищи, и я смогу перейти к освещению конкретных фактов нашей жизни. Хотелось бы заострить, так сказать, ваше внимание, на том, что у нас в стране проводится большое строительство дорог. Да и как можно мириться дальше с бездорожьем! Бездорожье — наследие прошлого...

— Товарищ Одинцов, прошу конкретно — о постройке заводских дорог, — подметил Горелов, морща прямой тонкий нос, — надо иметь в виду, что без дорог мы далеко не уедем. Не правда ли, товарищ Одинцов?

— Правда, товарищ Горелов, — подтвердил Одинцов, — но дорог у нас здесь пока не будет.

— То есть, как это не будет? — поднялся Горелов и зашагал от волнения, — как же вы думаете вести строительство без дорог, с огромным напряженным грузопотоком? Расскажите бюро. Или вас не волнует безобразное состояние дела, которое сложилось на стройке? То люди стоят потому, что нет материалов, то потому, что есть материалы, да всё залито водой.

— Устранить природные явления, как вам известно, не в наших силах, — заметил Одинцов, разгибая мясистую шею и смотря на Горелова торжествующим взглядом человека, взявшего верх в споре.

— Мы все не чудотворцы, товарищ Одинцов. Но строить дороги можно и не обладая божественными качествами!

— К чему эти выражения, Антон Федорович? Строить дороги немедленно нельзя потому, что не отпущено средств на это да и чертежей еще нет.

— Вот как! — вырвалось у Горелова.

— Да, проектов нет, — подтвердил Крутов вставая, — и наша трагедия состоит в том, что их скоро не будет. Не будет потому, что бесчисленные коммуникации в виде водопровода, канализации, электрических кабелей, газопроводов и воздухопроводов во многих местах пересекут дороги. А в настоящее время всё это не рассчитано, не расчерчено, не говоря уже о том, что цехи на генеральном плане завода показаны, я имею в виду их местоположение, условно. Так что проекта дорог еще нет и строить их, я говорю о постоянных заводских дорогах, нельзя. Все данные о таких дорогах будут уточняться в ходе строительства.

— Значит, товарищ Крутов предлагает строить завод без дорог, без надежных, всегда действующих подъездов? — перебил Горелов.

— Нет, я так вопрос не ставлю, — строго посмотрел Крутов на Горелова. — Наоборот. Я обеими руками за дороги, но временные, которые всегда всеми строились и, вероятно, будут еще строиться.

— Значит, как я понимаю, вы за временные дороги? Вы за старинку? Так оно, конечно, спокойнее...

— Считаю создание временных дорог на строительстве единственно правильным. Что это старое дело, я согласен. Но зато оно проверено опытом многихстроек. Преимущества таких дорог доказаны. Во-первых, они строятся из подручных дешевых строительных материалов, отходов лесозаготовок, щебенки, песка. Во-вторых, это исключает постройку постоянных дорог, по крайней мере, на первый период работы завода, потому что постоянные дороги, стоящие огромных средств, всё равно пропадают, — сказал Крутов. — Их портят при прокладке большого количества коммуникаций. Я уже не говорю, что много случаев в практике, когда отдельные участки постоянных дорог при уточнении генерального плана завода могут оказаться уложенными не на месте.

— Надо иметь такие проекты, которые не пришлось бы менять десять раз. Это в интересах дела, — ответил Горелов.

— Справедливое замечание, но это предел, которого мы стремимся достичь, но еще не достигли, — вздохнул Крутов и сел, поджав губы, показывая всем видом, что он не в состоянии больше добавить ни одного слова, потому что для него вопрос совершенно ясен.

Это почувствовали Горелов и Михайлов. Им было тоже всё ясно. Они видели, что без твердого решения дело едва ли может сдвинуться с места: требовалось указать в решении, кому и в какой срок что сделать — и без недомолвок и неясностей.

— То, что мы здесь слышали и от товарища Крутова и от товарища Одинцова — не новость, — говорил Горелов, не глядя на членов бюро, потому что так было легче сосредоточиться, — их мнения различны и, чтобы их примирить с пользой для дела, напрашивается такое решение: товарищ Одинцов немедленно — я настаиваю на этом — немедленно строит временные дороги. В этом сейчас единственный выход. И товарищ Крутов не должен оставаться в стороне. Чтобы проекты постоянных дорог были, и в кратчайший срок! Надо сделать так, чтобы к осени строительство имело дороги, хотя бы к основным объектам. Решили, товарищи?

— Почему бы не так? — кивнул головой Михайлов, блестя бритой коричневой головой.

— Мнение одно: бросить все дела и строить одни дороги, — сказал, загораясь бледным болезненным лицом, редактор местной газеты Безроднов.

— Позвольте, как же так решать? Где материалы, деньги на временное строительство? — спохватился Одинцов.

— У треста денег, конечно, нет, но если учесть те потери, которые трест имеет вследствие простоев из-за отсутствия дорог, то деньги, истраченные на них, окупятся сполна. А материалы — за насыпью железной дороги, там шлак девать некуда, — сказал Горелов, в упор глядя на Одинцова и считая вопрос исчерпанным.

— Невозможно в такой короткий срок выдать

проекты дорог! — сделал в свою очередь изумленное лицо и покраснел от волнения Крутов.

— Невозможного нет, если приложить усилия, — сказал Горелов, бороздя карандашом по листу бумаги. — Возражений не будет против принятия решения в изложенной редакции?.. Нет. Принимается.

Одинцов, не оглядываясь и пригнувшись, как бы боясь задеть головой за косяк, вышел в приемную. Там наскоро надел галоши, постоял немного, собираясь с мыслями. Потом покачал головой в знак недовольства или удивления только что слышанным и удалился, скрипя галошами в коридоре.

Крутов еще посидел несколько времени на стуле, не понимая, вставать ему или еще остаться.. Но потом, увидев скрывающийся за дверью высоко постриженный затылок Одинцова, встал и посмотрел на Горелова, которого уже не интересовали ни дороги, ни присутствие Крутова, потому что кроме дорог на заседании бюро надо было рассмотреть еще уйму больших и малых дел.

Крутов вышел в приемную неторопливой походкой уставшего человека. Его настроение не было испорчено, и он успел прочитать здесь только что принесенную газету, сказать что-то шутовское Лене, которая готовила проект решения по одному персональному делу, и потом уже вышел, направляясь в свой рабочий кабинет, где было тихо и уютно. Он любил после шумного, прокуренного помещения отдохнуть полчаса у себя в кабинете. В это время многое рождалось в голове, иногда что-то отлетало как мелкое и ненужное, а что при первом впечатлении отвергалось как случайное, возвращалось как необходимое и над ним приходилось ломать голову.

### 3

Решение о дорогах и подъездных путях, принятое горкомом партии, надо было выполнять не только потому, что оно было записано. Этого требовали интересы стройки. И если Одинцов пытался спорить при принятии решения, то только для того, чтобы поторопить с проектированием постоянных дорог, которые, несмотря на сомнения Крутова, считал вполне реальными в условиях начала строительства. Не подстегни

сейчас, так и придется годами возить по временкам, ломать машины, перерасходовать горючее. «Пусть будет нам нелегко сейчас, но Крутову не придется сидеть сложа руки», — думал Одинцов, отдавая на следующее утро распоряжение о начале сооружения временной дороги к строительной площадке. Весь день и последовавшую за днем ночь автотранспорт, стоявший из-за отсутствия дорог на приколе, возил на вышедшую из строя проселочную дорогу шлак, битый кирпич и гравий, засыпая ими выбоины и непролазные места. Рабочие, а они были сняты со всех объектов, отводили с дороги воду в канавы и низины. Под напором людей и механизмов жидкое месиво, в которое превратился проселок, отступало всё дальше и дальше от города к строительной площадке.

Потом, когда прошло трое суток с начала штурма и когда первые груженые уже не битым, а настоящим кирпичом машины прошли мимо здания горкома на стройку, Горелов впервые за эти последние несколько тревожных дней улыбнулся, показывая второму секретарю горкома Сомову на проходившие мимо окон грузовики.

— Вот вы, Анатолий Андреич, свидетель того, как здесь на бюро Одинцов упирался, а какова цена этому упрямству? — говорил Горелов попыхивая папиросой и слегка покашливая не то от простуды, не то от глубокой затяжки. — Догадываетесь, почему он вел себя так? Что такое дороги? Второстепенное дело. С него, Одинцова, взыскивают за невыполнение плана ввода цехов. За это его будут хвалить, если он будет их пускать вовремя, его же будут и наказывать, если будут завалены сроки их пуска. За дороги же в худшем случае Одинцова пожурят: нет культуры на строительной площадке. И только. Вот почему Одинцов и отмахивался от дорог: как-нибудь и без дорог, мол, обойдемся.

— Но Одинцов же рубит сук, на котором он сам сидит! — воскликнул Сомов, повернувшись к Горелову.

— Вы правы. Но что за дело Одинцову до этого сука? Он, видимо, не привык заглядывать вперед и здраво оценивать обстановку. Он видит впереди доменные печи, мартены, прокатные станы, но не знает, что для того чтобы к ним подобраться надо ползти не

ползком, а ехать на автомобиле. Вот почему приходится таких Одинцовых толкать нам на строительство так называемых второстепенных объектов. Нет сомнения в том, что то же будет и со строительством жилых домов. Придется нам и этим заниматься, потому что для Одинцова жилые дома — тоже второстепенное дело.

— Мне пришло в голову несколько другое, — сказал Сомов, поправляя взлохмаченные волосы растопыренными пальцами. — Вы читали биографию Одинцова, Антон Федорович? всю жизнь он строил на Юге. Что такое «дорожная проблема», скажем, на берегах Днепра? Там почти круглый год можно ездить и без особых дорог. Это не то, что у нас: шагнул один метр в сторону от дороги и увяз по колено.

— Сила привычки — большая сила, — согласился Горелов. — И наша с вами обязанность помогать этим людям поскорее освоиться с новой обстановкой. Это нелегко, конечно. Вы не желаете побывать со мной на площадке, посмотреть, что там произошло, да и машину обкатать?

— Хотелось бы, да вот скоро секретари парторганизаций придут. Сегодня у меня семинар с ними назначен, — уклончиво ответил Сомов, глянув на часы и выходя следом за Гореловым в коридор.

#### 4

Чем дальше бежала «Победа» по проселку, тем больше Горелов убеждался в том, что за последние сутки сделано немало. Внося предложение об исправлении дороги, он сам сознавал, что срок исполнения назывался весьма сомнительный. И всё же он был выдержан. И хотя по обочинам дороги еще встречались сползшие в кювет машины, однако той грязи и страшных борозд на половине дороги уже не было. Впереди «Победы» мчались на стройку самосвалы с кирпичом, неуклюжие лесовозы с тесом. «Значит, пошло!..» — думал Горелов, глядя вперед сквозь влажное от сырого воздуха стекло. Но тревожные мысли не оставляли Горелова. «А что дальше? Пройдет неделя, две, и дорога снова выйдет из строя. Шлак вонмут в грязь, песок и гравий расползутся в глине. Что тогда? Снова

возить шлак и гравий? Снова стройка будет стоять несколько дней! Нет, этого нельзя допустить. Тут прав, конечно, прав Одинцов. Надо строить дороги, которые не будут зависеть от погоды».

По пути из города на строительство первыми закладывались вспомогательные цехи: ремонтно-монтажный, механический, насосная станция, литейный, кислородная станция. Все они были еще в земле, и ни один кирпич не показался на поверхности. За горами вывороченной земли показались котлованы и фундаменты. Он оставил машину и свернул по старой тропинке к строительной площадке этих цехов. Маленький, кажущийся игрушечным, узкоколейный паровоз, пыхтя, увозил черные, тоже игрушечной величины, вагоны-думпкары, заполненные глиной. Невдалеке, у самого полотна дороги, стоял и кланялся экскаватор.

Посмотрев вместе с Громовым подведомственные ему объекты строительства, Горелов, идя следом за начальником участка, поднялся по скрипящим ступенькам в контору, деревянное здание которой помещалось в сотне метров от заполненных теперь водой котлованов.

— Дождь всё сбил — и настроение и работу, — пожаловался Громов, снимая плащ и вытирая платком раскрасневшееся от холодного дождя лицо.

Горелов сел у окна, не раздеваясь, а только сняв намокшую тяжелую кепку.

Громов смотрел не на Горелова, а на окно, по которому дробно барабанил косой с ветром дождь. Откинув назад большую голову с коротко постриженными волосами, он ждал, что скажет секретарь горкома.

— Напрасно думать, что план строительства можно выполнить легко. Легкий план — не план. Вы жалуетесь на погоду и связанное с этим бездорожье, слякоть, затопление площадки водой. А разве нельзя, если не устранить, то значительно смягчить действие всех этих трудных условий?

— Можно, — кивнул головой, подумав немного, Громов.

— А раз можно, почему это не делается? Да потому, что много неповоротливости еще в людях, безответственности и нераспорядительности. А вы говорите — план...

Громову начинал нравиться Горелов. Казалось, что он настолько понял дух и обстановку стройки, что Громову даже нечего было возразить.

За спиной хлопнула дверь и вошедший, быстро ступая, прошел к столу. Горелов машинально повернулся и увидел забрызганного грязью человека с загорелым худощавым лицом. Несколько секунд Комлев переводил взгляд с Громова на Горелова и с Горелова на Громова, словно спрашивая: вовремя ли, мол, будет его разговор? Но Громов опередил.

— Вы, наверное, всё с тем же, товарищ Комлев? — спросил он.

— Конечно, Сидор Петрович. Надо же дело до конца доводить. Да и предложение-то стоящее. Три дня бригада на простое. Сколько бы дел за это время переворотили!. Помогите нам осуществить то, что намечаем, и дело пойдет. Как же тут не ходить при таких обстоятельствах? Мы работать хотим, а вы не даете ходу.

Комлев покраснел оттого, что ему пришлось высказать такие острые, но правдивые мысли. Громов опустил глаза, отыскивая, что бы ответить на эти неожиданные для него слова. Горелов с интересом следил за разговором.

— Да, я возражаю, — начал Громов, поднимая глаза на Комлева и вставая из-за стола. — Возражаю не потому, что погряз в консерватизме, как это может показаться непосвященному в узкотехнические вопросы человеку, а потому, что всё, что будет выполнено по вашему предложению, пропадет, не даст результатов. А зачем зря тратить государственные деньги? Вы видели, вероятно, Антон Федорович, огромный котлован на строительной площадке? Так вот, это место будущего литейного цеха. Здесь надо уже сейчас вести строительные работы. Но на всей площади будущего цеха, в вырытом котловане, скопилось огромное количество воды. И ее некуда девать при отсутствии стоков. Никакие насосы, даже самые современные, не смогут избавить нас от воды и слякоти. И вот товарищ Комлев, он перед вами, предложил изменить порядок строительных работ против общепринятого.

— Принятого на других строительствах и оказавшегося негодным у нас? — спросил Горелов.

— Может быть, но, в сущности, предложение неосуществимо, — сказал с горячностью, ему несвойственной, Громов.

— Почему бы прежде всего внимательно не рассмотреть предложение товарища Комлева, если оно спорно? — сказал Горелов, внимательно глядя в лицо Громову, и потом, повернувшись к Комлеву, добавил: — Может, расскажете, что вы предложили?

— Могу, конечно, могу, — обрадовался представившейся возможности Комлев. — Действительно, прав Сидор Петрович: никаких насосов не хватит для откачки такого количества воды. Вот мы и предложили вести работы не везде сразу, а участками. Кончил работы на одном, начинай следующий, и так далее. Правда, требуются дополнительные затраты на сооружение временных перемычек между частями, требуются средства. Зато дело двигаться будет. Особенно это подходит к зданиям, для которых еще котлованы не начинали копать.

— Не знаю, как с точки зрения строительной техники, а по смыслу предложение товарища надо рассмотреть, — сказал Горелов, помолчав немного после того, как кончил говорить Комлев.

— С точки зрения строительной техники всё это невиданно, не проверено и не подтверждено, — ответил Громов, затягиваясь дымом папиросы.

— Много непроверенного приходится вводить в жизнь советским людям, и этого не стоит бояться или относиться к непроверенному подозрительно. Так уж сложилась история, что и в малых и в больших делах приходится искать и внедрять много невиданного ранее. Кто может утверждать, что при этом не было ошибок? Были, конечно, и серьезные неудачи.

Горелов, опустив глаза, задумался, потом оживился, и глаза его засияли.

— Почему бы и новый метод, который предложен товарищем Комлевым, не попробовать?

## 5

Утром следующего дня Громов появился на строительной площадке необычно рано. Небо было чисто, и сквозь сизый дымок пробивались к земле яркие сол-

нечные лучи. Прохлада забиралась под жесткую от вчерашнего дождя одежду.

Котлованы стояли под водой. Иззябший парень-моторист, склонив голову, стоял у шумевшего от натуги насоса и убеждался в бесплодности своего занятия — за всю смену вода убыла на несколько сантиметров. Громов обошел котлован со всех сторон и вернулся к мотористу.

— Плохи, говоришь, дела-то? — спросил он.

— Неважнецкие, прямо скажем, товарищ начальник, — ответил моторист, глядя на Громова большими синими глазами. — Да и откуда ждать проку: поставили такую игрушку и ожидают от нее результата. Таким насосом воду качать из подполья только, да и то вряд ли дело выйдет. Поставить бы сюда десяток таких или один да большой, тогда бы дело, бесспорно, вышло.

Неторопливо подошел Комлев с бригадой. Его лицо как будто говорило: куда спешить, нынешний день похож на вчерашний, как две капли воды, та же вода, тот же беспомощный насос наверху, тот же простой людей и главное, вероятно, то же равнодушие начальства к его предложению.

Он, Комлев, и не догадывался, что Громов решил попробовать. Деловито и сухо поздоровавшись, он изложил Комлеву план предстоящих работ.

— Так что же, в состоянии мы это выполнить? — спросил он в заключение, оглядывая каждого из десяти разных по возрасту, темпераменту и вере в успех дела людей.

— Отчего же не выполнить? Коли надо — сделаем.

— Какое ни дело, оно лучше чем отсидка, — загудели люди.

Только один Аринкин, толстый, с угрюмым заспанным лицом человек, покачал головой и ничего не сказал на слова Громова.

— Ты что ж, сомневаешься, Аринкин? — спросил Комлев, заметив особое мнение одного из членов своей бригады.

— Сомневаюсь, ох сомневаюсь. Не приходилось мне встречаться с таким делом, — сказал Аринкин, не глядя в глаза Комлеву.

— А ты не сомневайся. Слушай, что старшие те-

бе говорят. Может быть, тяжести испугался? — допытывался Комлев.

— Нет, я что? Как все, так и я, — ответил нехотя Аринкин.

А товарищи долго глядели в неподвижное лицо Аринкина: не подведет ли этот, пришедший недавно в бригаду, человек?

6

Два дня ушло на подготовку мест для установки огромных перемычек, которые должны были разделить котлован на несколько отсеков. И всё это время, пока бригада Комлева работала в воде и жидкой засасывающей тине, плотники, занятые тут же на изготовлении щитов, с опаской покачивали головами и понимающе переглядывались: эх, сгубят себя ребята! А дед Архип, стороживший прорабскую будку, нет-нет да и отрывался от своих обязанностей и подходил к котловану.

— Ну, чудо-юдо, головы садовые, после такой работенки да стаканчик крепенькой в самый раз было бы, — говорил он, похлопывая по сухим бедрам и причмокивая лиловыми губами.

— Постой, дед, не торопись! Надо сначала дело сделать, а потом и водку пить, — сказал Васька Кудрин, разгибая спину и закуривая. Потом, затачиваясь дымком, поглядел на Архипа серьезно. — Притом, твоя, как это... моральная опора нам ни к чему. Ты бы, дед, надел резиновые сапожки повыше колена, взял лопатку да помог нам, а не лясы точил.

— Ну, пошел! Да я же дело говорю, а ты шутишь, — обиделся Архип и повернулся боком к Кудрину, так что стал виден его птичий профиль. Казалось, этот человек с хохолком седых волос на маленькой голове прыгнет сейчас и улетит прочь отсюда. Но Архип еще не всё высказал. — Да к тому же, если в естестве разобраться, то я за свою жизнь переворошил, голова садовая, столько землицы, что нет угла в нашей то есть области, в котором моя лопатка не копнула хотя бы раза. Вам что? За вас машина сейчас земле кланяется. У нее хребтина-то железная. А мне пришлось самому лопаткой земельку копать, чтобы и хлебца посеять и картошечку посадить. А ведь спина у челове-

ка живая, она устает. А вы два дня поработали и уж думаете, что чуть ли не ворох дел переделали. Ох вы, головы садовые! Да было бы мне этак годков на двадцать меньше, я бы показал вам Кузькину мать.

— А ты и впрямь, дедушка Архип, в агитаторы годишься, — отрезал Саша Архипенко, выбрасывая из котлована куски глины.

Комлев слышал разговор деда Архипа с Кудринным и Сашей и улыбался про себя. Он хорошо знал, что дед Архип любил прихвастнуть и в этом терял чувство меры. Но никто не старался уличить Архипа во лжи: пусть пошутит старик.

Комлеву было не до Архипа. Раскрасневшись от многочасовой работы без отдыха и то и дело вытирая пот, Комлев подбадривал уставших и нет-нет да и бросающих в сторону лопаты людей.

— Что, Тимофей, промок? — спросил Комлев у Волкова, попавшего неожиданно в скрытое в воде углубление. Он зачерпнул сразу обеими сапогами.

— Есть немножко, бригадир, — сказал Волков, переступая ногами.

— Посушишь у костра, простынешь, — не то посоветовал, не то приказал Комлев.

— Вот кончим, тогда и обсохнем, а то, смотри, опять крапает, — недовольно посмотрел вверх Волков.

Действительно, прояснившееся было небо вновь затянуло серые непроглядные тучи. С запада потянул влажный, ничем не пахнувший ветерок. Кончившийся было многодневный дождь грозил снова начаться.

К вечеру поставили первую перемышку. Она отделила одну часть котлована. Оставалось поставить насос, и вода, мешавшая столько суток работе людей, освободив место, уйдет по ручейкам и речушкам в реку. И тогда надо будет только не допускать заполнения участка работ водой, включая на короткие промежутки насос. Но строить-то, в общем, можно будет уже и при плохой погоде.

Надвигался вечер. Холодная изморось окутала и горы глины, и глыбу черневшего невдалеке экскаватора, и стоявших людей. Легкий ветер рябил желтоватую воду.

Комлев отпустил уставших людей домой, а сам с мотористом остался у котлована: не терпелось прове-

речь результаты тяжелого труда. Тарахтевший ровно и дробно насос проверял теперь правильность того, что замышлял Комлев и с чем согласился в конце концов Громов.

Назавтра, когда Громов появился у котлована, вся бригада была в сборе. Люди, возбужденные и обрадованные, стояли над котлованом. Часть его, отделенная перемышкой, была освобождена от воды. Только по крутым стенкам медленно сползали вниз блестящие от воды комочки глины, да невидимый тонко журчал ручеек. Громов не скрыл своего волнения и улыбнулся, пожимая большую теплую руку Комлева.

## 7

Красная линия графика круто сползла ниже черной прямой черты с отметкой сбоку «100» и на каждой последующей вертикальной клетке, обозначавшей сутки, падала все ниже. График висел с боку большого стола в кабинете Одинцова, так что управляющий трестом невольно несколько раз в сутки останавливал свой взгляд на красной неровной линии, показывавшей, насколько лихорадочно и неорганизованно шла работа на строительных участках.

Начальник планового отдела Левит, ежедневнонося жирным карандашом продолжение графика, докладывал тут же Одинцову данные прошедших суток. Левит — полный, спокойный человек, с черноволосой головой. Он знает себе цену, и как бы ни стучал Одинцов в нервном возбуждении пальцами по стеклу стола, спрашивая: «Как же это случилось?», — Левит пожимал плечами: «Вам, мол, лучше знать!» За многие годы работы в плановых отделах он привык с неумолимой жестокостью ставить свои знаки на всякого рода графиках.

Колесания в цифрах он чувствовал первым. Если красная черта выполнения суточных заданий ложилась выше отметки «100», Левита как будто и не было в управлении. В его тесный, запряванный в дальний угол здания кабинет никто не заглядывал, а секретарша управляющего Тося не пицала в телефон: «Семен Мосеич, вас управляющий».

Но как только красная линия пересекала священ-

ную черту «100», Левит становился известным, и его фамилия не сходила с уст многих людей.

— Что у Левита? Куда идет Левит? Скоро ли линия Левита пересечет, наконец, нейтраль? — слышалось и в шумном коридоре управления треста, и в маленьких тесных прорабских будках, и на площадках.

В такие тревожные дни Левит должен был дважды появляться — утром и вечером — в кабинете Одинцова и докладывать положение дел. Это было установлено неписанным правилом.

Одинцов принимал начальника планового отдела радушно.

Левит, не ожидая приглашения, сел в глубокое мягкое кресло напротив Одинцова и мирно, с глазу на глаз, начинал доклад. Одинцову не приходилось кипятиться и нервничать при этом. Он сознавал, что выполнение плана — дело рук многих людей — землекопов, каменщиков, бетонщиков, шоферов, начальников участков, прорабов, мастеров, а вовсе не Левита. Левит — просто знающий, толковый человек, который верно улавливал обстановку, регистрировал цифры, обобщая факты. И по всем этим материалам, при его опыте, угадывал, куда поползет кривая графика завтра и в ближайшие дни.

Сегодня Одинцов был особенно не в духе, но в разговоре с Левитом сдерживал себя, как всегда.

— Кто у нас особенно отличился вчера? — спрашивал Одинцов, пробегая глазами подробную сводку о работе участков за прошедшие сутки и понимая под словами «отличился» самую плохую работу.

— Худшее положение у Никитина — двадцать процентов. Даже цифру называть неудобно. Главное по Никитину — бесперспективность. Целую неделю, прошу заметить, Василий Николаевич, целую неделю у Никитина выполнение не выползает за цифру двадцать. У Громова тоже плохо. Но у того кривая выполнения неуверенно поползла вверх, и это уже отрадно. Остальные идут с переменным успехом.

Левит доложил это таким тоном, как будто говорил не о работе коллективов людей, делавших большое дело, а читал незнакомый ему отвлеченный протокол. Сказал и посмотрел на Одинцова, как бы проверяя действие своих слов на управляющего.

— Завязли, словом, в трясине на все четыре колеса. Повозка то вперед, то назад, а в целом стоит на месте, — горько усмехнулся Одинцов.

— Да, так получается, — развел руками Левит.

— Провал, полный провал. Черт знает, что такое, — Одинцов встал и возбужденно пригладил круглую, покрытую редкими короткими волосами, голову. — Главное, никак не могу понять этого Никитина. По анкете инженер, большой опыт работы имеет, а дело не идет. Кто он — бездельник или отвыкший от практики работник? Не похоже. У Громова понятно. Там тяжелый участок — бездорожье. Болото и ежедневные дожди окончательно портят дело. Но Никитин меньше всего зависит от погоды.

— Причина одна: организация работ, — заметил глубокомысленно Левит, понимая, что под этим выражением можно скрыть все недостатки производства, не боясь того, что кто-то уличит тебя во лжи. Даже Одинцов не может возразить Левиту против этого довода и упрекнуть его в незнании условий производства. Левит умел парой слов убить двух зайцев: нацелить Одинцова на трудное место в строительстве и скрыть свои собственные прорехи за прорехами других. И хотя Одинцов редко признавал прямо правоту своих подчиненных, тем не менее Левита он выслушивал и внутренне соглашался с ним.

— Организация работ действительно плохая, материалы разбросаны по всей площадке, мастера, не говоря уже о рабочих, не получают вовремя заданий, люди наполовину стоят, а тем временем Никитин невозмутимо поет лирические песни. Что-то такое, знаете: «Ты постой, на меня погляди». Что вы смеетесь? Это уж я сам слышал, своими ушами. Говорят, даже секретарша, слыша его романсы, перестает выстукивать надоевшие буквы и предается мечтам. Нет уж, довольно. Пусть идет в оперный театр. На примере Никитина надо научить многих других, как нельзя пренебрегать делом.

Одинцов, наклонившись, ощупью нашел выступающую с боку стола кнопку звонка, и за стеной глухо и монотонно, как жужжание шмеля в весенний погожий день, зазвенел звонок.

Молоденькая, еще не освоившаяся со своими нелег-

кими обязанностями, секретарша Тося вошла в кабинет. Ступив два шага по направлению к столу, Тося остановилась, глядя на Одинцова робкими глазами и наклоняясь вперед.

— Пригласите ко мне на восемнадцать часов всех начальников участков. Предупредите, чтобы это было не как в предыдущий раз, когда по моему вызову явилось двенадцать из двадцати начальников участков. За неявку буду взыскивать, — сказал Одинцов, не глядя на секретаршу, как будто всё, что он говорил, касалось его лично или Левита, сидевшего рядом, но не Тоси. Поэтому она не знала после того, как замолчал Одинцов, идти ей выполнять указание или подождать еще. Она решила, что лучше подождать, и стояла, не двигаясь и по-прежнему, но уже выжидательно, а не робко, глядя на Одинцова. Почувствовав это, Одинцов взглянул на нее мельком, еле заметным кивком головы подтвердил, что разговор с ней окончен.

— Вам, Семен Моисеевич, необходимо тщательно подготовиться к этому совещанию, — обратился Одинцов к Левиту, когда вышла Тося и когда Левит, почувствовав, что с ним окончен разговор, стал подниматься, чтобы уйти. — От вас потребуется очень немного: зачитайте цифры отчетливо и без прикрас, чтобы все слышали. А остальное я от себя добавлю. Надо призывать к порядку некоторых из наших ответственных товарищей.

## 8

Но случилось не так, как хотел и как мыслил Одинцов.

Совещание перешло за пределы, которые ему готовились. По замыслу Одинцова совещание должно было быть узким, «званным», чтобы можно было поговорить по душам, не боясь вскрыть некоторые внутренние болячки, высказать всё, что накипело за последние дни, подхлестнуть и пришпорить тех, кто вел себя на строительной площадке развязно и недисциплинированно, не считаясь с указаниями управления треста. Одинцову хотелось налечь на участки, поддать им пару и не давать крен в сторону общих недостатков строительства. Переход на эту тему неизбежно склонил бы

совещание к разному руководству строительством в целом. Но получилось так, что без приглашения к началу совещания явился Горелов. Он, поздоровавшись коротким рукопожатием с Одинцовым и кивком головы со всеми собравшимися в кабинете, сел рядом с Громовым и начал вполголоса говорить с ним, изредка поглядывая на дверь, откуда появлялись всё новые и новые люди.

Пришел бледный сутуловатый секретарь парткома строительства Антропов. Глухо и отрывисто покашливая, он сел к задней стенке и стал просматривать записную книжку. Открыв широко дверь и непринужденно поздоровавшись со всеми, занял место по другую сторону от Горелова Крутов. Всё его довольное, полное, слегка улыбающееся лицо как будто говорило: а ну посмотрим, что говорят сами о себе строители. По правде говоря, Крутов любил слушать и видеть, как критикуют других.

Последним из неприглашенных явился Тихонов — сотрудник местной газеты. Вынув блокнот и поправив очки, Тихонов сел у самой двери. Одинцов, заметив Тихонова, поморщился, как от зубной боли. Вспомнилась недавняя статья в газете за подписью Тихонова. В ней Одинцову здорово попало за невнимание к жалобам людей, что, как писал Тихонов, «уже с первых шагов говорит о наличии элементов бюрократизма в тресте».

Язык этого Тихонова остер, как бритва, цепок, как клещи. Того и гляди, опять что-нибудь нагрохает.

«Вот и поговори в такой обстановке по душам!» — вздохнул Одинцов, окидывая взглядом всех собравшихся.

Сразу же за коротким сообщением Левита, совещание вышло из намеченного для него русла и потекло по другому. Одинцов не учинил разноса начальникам участков в присутствии стольких свидетелей. Кто знает, как бы обернулось дело после «разноса». Кому бы попало больше — начальникам участков или самому управляющему. В самом тресте, это знал Одинцов, недостатков и упущений было не меньше, чем на участках. Одинцову не хотелось, по крайней мере сейчас, раскрывать грехи. Поэтому он ограничился общим сообщением и легкими словами, погладив против

шерсти Никитина, пожурив Громова и упомянув вскользь еще две-три фамилии. В конце управляющий призвал присутствующих «к новым успехам». Всё, о чем сказал Одинцов, не понравилось Горелову. Ему было странно слышать от начальника строительства общие рассуждения. Никакого анализа, никакого направления на будущее, зато много цифр. «Почему Одинцов так выступил? — думал Горелов, оглядывая присутствующих. — Не разбирается в деле, не хочет выносить сор из избы?.. Но ведь и то и другое, если это имеет место, рано или поздно выявится». Горелову хотелось взять слово и рассказать всё то, что он видел в эти дни на площадке. Надо было рассказать, о чем думали и говорили люди. Но он чувствовал, что говорить ему еще не время. Пусть выступают другие. Они должны знать больше.

Начальники участков не были настроены мирно, как хотел того Одинцов.

Первым поднялся Стрепетов, высокий немолодой человек, шея и лицо его как будто состояли из одних складок и сухожилий. Прежде чем начать говорить, он дернул головой.

— Да, правильно сказал Василий Николаевич — цифры говорят сами за себя. Работаем мы плохо, слов нет, — сказал он, оглядываясь по сторонам, как будто ища поддержки. — Но вот, если вникнуть в глубь этого явления, то обнаружится, что и ожидать нам нельзя хорошего. Работаем мы, как кустари, без связи друг с другом. А трест, все его отделы никак не увязывают участки. А как же без этого можно обойтись? Дальше. Взять участок, который, к несчастью, находится в моем подчинении. Да, не улыбайтесь, Василий Николаевич, я не оговорился, именно к несчастью. Ведь что сделано трестом. Создан участок и брошен за пять километров отсюда. Строй, мол, Стрепетов. А туда ни дорог, ни тропинок. У нас уж предложение такое дают: строить здания с вертолетов, потому что иначе не подступиться. Или возьмите чертежи. Чертежей нет. Ведь это факт, что мы вчера получили чертежи на кровлю, а на фундаменты, говорят, время еще не подошло. И тут опять строительство с вертолетов нам сильно помогло бы. А так, как люди строили до сих пор, для нашего участка явно не подходит. Заканчиваю.

Улучшение работы надо начинать с головы, с треста, с дирекции, которые увязывают нас в одно целое. Всё у меня.

Все оживились после слов Стрепетова. Горелов весело подмигнул Антропову: каково? Антропов кивнул понимающе: хорошо! Одинцов не подавал виду, что слова Стрепетова его задели за живое. Записав что-то на клочке бумаги, он дал слово Громову. Громов говорил некрасиво и односложно. Чувствовалось, что выступил от большой нужды, а не ради того, чтобы блеснуть красивым словом.

— Что верно, то верно: плохо работаем, — начал он, вздыхая и сложив руки на животе, — плохо и, можно сказать, недостаточно. И это не зря так складывается обстановка. Не надо глубоко знать организацию дела, чтобы увидеть безрадостные картины вокруг. Вот все видят, сколько стоят без дела экскаваторы. А что, им делать нечего? Дела во, по горло. Но нет подвижного состава. Возьмите другое место. Там стоит подвижной состав. Почему? Нет экскаватора. Кто виноват в этом? Да тот, кто увязывает участки между собой в единый сложный организм. Мы начинаем свыкаться с этим, а вот это товарищу Горелову сразу в глаза бросается. Да и на других участках. Землю вывозить — машин нет. Машины есть, выделены трестом — делать нечего. Кто же должен заняться увязыванием наших работ? Прежде всего — управление треста, так я думаю.

Громов сел, вытирая выступивший на лбу пот, большим белым платком. Стояла такая напряженная тишина, что было слышно, как тяжело дышал Одинцов.

— Что ж, пока во всем виноват управляющий. Я то есть, — сказал он, нехотя улыбаясь и искоса поглядывая на Громова. — Да, во всех неудачах. Получается, что строит не каменщик, плотник, землекоп и этими людьми руководят не начальники участков, то есть вы, а все строит Одинцов. Разве это так, товарищи?

— Конечно, не так, Василий Николаевич, — сказал с места Никитин, поднимая голову.

— Вот я тоже говорю, что не так, — сказал Одинцов. — Договаривайте, товарищ Никитин.

Никитин встал в полуоборот к Одинцову и, погля-

дывая прищуренными глазами поверх сидевших перед ним людей, начал, не торопясь, рассказывать то, что его волновало.

— Не так и так, Василий Николаевич. Не так, потому что было бы смешно отрицать то, что известно с незапамятных времен: строят, то есть укладывают кирпич, обтесывают бревна, вынимают землю, люди. И за их труд, за целесообразность его отвечаем мы все — начальники участков.

— Вот именно, товарищ Никитин, — закивал головой и торжествующе обвел глазами присутствующих Одинцов.

— И тут никакой скидки нам не должно быть. Но надо иметь в виду и другое, — Никитин выговорил это отчетливо. Одинцов насторожился. — Все мы — одно целое. И так надо подходить к оценке нашей работы. А то посмотрите: участок, руководимый мною, выполняет задание на двадцать процентов. Это факт. Меня за это надо бы снять с работы, да и мне безмерно стыдно за такие показатели. А если посмотреть почему, то видно, что объекты, которые нам приходится строить, плохо обеспечиваются материалами. Бетона надо четырехста кубометров в неделю, а дают нам сто, досок дают двадцать вместо сотни кубометров. Машин для транспортировки материалов надо ежедневно пятнадцать, а выделяют пять. Как же можно в этих условиях ждать хороших результатов? Никак нельзя.

После того, как сел Никитин, говорили другие, и все сошлись на том, что управление строительством оторвано от участков, не знает их нужд и запросов, что самому Одинцову и всем, кто сидел в управлении, надо не только писать приказы, но и видеть глазами то, что делалось.

Одинцов слушал всё это молча и вписывал себе в книжку, изредка встряхивая черную автоматическую ручку. Когда закончились выступления, на складках мясистого лба Одинцова блестела испарина, как после только что выпитого горячего крепкого чая.

Горелов решил не говорить. Было сказано так много и так хорошо и к месту, что пережевывать всё это не имело смысла. Надо только теперь же организовать проверку того, как сказанное будет исправляться на местах. Нелегко приходилось Одинцову, нелегко!

---

## ЮГ-РЕКА

(Из новой книги)

\* \* \*

Спасибо тебе, Блуднóво,  
Деревня лесной глуши:  
Я много писал здесь снова,  
А это — хлеб для души.

Не мало в стране хороших  
Углов, — приезжай, гости! —  
Куда и добраться проще  
И сахар с собой не везти;

Есть Талицы-речки всюду  
И если не озеро — пруд,  
Повсюду рыбешку удят  
И уток и зайцев бьют;

Конечно, и для здоровья  
Места благодатней есть...  
Но вырос-то я в Блуднове,  
С землей породнился здесь.

Здесь хата моя не с краю.  
Я с детства  
Не как-нибудь  
Тут каждую душу знаю  
И чувствую, —  
В этом суть.

Зимою — по снежным завалам,  
Весною — по грязи вброд  
Кидает меня пешедралом  
На свер из года в год.

И пусть иногда сурово  
Встречает родная изба,  
Я тутошний,  
Из Блуднова, —  
И это моя судьба.

\* \* \*

Все к лучшему.  
В колхоз доставлен хлеб  
И выдан денежный аванс по книжкам;  
Стрекочет в праздник кинопередвижка;  
Растет, как прежде, спрос на ширпотреб.

Пришли бульдозеры в разгар весны  
Торф добывать, —  
Давно бы догадаться!  
Теперь и наши земли возродятся, —  
Они еще с войны истощены.

Уже и пилорама на ходу:  
Двор обновим,  
Свинарники достроим  
И, надо думать, в этом же году  
Кой у кого хоромы перекроем.

Из МТС два трактора берем.  
Все в долг пока,  
Но льны такие зреют,  
И столько трав,  
Что люди не робеют:  
За все заплатим молоком и льном,

На радостях — гулянье и шанга —  
Так здесь зовут картофельную брагу.  
Шанга не пиво,  
Но сбивает с шагу  
И так же заливает берега.

И я опять готов писать стихи.  
Все к лучшему.  
Лишь меньше силы стало:  
Не пью шангу, как пиво пил, бывало,  
Да ночью спать мешают петухи.

\* \* \*

Всполошились над лесом воробы,  
Разгласили окрест:  
«Все! Все!  
Мол, разлегся в бору зеленом  
Человек — не поймешь зачем.

Вздоражены криком тревожным  
Навещать стали звери меня.  
Даже лис, на что осторожный,  
Тоже выглянул из-за пня.

Невпопад, как из сказочной пущи,  
На лосенка похож,  
Со всех ног  
Налетел на меня заблудший  
Мокрогубый чей-то телок.

Любознательна до смешного  
Белка цокнула над головой:  
Ну, разлегся, и что ж такого?  
Может, здесь и жизнь для него.

Впрямь — живу!  
О вчерашнем, зряшном  
Позабыл в родной стороне.  
Значит, я не такой уж страшный,  
Если звери идут ко мне.

А вороны?  
Да ну их к богу!  
Я ж в своем, не в чужом бору,  
Пусть кричат, поднимают тревогу —  
Я от этого не умру.

---

## СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Быть может, это и не модно,  
Но у людей, как у людей,  
Они хранятся на комодах —  
Тома истории семей.

Люблю семейные альбомы,  
Там со страниц на мир глядят  
По линии мужской знакомо  
Три поколения солдат.

Все молодые, все похожи.  
Пусть новый день шумит вокруг!  
Там дед не старше, не моложе,  
Точь-в-точь совсем такой, как внук.

Что смотрит с пристальной отвагой,  
Сфотографирован на днях,  
На фоне полкового стяга,  
Семьи надежда и броня.

А дед, в шинели серой длинной,  
Оперся на эфес рукой,  
Как будто богатырь былинный  
В высоком шлеме со звездой.

Глядишь и, кажется, с налета  
В огонь, в степные ковыли  
Тачанка в громе пулемета  
Опять летит на край земли.

И он на ней, лихой и юный,  
И знамя плещет у щеки,  
И клич: Да здравствует коммуна!  
Гремит на все материки.

А там на деда так похожий,  
Как будто дед не постарел,  
Сын, и не старше, не моложе —  
Все так же молод, прям и смел.

Знакома мне его дорога,  
Ведь в сорок первом в ранний час  
Труба, сыгравшая тревогу,  
В ружье подняла вместе нас.

И на четыре года с лишним  
Ушел солдат в огонь и гром,  
Я знал о нем не понаслышке  
Под Мгой, под Курском и Орлом...

Лет грозных жаркая зарница,  
Она одна на все года,  
Горит, горит на всех страницах  
Пятиконечная звезда.

И ты сидишь, альбом листая,  
Как будто трогаешь рукой  
Огни костров и даль без края —  
Историю земли родной.



## ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

В земле по грудь под Ленинградом  
Шестнадцать лет тому назад  
Под пулей, бомбой и снарядом  
Стоял у Лигова солдат.

По вражьи́м выкладкам беспорным,  
Он трижды был в тот день убит,  
И уцелевшим танкам в город  
Был сходу путь прямой открыт.  
С крестом на башне, с пушкой—в душу,  
Пошел, как будто на парад,  
До моря потрясая сушу,  
Немецкий танк на Ленинград.  
А самых храбрых нету рядом:  
Они еще с утра легли...  
Солдат окину долгим взглядом  
Огонь небес в дыму земли.  
Резерв последний полководца,  
Один из роты рядовой,  
Как в гимне партии поется:  
«Ни бог, ни царь и ни герой», —  
Он встал на бруствере траншеи,  
Зажав гранату в кулаке,  
О молодости не жалея,  
В разбитом дачном городке.  
Ударил столб огня под траки,  
И захлебнулся на камнях  
Вал бронированной атаки  
От Ленинграда в трех шагах.  
Примолк железный гул орудий...  
Пилоткой пот отер солдат...  
А мир считал — случилось чудо  
Шестнадцать лет тому назад.  
И кто он был, никто не знает,  
Не заявил он сам о том,  
Но только в сорок пятом в мае  
О нем гремел победы гром.  
И слава ходит по Союзу,  
И подвиг этот не забыт,  
А сам солдат пока не узнан,  
Никем в народе не открыт.  
Он жив, он с нами рядом, вот он,  
И он сейчас наверняка  
В трамвае ездит на работу,  
Пьет в праздник пиво у ларька.

## ХЛЕБ

(Р а с с к а з)

### I

Закрыв осторожно дверь, Антон прошел в избу. Он не стал высекать огня, разделся в темноте. Проходя в закуток, где стояла кадка с водой, запнулся о чью-то ногу и шепотом выругался. В избе было жарко, пахло овчиной и конским потом. Запах конского пота исходил от хомута, поставленного для просушки к печке. Слышалось сопение ребятишек, спавших на полу, и шуршание тараканов.

Напившись, Антон прошел в угол, под полати, где нацупал деревянную кровать.

— Чего так поздно? — послышалось из угла.

Антон молча лег к жене под одеяло, а потом, повернувшись на бок, лицом к ней, прошептал:

— Слышь, Дарья, завтра хлеб забирать приедут.

— Кто приедет? — тревожно спросила та.

— Да эти, как их.. Ну, в общем всё подчистую из амбаров выметать будут.

— Батюшки, а как жить-то?

— Говорят, будто оставят самую малость, но я не верю... Не такое сейчас время... — ответил Антон, припоминая всё, что слышал в клубе, членом которого хотя он и не состоял, но на всех заседаниях присутствовал.

...Митька Слепухин, комбедовский председатель, положил на стол бумажку, пришедшую из волости. Бу-

мажка была с гербовой печатью, и за вечер она побывала в руках у каждого, кто сидел в избе, хотя читать ее мог только один Никола Косой, выучившийся грамоте у дьякона, уже будучи взрослым.

Подержал бумажку в руках и Антон. Он видел на ней только кружочки и палочки, цеплявшиеся друг за друга, да подпись, на конце которой, как паучьи усы, в разные стороны расплзлись две линии.

Печать на бумажке была большая и жирная.

Разное говорили мужики. Одни утверждали, что бумажка не настоящая, что ее кто-то подослал, чтобы попутать, потому что мужика без хлеба советская власть не оставит, другие полагали, что в волости уже наверное сидят белые и эта бумажка от них.

Антон говорил мало, а больше слушал.

Уходя, он понял только одно, что завтра в Кремневку приедут какие-то люди и будут забирать хлеб. Хлеба у Антона пудов двадцать. С шестью ртами можно растянуть до сенокоса, а там...

Нелегко жилось Антону. Земля вытягивала жилы, а все равно досыта не кормила. Раньше мало ее было — плохо жилось, а сейчас больше, а жизнь не улучшилась, потому что обрабатывал Антон земли столько же, сколько и раньше — не хватало сил. Трудно вести хозяйство одному, без помощника. А сын уже шестой год на войне. Сначала была германская, а потом гражданская. Говорят, что он в Красной Армии, значит за лучшую жизнь воюет, а где оно улучшение-то? Последние крохи хотят забирать.

— Как быть, Дарья?

Антон сел на кровати и свернул цыгарку.

Жена не ответила, и по тому, как часто она сморкалась в подол рубахи, он заключил, что она плачет.

Молча выкурив цыгарку, Антон сунул ноги в валенки, стоявшие у кровати, и вышел в сени.

Заслышав хозяина, тихо заржал Рыжко. В нос ударил привычный запах сена и свежего конского навоза. С минуту Антон постоял в сенях, слушая свист ветра на чердаке, затем отодвинул засов и вышел на крыльцо.

Ветер бросил за ворот горсть снежной пыли и мокрой холодной лапой приложился к животу в том месте, где была на рубахе дыра.

— Здорово метет! — сказал он, наконец, и вернулся в избу.

Опершись на край кровати руками, он наклонился к Дарье и прошептал:

— А что если рожь-то в Подполище спрятать? Сена там немного осталось, прикрыть можно будет...

— Как знаешь, — ответила Дарья.

Они быстро оделись и ушли в амбар нагрести мешки.

## II

Утром чуть свет мужики снова собрались в Митькиной избе. Разговаривали негромко, много курили.

Сам Митька в домотканной рубахе сидел на передней лавке, поглаживая рукой черненькую бородку. Он часто поворачивался к окну и смотрел на Кобылью Гору, откуда должны были показаться незнакомые люди.

Пришел к мужикам и Спирия Рубищев. Одет он был сегодня необычно: на нем были старые, как у всех, валенки и рыжий латаный полушубок. Раньше он приходил к мужикам на посиделки в новом казакине и в сапогах.

— Доброго здоровья, народ честной, — проговорил он, сначала усердно перекрестившись на темную икону, висевшую в углу.

С приходом Спири разговор сломался и наступило молчание.

— Как здоровье хозяйки, Митрий Матвеевич? — с заискивающей улыбкой спросил Спирия.

— Ничего, вроде бы полегчало трохи, — удивленный таким величанием ответил Митька.

Никто и никогда не называл его Митрием Матвеевичем, а тут — на тебе — сам Спирия назвал.

От природы Митька Слепухин робок и застенчив. Из всей деревни он был, пожалуй, самый бедный. Его жена через каждые два года рожала ему по девке, а на девок земли не давали. Мужиков было двое: он, да старый чахоточный тесть, который в поле не работал и уже пятый год лежал на печи. А недавно заболела жена тяжелой женской болезнью.

Вот и получилось, что на земле, которой в пору было прокормить двоих, кормились восемь человек.

Поэтому, когда решали, кого избрать председателем комбеда, мужики назвали Митьку. К бедняцкому делу человек должен быть приставлен соответственный.

Избрали его недавно — вчера пришла первая бумажка на его имя. Она его пугала не меньше, чем и других. Хлеба в амбаре остались сущие пустяки.

Был в деревне богатый мужик — Спирия. Он держал восемь коров и три лошади. Земли у него было много своей, да к тому еще ему удалось оттягать землю у брата, который постоянно в деревне не находился, а работал где-то на отхожих промыслах. Почти все деревенские мужики были должны Спирие — кто хлеб, а кто деньги.

Спирия расстегнул полушубок и достал кисет. Слюнявя газетный обрывок, он изучающе посматривал то на одного, то на другого.

— Чего пригорюнились, мужики? Всё про хлеб печалитесь? — спросил он, пустив струйку сизого дыма.

— А чего о нем печалиться, коли его нет, — ответил за всех Антон, тоже вытягивая кисет. «И откуда узнал про бумажку? — удивился он. — Пронырлив, черт, всё разнюхал».

— Дак я тоже говорю — бояться нам нечего. Чего с нас возьмешь?

— Тебе, конечно, нечего. У тебя его хватит на двадцать лет, — сказал Никола Косой. Он перед Спирей шапки не ломал и был единственным мужиком в деревне, который никогда ничего не брал у него. Месяцами питалась его семья одной картошкой, а занимать он все-таки не шел. Такой уж был Никола.

— Да где у меня хлеб-то? Сами знаете, что рожь в этом году не уродилась. — Спирия заерзал на лавке, стараясь найти взглядом у кого-нибудь поддержку.

— Толкуй, знаем, — не отступался Никола.

Спирия потемнел, в разговор больше не вмешивался и вскоре ушел. Мужики просидели долго и разошлись только перед вечером, так и не дождавшись приезжих людей.

«Видно и в самом деле бумажка-то не настоящая», — сказал кто-то.

Антон весь вечер с тревогой думал о трех мешках ржи, спрятанных в Подполище.

С Дарьей не разговаривал, был зол и мрачен, под-

вернувшемуся Гришке ни за что дал подзатыльника. Тот завыл и полез на печь, а вслед за ним и Ванятка. Дашутка и Марья тоже заревели и прижались к матери.

Никогда Антон не держал свой хлеб вдалеке от себя и сейчас боялся за его сохранность. Если люди не найдут, то собаки могут разорвать мешки, и рожь высыплется в снег.

Нет, не на столько богат Антон, чтобы бросать хлеб. Привезти обратно? Из амбара заберут...

Лег спать. Да где там — заснешь разве...

### III

На другой день Антон, побродив по деревне, вернулся домой, съедаемый тоской по мешкам с рожью.

Молча посидев на крыльце, он вывел на улицу Рыжка и стал его запрягать в сани.

Мерин послушно просунул голову в хомут.

— Худой ты стал, Рыжко, — жалостливо проговорил Антон, пристегивая вожжи. — Да и то сказать: устарел...

Рыжко был отцовский. Он еще жеребенком вместе с деревянной кроватью достался при разделе. «Овса бы тебе», — продолжая разглядывать лошадь, рассуждал Антон. — «Оно бы, глядишь, и тельце появилось».

В деревне повстречался Спирия Рубищев.

— Ты куда, раб божий? — спросил он у Антона.

— Сена пуда три в Подполище осталось. Надо привезти, а то заметет, потом не найдешь.

— Привези, привези.

Неожиданно Спирия наклонился к уху Антона и, озираясь, прошептал:

— Приедут эти, так все стоять на одном будем — нету, мол, хлеба и разговор весь. А в случае, если силком полезут, так вот...

Спирия сжал кулак.

Выпрямившись, он громко проговорил:

— С богом, Антонушка. Метет-то как!

Антон, ничего не сказав, стегнул Рыжка и поехал.

На душе от встречи со Спирией остался нехороший осадок. «Попадется эта собака — не жди никогда удачи. Каждый раз так», — думал он. Ехидная усмешка

на губах, розовевших среди густой рыжей бороды, была Антону хорошо знакома.

Не знал Антон, что Спирия в ту же ночь тоже прятал хлеб и, проходя по деревне, чтобы удостовериться, спит ли народ, видел его, когда он возвращался из Подполицы.

Положив на сани мешки, Антон прикрыл их остатками сена и тронулся обратно. Не доехав до проезжей дороги метров двести, он увидел, что с Кобыльей горы спускаются две лошади, запряженные в розвальни.

Екнуло сердце, Антон подстегнул Рыжка, но тот шагу не прибавил, а только махнул хвостом.

«Не успеть раньше выехать на дорогу», — с тревогой подумал он.

— Рыжко, родной, ну, давай!

Ему удалось заставить Рыжка бежать, и он все-таки первым выехал на дорогу. Но тут лопнула веревка, опутывавшая воз, и на дорогу вывалился один мешок.

Антон спрыгнул с воза, торопливо положил его обратно и что есть духу погнал лошадей.

— Стой! — послышалось сзади. — Стой, говорят! У самой деревни Рыжко встал и, как его Антон ни бил, с места больше не трогался.

— Кто таков? — сзади саней встал усатый мужик в солдатской шинели, подпоясанной кушаком, а вскоре к нему подошли еще трое, в простой мужицкой одежде.

Антон молчал, с ненавистью поглядывая на Рыжка, впалые бока которого тяжело поднимались и опускались.

— Куда ездил?

— Не видите что ли? За сеном, — отвечал Антон.

— За сеном, говоришь? А это что? — мужик в шинели наклонился над возом и, спихнув сено, указал на мешок. Хлебец прячешь, кулацкая твоя душа?! Как фамилия?

— А на что тебе она, моя фамилия? — Антон, сгорбившись, сидел на возу, вертя в руках березовую рукоятку кнута.

Неожиданно из-за угла вывернулся Спирия.

— Антон Понурич прозывается он у нас, Антон Понурич. Здравствуйте, дорогие товарищи! — и он по-

дал руку сначала мужчине в шинели, а затем остальным троим.

— А хлебец он, точно, прятал. Собственными глазами видел.

— Гражданин Понури́н, мы у вас отбираем зерно, — сказал усатый в шинели, а вы, гражданин, как вас? — обратился он к Спи́ре.

— Спиридон Рубищев, — угодливо сообщил Спи́ря.

— А вы, гражданин Рубищев, будете свидетелем. Ясно?

Усатый дал команду своим товарищам, и те подошли к саням, чтобы взять мешки и перенести их к себе.

— Не трожь! — вдруг крикнул Анто́н и уцепился за мешки.

Спи́ря бросился помогать мужикам, и это окончательно взорвало Анто́на.

Он размахнулся рукояткой кнута и занес над головой Спи́ри, но тот увернулся, и удар пришелся по лицу усатого.

Все замолкли. Анто́н со страхом смотрел на усатого, не в силах произнести ни слова.

— Так, так, — проговорил усатый, растирая рукавом шинели вскочивший на лбу синяк. — А ты знаешь, что за это полагается? Три-бу-нал!

— Не хотел я тебя, истинный бог — не хотел, — вдруг заговорил Анто́н. — Я вот этого гада ползучего хотел, — и он указал рукояткой кнута на Спи́рю.

— Берите мешок! Чего стоите? — крикнул усатый.

Мужики снова было взялись за мешки, но Анто́н стегнул Ры́жка.

— Не лезьте уж, я сам... Куда везти-то?

— К Митрию Слепухину. Где он живет?.. — спросил усатый у Спи́ри.

— А зачем к нему? Может, у меня остановитесь? Чайку согреем с дорожки, — засуетился Спи́ря.

— Я сказал — к Слепухину! — рассердился усатый и легонько толкнул Спи́рю. — Веди.

Ры́жко тронулся, тяжело переставляя негибающиеся ноги.

У Митькиной избы было полно народа. Мужики с удивлением и страхом смотрели на Анто́на, а он, не поднимая на них глаз, молча свалил мешки у крыльца и поехал домой.

#### IV

Усатый, в сопровождении приехавших с ним мужиков, прошел в избу к Митьке.

— Здорово, председатель! — Голос у него густой, но надтреснутый, очевидно от постоянного пребывания на морозе. — Догоняев, член волисполкома, — проговорил он, подавая Митьке руку.

Митька шикнул на ораву девчонок, поставил единственную табуретку к столу.

— Доброго здоровья, присаживайся.

— Рассиживаться некогда. Сразу к делу приступим. Рассказывай как есть, а то я человек тут новый. Сколько хозяйств в деревне? — садясь на табуретку, говорил Догоняев.

— Двадцать три, — тоже присаживаясь к столу, ответил Митька.

— А кулацких?

— В нашей одно, а в соседнем три.

— А что, разве ваш комбед на две деревни?

— На две.

— Директиву из волости обсуждали?

— Было.

— Вопрос ясен?

— Кажись, ясен.

— Тогда пошли.

Выйдя на крыльцо, Догоняев снял шапку и обратился к мужикам.

— Товарищи, белогвардейцы жмут, и советская власть издала новый хлебный закон, потому как хлеб советской власти нужен вот так! — Он полоснул ребром ладони по горлу.

— Мы приехали сюда. Я, как член волисполкома и эти товарищи — члены продотряда (Догоняев показал на мужиков, приехавших с ним), чтобы совместно с вашим комитетом бедноты выявить излишки хлеба и организовать сдачу найденных излишек.

Мужики молчали, внимательно слушая оратора. В такую глухомань, как Кремневка, редко кто приезжал, и все события, происходившие в стороне, доходили сюда с большим опозданием. Сюда и советская власть пришла почти на полгода позже.

— При въезде в деревню мы тут поймали одного

кулачишку, который хотел спрятать хлеб от советской власти. Но вы сами видели, чем это кончилось.

По толпе прошел приглушенный шепот.

— Нешто советская власть закон такой издала, чтобы у мужика последний хлеб отбирать? — выступил вперед Никола Косой.

— Последний она не отбирает. На прокорм мужику она оставляет, а забирает то, что он может дать государству, да зажимает.

— Нету у нас таких! — с задних рядов выкрикнул Спиря Рубищев.

— А вот мы и посмотрим, есть такие или нет. У всех побываем. Прошу членов комитета бедноты подойти сюда для совещания.

Никола Косой и с ним еще трое мужиков неторопливо подошли к крыльцу.

Обход по дворам начали с Митьки.

Войдя в его амбар, Догоняев воткнул черенок лопаты в рассыпанный в сусеке ячмень и поднял взгляд на Митьку:

— И это всё?

— Нет, еще мешок ржи есть. Вот он.

С минуту Догоняев помолчал, а затем, снизив голос до полусшепота, выразительно произнес:

— Чего же вы мне голову морочите? Ведь тебе этим самому прожить дай бог месяца полтора со своей оравой. Бумагу вчера читали, а не поняли, о чем там написано. Вы не знаете, что такое продрозверстка? Это, товарищи, разверстка продовольствия. Вот, скажем, вы делите летом покосы: это тебе, это ему, а это мне. Так же и здесь: сколько тебе требуется на прожитву — это тебе, в всё сверх этого отдай государству. Потому, время сейчас такое, что иначе нельзя. Ведь вы же знаете всех своих, давайте пойдем к тем, у кого есть излишки. Скажем, к тому же Понуруну. У него наверняка еще где-нибудь припрятано. Надо его по всей строгости революционного закона прижать, чтобы другим не повадно было. Драться начал — налицо все кулацкие замашки. А это, — Догоняев указал на Антоновы мешки, видневшиеся из дверей амбара, — надо будет пока положить сюда, в амбар. После определим, куда его девать. Ведь мы часть изъятого хлеба будем раздавать особо нуждающимся.

— Товарищ уполномоченный, — несмело начал Митька. — Ты того... насчет Антона-то загнул малость. Никакой он не кулак, а такой же голыш, как и мы, грешные... У него сын в Красной Армии.

— Какого Антона?

— Да Понурина.

— А чего же он хлеб прячет?

— Так... Перепугались мы тут все. Думали, всё как есть, под метелку...

— Да вы что — газет тут вовсе не читаете, что ли? Тебе, как председателю, следовало бы знать, что такое продразверстка.

— Не учен я, где уж мне...

— Ну и темнота. — Догоняев покрутил головой. — Пойдем, что ли...

Мужики от крыльца не расходились. Между ними суетился Спирия Рубищев. «Чего же вы... говорили кольями встретим, а тут...»

Но мужики больше прислушивались к голосу Догоняева, доносившемуся из амбара, а на Спирию не обращали внимания.

## V

Вечером того дня, когда Антона поймали с хлебом, издох Рыжко.

В избе плакала Дарья, и ее завывание напоминало ему вой ветра в ту ночь, когда увозил в Подполицу мешки.

Два дня Антон не показывался на улицу. Сегодня из деревни прибежал возбужденный Гришка.

— У Спири в овине нашли мешки с пшеницей. Страх сколько мешков! Дядька из волости сказал, что этим хлебом можно прокормить не одну роту красноармейцев. Спирия сел на дорогу и давай орать на всю деревню: «Ограбили! Убили!» А Никола Косой подошел к нему и кулак к харе поднес: «Будя, говорит, орать-то! Отошла твоя пора, кровопивец». Народу около Спиринова дома — ужась!..

Молча слушая Гришуткин рассказ, Антон еще больше терзался. Выходит, что во всей деревне нашлись только двое: он да Спирия, которые прятали хлеб. А ведь Антон всю жизнь был ему должен. Спирия давал охотно, но с условием, кроме возврата зерна, отрабо-

тать ему еще в страду. Для отработки он выбирал самые лучшие дни. Потев на Спириной полосе, Антон с тоской смотрел на свою, нетронутую, и в сердце густела и крепла ненависть. Кончались хорошие дни, Спиря отпускал домой, но что толку? Время ушло, зерно осыпалось...

Уже с осени Антон знал, что своего хлеба далеко не хватит и опять брал его у Спири. Нужда не давала покоя ни на минуту. Постоянный страх перед голодом заставлял думать только о хлебе, и разве не этот же страх толкнул его метельной ночью вести мешки в Подполицу?

Время смутное, что творится — не поймешь. Царя спихнули, землю дали, а она лежит пустая. Как грызла нужда, так она и грызет. По-прежнему в деревне всех кормит Спиря Рубищев. Ему что, у него батраков двое, да и сыновья все дома.

...Под окном послышался скрип снега, кто-то постучал в замерзшее окно.

— Эй, хозяин, встречать выходи!

Не одевая шапки, Антон торопливо вышел на крыльцо.

Под окном стоял тот самый усатый, который поймал его с хлебом.

«Трибунал», — вдруг пронеслось в голове у Антона. Убитый горем, он как-то в эти дни забыл о том, что при встрече ударил его.

С улицы к дому сворачивала лошадь с возом мешков, на которых сидел Митька Слепухин. Сзади саней, привязанная за повод, шла еще лошадь, незапряженная.

— Вот, получай свой хлебец, — проговорил усатый, когда Митька, подъехав, остановился. И еще тебе три мешка пшеницы — это от комитета бедноты. А это вот — тоже тебе, — он указал на лошадь, стоявшую сзади саней. — Рубищеву хватит одной, а у тебя, говорят, Рыжко пропал.

Усатый бойко крутился на месте, то и дело улыбался, показывая белые, красивые зубы.

— Ну, чего стоишь? Принимай!

Антон не мог произнести ни слова, ноги его словно приросли к крыльцу.

— Комитет бедноты простил тебе твою револю-

ционную несознательность, а не следовало бы, потому — у тебя сын в Красной Армии, а ты здесь...

По лицу Антона протекли две слезинки и затерялись в бороде.

— Да ну тебя, — усатый махнул рукой, — проканителюмся мы тут с тобой. Сваливай, товарищ Слепухин, мешки, а я коня отвязжу...

---

## ПЕСНЯ О ДРУГЕ

*И. В. Шилову,  
колхозному кузнецу*

Мы с тобою, вспомнить если,  
Много соли съели вместе,  
Много вместе на веку  
Искурили табаку.  
А теперь леса меж нами.  
Я, брат, в городе живу,  
Занимаюсь пустыками,  
Сочинителем слыву.  
Но едва подсохнут лужи  
На дорогах, снова я  
По веленью старой дружбы  
В наши трогаюсь края.  
Любо в кузне мне просторной  
Вновь, прибыв издалека,  
Постоять с тобой у горна,  
Прикурить от уголька.  
Расстегнуть рубашки ворот  
И, загнувши рукава,  
Тяжело обрушить молот  
На металл и раз и два...  
Бить, не выступит покуда  
Пот горячий на спине!

... Я ль когда тебя забуду,  
Ты ль не вспомнишь обо мне?!

## I

Подле речки, там, где ивы  
Ловят в струях голавлей,  
Ты идешь неторопливо  
С полным кузовом углей.  
Сыплют ивовые ветки  
Рос тяжелых жемчуга.  
Ты идешь, ступая редко,  
Ноет правая нога.  
Снова вспомнилось болото...  
В сорок памятном году  
Там лежал ты с пулеметом  
В атакующем ряду.  
Взрывы черными кустами  
Вырастали на снегу.  
И, вспоткнувшись на бегу,  
Многие уже не встали...  
Ты же

бил неумоимо,  
Чудом целый и живой,  
Бил, пока рванула мина  
Над твоею головой.  
... Видно, те солдаты целить  
Были вправду мастера:  
Десять дырок в белом теле  
Насчитали доктора.  
Смерть тебя уже пытала.  
И, хотя ни с чем ушла, —  
Эта порция металла  
Не была тебе мала.

## II

... Подлечился — и в дорогу,  
К детям, к женке поспешил,  
И принес к ее порогу,  
Кроме праведной души,  
Два захватанных, бесплатных  
Деревянных костыля,  
Да шинель, да дух палатный  
От казенного белья.  
Ох, была нелегкой встреча...

Жгли махорку старики  
Да тужили... да весь вечер  
Женки плакали в платки.  
Детвора глазела с печки...  
И сидел ты — не герой,  
А всего солдат увечный  
Перед этой детворой.  
Что к чему — ребята знали!  
Убеди-ка их поди,  
Что герой ты, коль медали  
Не бряцают на груди.  
Спорить с этою ватагой  
Было попросту грешно...  
(Да, немало за отвагу  
Храбрецов награждено.  
Только, может, больше втрое —  
Ведь сраженье — не парад! —  
Незамеченных героев,  
Неполученных наград).  
Впрочем, нет, не о наградах  
Ты печалился в ту ночь.  
Шла война, и было надо  
Чем-то женщинам помочь.  
Так и этак толковали...  
Но клонили к одному:  
— Коли можешь, поковал бы...  
В поле ты нам ни к чему.  
— Что ж, — ответил, — ваша воля...  
Не болела бы нога... —  
А уж так хотелось в поле,  
В рожь высокую, в луга!

### III

Осень той години горькой  
Не забылась и сейчас.  
С деревянную подпоркой  
К наковальне в первый раз  
Ты пришел после болезни...  
Прислонил костыль к стене  
И споткнулся. Хлам железный  
Гулко лязгнул в тишине.  
Лязгнул,  
спутив, взвихрив мысли,

Лязгнул жестко, как затвор,  
Неожиданно, как выстрел,  
Выстрел, сделанный в упор.  
И напомнил бой в болоте  
Этот мирный кузни звук.  
И дрожащие к работе  
Потянулись руки вдруг.  
Руки белые —

отмыли

Сестры их в госпиталях,  
Руки добрые —

а были

Беспощадными в боях!  
Молот падал. Молот падал —  
Костыли стояли рядом —  
И летели искры прочь...  
Шла война. И было надо  
Чем-то Армии помочь.

#### IV

В поле снова посевная.  
Это значит — снова бой!  
Сторона моя родная,  
Вновь я встретился с тобой.  
Опьяненный ветром вешним —  
Здесь, вроде, и не здесь, —  
Тропкой в кузницу иду...  
— Дядя Ваня! Друг сердешный!  
С добрым утром! Честь труду!  
Мы, конечно, оба рады  
Новой встрече: минул год...  
Нам, пожалуй, сесть бы надо,  
Покурить...

Но у ворот

Трактор, в копоты, в автоле,  
Молчалив и зол на вид,  
Одинокой фарой в поле  
С нетерпением глядит.  
И пока его ты чинишь,  
Примеряешь там да тут,  
Словно низшие по чину,  
Кони очереди ждут.

## V

На деревню утром ранним  
Долетает с белых мхов  
Свадебное бормотанье  
Лирохвостых женихов.  
— Дядя Ваня, — говорю я, —  
Слышишь, вся земля гудит!.. —  
Сокрушаясь и горяя:  
— Слышу, паря — говорит.  
Намекаю осторожно:  
— Может, сбегает на ток...  
Он в ответ: — Оно бы можно...  
Сам о том грущу, браток.  
Знаю, срок настал, не рано.  
Да ведь как уйдешь? Дела...  
Да к тому же, паря, рана  
На ноге не зажила... —  
Я краснею перед другом  
И, смущен, молчу... Шабаш!  
И висит, набитый туго,  
Бесполезно патронташ.

## VI

Мужиков в деревне мало.  
Председателю беда,  
Как подступит к сеновалам  
Сенокосная страда.  
В ход пустить косилки надо, —  
Травы всюду высоки, —  
А кого пошлешь? В бригадах  
Пацаны да старики.  
Ну, а там, гляди, некстати  
Дождь пойдет — и сорван план.  
Хмурит брови председатель  
— Покосил бы ты, Иван...  
— Коли надо, что же... можно... —  
Говоришь ты. И с утра,  
Молоток сменив на вожжи,  
Выезжаешь в клевера.  
... Сколько пчел над полосой!  
Видно, ночь щедра была

И гектары не росую,  
А нектаром полила.  
Умываясь жарким потом,  
Косишь, радуясь... Но вот  
Вновь бежит на поле кто-то  
И кричит: — Кончай работу! —  
В кузню, стало быть зовет.

## VII

И опять над наковальней  
Ты вздымаешь молот свой,  
Ты — хотя не идеальный,  
Ну, а все-таки — герой!  
Лакировщикам в угоду  
Я бы мог сказать о том,  
Что ты пьешь одну лишь воду,  
Кипяченую притом.  
И что ты в ладу с культурой,  
И нередко в поздний час  
Засыпаешь над брошюрой,  
Благо их полно у нас.  
Ходишь в клуб с женою вместе  
То в кино, то на спектакль...  
Но бывает, коль по чести,  
Чаще все-таки не так...

## VIII

Ах, как день опять хорош!  
Стелют лен. Молотят рожь...  
На порожке кузни сидя,  
Я гляжу, как ты куешь.  
Вскинешь молот зло и быстро:  
— Г-ха — и влепишь по бруску.  
Словно пули, брызжут искры,  
Пот струится по виску.  
И летит от наковальни  
Вдаль и ввысь — под облака —  
Молодое кукованье  
Трудового молотка.  
Варят сталь мартены где-то...  
Где-то в космосе, похож

На далекую планету,  
Спутник мчит....

А ты куешь!

Где-то люди, суеслова,  
Начиняя ядом ложь,  
Бомбы новые готовят  
На тебя...

А ты куешь!

Руки — сильные на диво.  
Плечи — в сажень — широки...  
Ты куешь — и зреют нивы!  
Ты куешь — гудят станки!  
И покуда вот такие  
Кузнецы в России есть,  
Будет здравствовать Россия,  
Крепнуть, славиться и цвести!

---

## ОЛЬШИНКА ПРИДОРЖНАЯ

(Р а с с к а з)

— Журавли, никак, летят? Ну, так и есть! Один, два, три... семнадцать долгоногих. Перекликаются!

Григорий Петрович закрыл окно и, подвинувшись ближе к столу, взял стакан с чаем.

— Вот, улетают, — с грустью продолжал он. — Нужда заставляет. Где журавлю зимой прокормиться? Ни лягушонка, ни ягодки. Приходится улетать. Но уж весной, как по расписанию, тут будет! Родина позовет! Было б можно — не улетал бы совсем. Не то, что иной человек, особенно молодой: чуть его отец с матерью на ноги поставили — он за порог, да еще куда-нибудь за тридевять земель порхнуть норовит.

Юрка прекрасно понимал, на кого намекал отец, но помалкивал.

— Вот, дядя Коля, — повернулся Григорий Петрович к гостю. — Хочешь, расскажу о себе? Да ты стакан не отставляй, ешь в полный аппетит и слушай меня... Может, и у тебя такое было. До военной службы я далеко от дома не бывал, но в областном городе — приходилось, в Ленинград разок к тетке в гости ездил. Конечно, нравилось там, думалось — не плохо бы из деревни в город перебраться. Однако прикину и так, и этак — не выходит. Отец с матерью стары, братишки — молоды. Надо помогать семью поднимать. Стал трактористом. Потом военная служба. Во флоте

служил, мотористом на подводной лодке. Только кадровую закончил — война. Тут и начались мои путешествия. Всё рассказывать — толстую книгу написать можно. Сначала в Балтийском море пришлось соленого до слез хватить, потом перекинули на Север. Тоже весело было, особенно зимней порою. Частенько не в плаванье, а на берегу, в сопках, с автоматом да гранатами... Ну, говорю, все описать — большая книга. Да как-то не тосковал я тогда особо. Первое — не я один от родной деревни далеко. Второе — свою обязанность исполняю, тут, значит, не до тоски. Третье — некогда просто о деревне, о семье подумать было. А к той поре, как сам знаешь, у меня и своя уж семья была заведена, свое гнездо, вот здесь же. Как раз я перед войной женился. Вот таким побытом и идет месяц за месяцем. И ничего. Терплю, раз надо. И вдруг, формируют из нас порядочную команду, садимся мы на поезд и поехали. Куда, думаешь? На Дальний Восток! Тоже путешествие не маленькое, особенно в военные годы. Приехали, а нам еще лучше подносят — в Америку плыть, принимать там корабли, что американцы для нас тогда строили. И попали мы в чужую сторонку, к чужому языку. Нет, не скажу, что к нам худо относились. Мы же союзники, мы же своей кровью победу добываем, а нам, за наши денежки, они корабли продают. Ну, ладно, это политика, и я не об ней сейчас разговор веду, об этом после чая потолкуем. Я о другом. Об ольшинке. Ну, которая при любой нашей русской дороге растет. И пыль на нее с дороги летит, и щипнет ее всякая проходящая коза либо корова, и ломают ее все, кому не лень — либо палочка нужна подпереться в пути, либо запросто так. Вот, живем мы в Америке, свое дело делаем. А попали мы в южную часть страны — там и пальмы, и всякие деревья, и море синее-пресинее, ну даже не сказать какое. А мне, как спать лягу, одно и то же каждую ночь снится — ольшинка придорожная! Ни дом родной, ни река своя, ни лес какой-нибудь, а просто та дорога, по которой на войну уходил, и те ольшинки, что по обочинам дороги стоят, пылятся...

Пока мы там корабли принимали и к своим берегам плыли, пока с самураями разбирались — мне опять скучать некогда было. И вдруг — победа! Конец

войне. Ждем увольнения. Это, как в песне старой солдатской пелось: «Вдруг приходит к нам приказ, году нашему в запас...»

— «Году нашему домой, по дорожке столбовой», — закончил дядя Коля басом.

— Вот-вот, оно самое! Пришел этот приказ. Мы опять по вагонам — и в путь. Ехали, ехали — приехали!.. На пристани жена меня встречает. Выбрались из поселка — и вот она, та дорога, что мне в Америке снилась... Ольшинки стоят, по листочкам ветерок бежит, качает их... Соскочил я с телеги, перепрыгнул канаву, обнял одну, кричу: «Здравствуй, землячка родимая!» А сам плачу, понимаешь?..

— Я тогда удивилась, — вмешалась Татьяна Владимировна, улыбаясь. — Что такое, думаю, с Гришей? Не пьяный, кажется, и вдруг — ольшинку обнимает...

Все замолкли, словно что-то припоминая. Юрка то ропливо допил стакан и встал из-за стола. Ну, что отец про ольшинку рассказывает? После таких передыг и она самым милым деревом покажется, ясно... А что особенного хочет сделать Юрий? Ничего, просто сговорился с друзьями уйти на работу в областной город, на завод — и всё. Далеко ли он уедет? Всего-то за две сотни километров. Своя же область. Вот только бы с Валентиной ему договориться...

А Валентина словно ждала, что Юрию надо всерьез поговорить с нею. Встретилась в проулке. В ватной фуфаечке, осыпанной мякиной и колосками; пшеничные колосья и в платке, и в волосах Валентины, таких же светлых, как эти колосья.

— Значит, надумал уезжать? — напрямик спросила она Юрия.

— Да, еду! Хватит мне здесь сидеть.

— Ты не без дела сидел. Тракторист.

— Ну и что из этого? Я и нигде без дела не просижу. Как приеду, так сразу отдельную комнату буду просить. В общем... знаешь что, Валя... Давай распишемся на этих днях. Ведь всё равно все знают. Только и ждут, когда мы свадьбу сыграем. А после свадьбы я и поеду... Документ будет, что жена есть... Комнату дадут, и ты приедешь...

— А если тебе три года комнаты не дадут? Тогда как? Мне тут немужней женой жить?

— Ну, частную квартиру найдем. Находят другие!

— Вот, что, Юра, давай на прямогу. Насчет свадьбы — это одна песня, а вот как нам жить потом — другая. На свадьбе — попили, поплясали, да и всё? А мы с тобой хотим жизнь вместе прожить. Ты так просто рассуждаешь, словно в дурачки приглашаешь сыграть. Понимаешь ты это, или нет?

— Валя!

— Валя была — Валеи и останусь! Твое твердое слово — и мое твердое: не поеду! Понял? У тебя здесь отец и мать остаются, а у меня одна мать, да и та больная. А еще двух сестренок доучивать надо. Куда они без меня?

— Мы им деньги посылать будем.

— Маме не деньги нужны, а я. Мое слово каменное, ты меня знаешь. По чужим местам, по баракам мотаться, когда и дома дела невпроворот — нет, этого от меня не жди. Ищи какую попроще!

— И мое слово каменное: еду завтра и всё тут! Как устроюсь — напишу.

— И читать не буду! Ну, мне с тобой некогда попусту языком молоть! Если что еще надумаешь, вечером скажешь. — И шмыгнула в калитку своего дома.

\* \* \*

Юрий вернулся домой уже после полночи. По тому, что он не полез в печь за ужином, который обычно оставлялся ему там, а торопливо разделся и улегся на кровать, Григорий Петрович понял, что парень чем-то расстроен. Но расспрашивать о причинах этого не стал, спросил о другом:

— Значит, завтра едешь?

— Еду, папа, — ответил Юрий.

И хоть ответ был весьма кратким, но Григорий Петрович уловил в нем то, что сразу успокоило его. Никуда не денется Юрий, никуда. Ну, может, чтобы показать, что он на слове твердый, до города доберется, но... вернется.

Сонно постукивали часы. Прошел грузовик, осветил на миг зеленоватым неживым светом своих фар стены комнаты, на тяжелую поступь машины нежным звоном отозвались стаканы в шкафу.

А Юрий не спал. Он думал о своей ольшинке...

## ОТШЕЛЬНИК С ВЕЛЬБЫ

(Р а с с к а з)

— Пройдешь ли ты, парень в Тимонино через Вельбу? Сомневаюсь! У нас из деревни и то не каждый тропу знает. Ну, раз так настаиваешь да наши места полюбовать хочешь — иди, дело летнее. И ночевать в лесу у костра, знаю, не боишься. А не собьешься с тропы — на речке Вельбе кордон есть. Лесник там, Федоров. У него и переночуешь. Я тебе записку дам, на всякий случай... А то он чужих в лесу не уважает... Живо в сельсовет доставит...

Ох уж эти лесные тропинки! Не раз удивисься: да куда же она подевалась? Ведь была всё время под ногами и вдруг исчезла. Ищи ее не сердясь и не торопясь. Вынырнет на другом конце поляны и поведет тебя опять в лесную глухомань!

И все-таки, без особых приключений, я выбрался к Вельбе, а увидев на ее берегу избушку лесника, совсем обрадовался. Погода к этому времени испортилась, заморосил дождь и ночлег под крышей был куда приятнее, чем под елкой у огонька...

Лесник, человек пожилой, обтесывал у крыльца колья. Отозвав свистом двух здоровенных лаек, бросившихся на меня, он коротко ответил на мое приветствие и равнодушно продолжал свое дело. Я присел на чурку, закурил и стал тоже по возможности равнодушной, рассматривать узкую речную долину, болотистые берега Вельбы и темные сосновые боры за нею. Но я чувствовал, что лесник молча изучает меня.

— Издалека ли и куда? — отрывисто спросил он, отбрасывая последний колышек.

Я подал ему записку председателя колхоза.

— По какому же делу сюда забрели? — спросил он, кончив чтение.

Я ответил.

Выслушав меня, лесник сказал:

— Ну что ж, пойдете в избу. Дождь сегодня невеселый, да к утру кончится...

— Почему так думаете?

— Скоро закат, а ветер заигрывать начал. Сломит погоду к утру.

В избе было чисто и тепло, но сразу было видно, что лесник живет одиноко: не чувствовалось женской руки. Ни занавесок на окнах, ни половичков. Но пол был подметен и недавно вымыт, еще не успел просохнуть.

К моему удивлению, у лесника в печи оказался хороший обед, а к чаю он принес блюдо с булочками.

— Кто это вам печет, Иван Федорович? — спросил я.

— Сам кухарничаю. Жена еще с весны к ребятам уехала, под осень только вернется, поди...

— Значит, зиму вдвоем живете?

— Раньше жили, а теперь она осень только здесь побудет, свои порядки наведет: ну, бельишко починит, ягод наберет, грибов — и опять к ребятам. Скучновато ей теперь здесь жить. Пока ребяташки были, так и хозяйство держали. А теперь оно мне ни к чему. Зовут дети к себе, а я в города не хочу ехать. Живу один. Привык... Лет-то мне не так еще много, шестьдесят третий. На пенсию можно, а что я с ней буду делать? Работу, пока ноги ходят, руки гнутся, я не брошу. Я тут и родился на этом кордоне. Родитель тоже лесником был.

Он поправил огонь в лампочке-десятилинейке, прислушался к шуму дождя и леса — ветер разгулялся не на шутку — и встал:

— За водой надо сходить, пока совсем не стемнело, да дров занести. А вы ложитесь на кровать. У меня клопов нет, уснете спокойно.

— А вы где ляжете?

— У меня ночлег в сенях, в пологе. Душно мне в избе.

Пока он занимался хозяйскими делами, я подробнее осмотрел лесное жилье. В переднем углу рядом с семейными фотографиями висели под стеклом в красной рамке два ордена Красного Знамени и боевые медали. «Наверно, сыновей», — подумал я. На угловом столике лежали книги: старые школьные учебники, тоже, наверно, оставшиеся от детей, томик Некрасова, «Разгром» Фадеева, толстый том сочинений известного русского лесоведа Морозова, «Маугли» Киплинга. Рядом стопка газет.

— Половина одиннадцатого, — сказал Федоров,

возвратившись. — Рвутся облака, разгуливается погода. Надо новости послушать. — Он наклонился над другим столиком, накрытым пестрой салфеткой и... заговорил радиоприемник.

— Берегу питание, — объяснил лесник, присаживаясь на лавку. — Придешь в село — нет его в продаже, а когда привезут — до меня продадут...

Последние новости он выслушал внимательно, не прорснив слова. Потом выключил приемник и стал прибирать на столе.

— Ордена эти, — кивнул я на рамку, — ваши?

— Мои. Первый еще в гражданскую получен. На Южном фронте. Второй — в эту. Медали тоже.

— Возраст-то у вас такой... Как же вы на фронте оказались?

— А я добровольцем. Здоровье хорошее, а годы ни при чем. Ну, ложитесь.

Я погасил свет. Далеко где-то скрипел дергач — к ясному утру; чуть ли не под окном, в тростниках, попискивали утята...

\* \* \*

Проснулся я не рано, умотала вчерашняя тропа. Дверь в сени была открыта, и я хорошо слышал разговор — кто-то еще навестил лесника. Разговор шел пустяковый — о том, что какой-то Сенька Тутаев украл колхозные вожжи, а потом взял в колхозе подводу и, запрягая у своего дома, позабылся и эти же вожжи в дело пустил.

Пришедший, видимо, только еще готовился к настоящему разговору, а пока сыпал и сыпал словами. Лесник только гмыкал и поддакивал. Среди деревенского люда так не ведется — взять да и выпалить сразу, зачем пришел.

Но, высыпав ворох новостей, гость наконец добрался и до сути дела.

— На твоём бы месте, Иван Федорыч, я не стал бы тут, как леший какой, в одиночестве сидеть. Да тут одному с ума сойти можно! Не, не стал бы! Никак, озолоти меня с ног до головы! Как ты только терпишь?

— Терплю!

— Ну, еще семья при себе была бы, хозяйство. А так — разве житье!

- Мне и так ладно.
- Вот ты какой! Ну, чтобы к сынам уехал или к дочке... Ведь зовут наверно?
- Зовут.
- Ну, вот, видишь? В городе — культура! Туда-сюда сходить можно. И в кино, и в пивную.
- Это так.
- И подработать можно. Ты же и столяр хороший, и плотник.
- А мне и без этого денег хватает.
- Конечно, если по-твоему. Только скучно, говорю.
- При деле скучно не бывает.
- Это верно! Ну, а все-таки годы у тебя. Пенсия бы пошла. Живи на народе и радуйся, внучат качай. У одного сына надоело — катай к другому. Красота! В крайнем случае, нашел квартирку, живи со старушкой. А денег мало — требуй с сыновей, с дочки. Они хорошо зарабатывают.
- И я не хуже их. Сыт, обут, одет, при деле. Зачем мне ихние деньги?
- Прямо ты отшельник какой-то милостивый. В старину такие бывали.
- Дураки были эти отшельники. Лодыри! Богу молились, а от людей кормились.
- Хе-хе-хе! Сказанул! Нет, верно, бросил бы свою работу. Пора! Я к тебе по делу. Сидел дома и надумал: схожу в Ивану Федоровичу, побеседую.
- Ну?
- Побеседую, говорю. Что, думаю, наверно, старик давно бы с работы на пенсию ушел, к деткам бы уехал, да кто сменит его на дальнем кордоне? Кто в такую глухомань пойдет? Пойти, думаю, разве мне? Дело нехитрое. А у меня семьяшка, коровенка, овцы, куры. Сенца бы я тут накопил, огородик разработал бы. Ишь, у тебя прежняя огородина кустами зарастает.
- Ну и что?
- Вот и говорю: сменю Ивана Федоровича...
- Из кладовщиков-то тебя в колхозе поперли?
- Скажешь тоже... Сам ушел. Канительное дело, учет сложный.
- Не ври — прогнали! К себе у тебя руки гнутся. В селе был — рассказывали...

— Ей-богу, сам ушел! Мало ли чего наговорят!  
— Значит, теперь мне добро сделать хочешь?  
— Думаю, добро! И я бы в тишине пожил.  
— Всю бы рыбу в озерах выловил? Лосей бить бы стал!

— Иван Федорыч!

— Ты в моих руках сколько раз бывал? А теперь хочешь всю власть в лесу в свои лапы забрать? Что-бы вся твоя ширина и долина? Ты это и не думай.

— Зря ты это, Иван Федорыч, зря!

— Не зря! Пусти тебя сюда — ты на трех коров накосишь...

— У меня одна только.

— На двух коров на сторону продашь. Знаю я таких лесничков. Вон на Вардобое Варламов весь в тебя. Хапок-мужик!

— Иван Федорович! Да зря ты на меня сердишься! Поставил бы лучше самоварчик, мы бы за столом посидели. У меня половинка для разговору припасена.

— Не добавит ли и мою поллитровку? Вон у меня в кладовке стоит, еще с зимы не выпита.

— Ой и шутник! Да я бы, коли знал бы, что в дому моем поллитровка стоит, так глазами бы ее выпил!

— А я нет. Так, значит, на мое место хочешь?

— Тебя же выручить думаю.

— И не мечтай! На днях в село пойду, прямо так и скажу в лесничестве: коли придет к вам Макарович в лесники куда бы ни было проситься — не принимайте... Хапок!

— Чего ты ругаешься? Я с добром, а он...

— Правда — не ругань! А я отсюда не уйду. Вот когда унесут меня отсюда... Понятно?

— Несговорчивый ты мужик.

— Такой зародился.

— Значит, не согласен?

— Сказано!

Наступило молчание. Потом гость, видимо, поднялся:

— Ты, Иван Федорыч, как собака на сене. Сам не пользуешься и другим не даешь.

— А уж это как хочешь. Уходишь? А то обожди, у меня прохожий человек ночует. Сейчас я самовар на лагу, чаю попьем. Всё ж таки ты дорогу прошел.

— Какие тут чай! Кабы дело решено было, тогда...

— Тогда бы и пол-литра на стол? Так что ли?

— Конечно бы так. Соглашайся!

— Дешево покупаешь — домой не носишь. От чаю не отказывайся. Не люблю, когда от меня человек голодным уходит.

— Это верно. Да некогда мне за чаями сидеть. Никак, кто-то ночует у тебя? Кто такой? Вон кто! Знаю! По делу? Спит еще?

— Спит. Без дела только ты ко мне пришел, вот что!

— Сердитый ты мужик. Ты про наш разговор никому не передавай. Ладно?

— Сам проболтаешься. И так все в колхозе знают, что у тебя лыжи наострены от настоящей работы.

— Ах, как ты это несправедливо говоришь! Когда я от работы бегал?

— Всегда! Вот теперь, видишь, хуторок себе ищешь. Ну, коли чаю не хочешь — как хочешь. А мне гостя побудить надо....

— Всего доброго. Надумаешь уходить с работы — дай знать. Не сердись.

— Знать дам. Только не тебе...

— Тьфу!

\* \* \*

К вечеру, когда я выполнил намеченную работу, лесник вывел меня на давно заросший травую проселок.

— Километра три по нему пройдете — вот вам и большая дорога. А там, может, попутную автомашину найдете. Так-то скорее до райцентра доберетесь, чем обратнo тропами путаться, — наставлял меня Иван Федорович.

Мы присели покурить.

— Кто это к вам утром приходил? — спросил я лесника. Сам он за весь день и словом не обмолвился об утреннем госте.

— Так, один тут ловчило есть в недалеком колхозе. Ищет местечко потеплее.

— Колхоз этот я знаю. В нем хорошо живут, зажиточно.

— Те живут, которые работают. А Ленька Халпок — какой он колхозник? Только по названью.

— Неужели ему выгоднее лесником служить?

Иван Федорович старательно втоптал окурок в землю. Ответил не сразу:

— Как сказать? Лезут у нас нонче в лесники не настоящие люди. А все больше такие, как этот Ленька. Во-первых, он у людей не в приметности будет. Это — раз! Второе — зарплата у нас не так большая, но ежели другое посчитать — больше и не полагается. Тот же Ленька в лесу на свою корову накосит, да еще на продажу пудов сотню натюкает. Огород раскопает, а то еще и пшенички посеет. Дают лесникам и другую работу, кроме лесоохраны — посевы леса, прочистки, заготовки кое-какие. Тоже заработок.

Он опять замолчал, словно не решаясь высказать все до конца. Наконец, заговорил медленно, будто нехотя:

— Леснику по закону полагается браконьеров преследовать. Немало их еще у нас — и по дичи, и по зверю, и по рыбе. А такие, как Ленька, сами первые браконьеры. Будет ли он другим в этом поперечить? Нет!

Он встал, перекинул ружье за плечи:

— Вот что я скажу, товарищ дорогой. Не таких к лесу надо допускать, как этот Ленька. Лес беречь — святое дело! Тут, как на военной службе, присягу надо давать народу. А у нас еще так водится: только бы лесников нанять, а не глядят, что это за люди. Да сплошь и рядом лезут в лесники первые колхозные лодыри, вот такие халпки, как Ленька. Нет! Нельзя так! Нельзя! Ты лесник — ты солдат! Понятно? Ну, прощай пока!

И неторопливо пошел затравяневшим проселком — рослый, сутулый.

### КРУЖЕВА

Не мортиры,  
Что поля красмали,  
Не сигналы трубные к резне,  
Менуэты старого Версаля  
Мне порою слышатся во сне.

Кланяясь направо и налево  
Звонкому великолепью лат,  
Через сон  
Проходит королева  
По цветным паркетам амфилад.

А за ней —  
Роятся роем дамы,  
А на них,  
Белее молока,  
Нежные полотна Амстердама,  
Легкие китайские шелка.

Кто-то оторочил их полоской,  
Кружевами кто-то прошивал...

Далекó,  
В деревне вологодской  
Делались в ту пору кружева.

И еще мне снится :  
В холод лютый,  
Полушалком кутая лицо,  
Крепостная девушка Анюта  
Вышла на тесовое крыльцо.

Долго ей одной стоять в печали  
На морозе с мокрою щекой,  
Провожая взглядом и встречая  
Темные кибитки ямщиков.

И нельзя ей выйти на дорогу,  
За деревню, где дрожит лоза,  
Чтоб не заглянула, ненароком,  
Парню в бирюзовые глаза.

Всё равно не видеть тем глазам уж  
Ни любви, ни дружбы, ни родства :  
Кружевницы не выходят замуж,  
Барыня не любит «баловства».

Не ходить ей с мужем за озера,  
Васильков не дергать из борозд.  
А в награду  
Дивные узоры  
Ей одной покажет дед-Мороз.

Те узоры девка-вековуха  
Будет выплетать, пока жива,  
И засохнет девка, словно муха,  
Словно в паутине,  
В кружевах.

Я толкну тесовую калитку —  
Рубленые горницы за ней;  
Я беру из рук Анюты нитку  
И тяну ее до наших дней;  
Вот она легла уже на пяльцы,  
Только тоньше,  
Только побелей,  
И ее перебирают пальцы  
Милой современницы моей.

Что, в сравнении с подружкой,  
Гордая и бойкая, она  
Нынче наколола на подушку,  
Сидя у весеннего окна?

Белый голубь в кружеве парит ли,  
Или ей милее обрамлять,  
Вставшие в орнаментальном ритме  
Древние крепления Кремля?

Одарила Родина уменьем,  
Полюбила Родина, как дочь.

... Падают коклюшки на колени,  
А в окно заглядывает ночь.  
Я гляжу, как руки мастерицы  
Убирают бережно канву,  
И теперь уж это мне не снится,  
Потому что так и наяву.



### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Он долго вглядывался в наши лица,  
Потом надел солдатскую шинель  
И обещал с победой возвратиться  
Товарищам, соседям и жене.

Но в тот же год  
В заляпанном конверте,  
Моей соседке,  
В хижину мою  
Прислали извещение о смерти,  
Подробности о гибели в бою.

Мы прочитали их  
И будем помнить,  
Как на камнях, голых и сырых,  
Товарищ наш проход в каменоломню  
Оборонял один за семерых.

И как потом упал он в сизый ягель,  
В лохматый

Перепутавшийся мох.  
И дотянуться до заветной фляги  
Рукою обессиленной не мог.

Мы прочитали их в молчанье строгом,  
Внезапностью вестей поражены,  
И сын его  
Тогда впервые вздрогнул  
Под самым сердцем у его жены.

Она устало опустила плечи  
И, помнится, просила нас уйти.  
Вечерний дождик рóссыпью картечи  
Хлестнул в ее окошко и утих.

И было слышно через переборку,  
Как плакала жена его в ту ночь;  
А я не спал  
И всё курил махорку,  
Не зная, как утешить и помочь.

Но сизый дым моих ночных раздумий  
Был над ее кудрями невесом:  
Она забудет,  
Как он жил и умер,  
Она поплачет только обо всём.

И только нам,  
Склонявшимся устало  
Над золотыми искрами металла  
У верстака, станка и наждака,  
Нам всю войну его недоставало  
Парторга,  
Инженера,  
Вожака.

Мы вспоминали,  
Как широким шагом  
Он к нам пришел в пролеты этажей  
И сел, роняя галстук на бумагу,  
На синие рулоны чертежей.

Был трудный год.  
Тот год порой бередит

Мои воспоминания и сны.  
Горели жарче выструганной меди  
Оранжевые зори той весны.

Они над крышей корпуса покатоЙ  
Вставали, как зовущие плакаты,  
Но еле-еле мы тянулись в рост,  
Еще не зная, как поднять на скаты  
Ни вагонетку, ни электровоз.

Мы даже гайку самую простую,  
И ту крутили не с того конца,  
И глухо колотились вхолостую  
Трансмиссии,  
Моторы  
И сердца.

А он, иных не признавая правил,  
Бывало, сам резцы и сверла правил,  
Точил, фрезеровал и нарезал,  
И улыбались в роговой оправе  
Его почти зеленые глаза...

Нам всё казалось —  
Он вернется скоро,  
Святую жажду мести утоля,  
И зачуженный неуютный город  
Угрюмо обойдет на костылях...

Ведь он не знал,  
Что город был в пожаре —  
Его уж не застала эта весть;  
Он в детстве все сады его обшарил,  
Исколесил велосипедом весь...

Но он убит.  
Не верилось вначале.  
А время проходило день за днем.  
Лишь много лет спустя, однополчане,  
Как о герое,  
Вспомнили о нем.  
Лишь много лет спустя, и мы достали  
Его записки, письма, чертежи,  
И в рокоте листопркатной стали  
Он снова с нами мучился и жил.

Мы по его эскизам и заметкам  
Сверяли каждый кабель и виток,  
Когда в итоге прошлой пятилетки  
Пустили им задуманный поток,  
А в день, когда перерезали ленту,  
Закончив круг строительных забот,  
Он молча встал

На мрамор постамента  
И оглядел придирчиво завод,  
Завод, гудящий в напряженном пульсе  
У перепутья пройденных дорог,  
Где возмужал он  
И куда вернулся:

Он обещал.  
И обмануть не мог.

Оркестр ударил, дружен и неистов...  
Наверное, тогда и понял я,  
Что даже смерть сама для коммуниста  
Лишь новая ступенька бытия.

Он каждый день  
Теперь смотрит нам в лица,  
Ни перед кем не опуская глаз.  
И только он к жене не возвратится,  
Жена сама его не дождалась.

Она с одним из нас ушла из цеха,  
Ее никто ни в чем не упрекал,  
Хотя ей сын теперь — одна помеха,  
А мы всем цехом любим паренька.

По вечерам,  
Задумчивый, неловкий,  
Устав отцовским циркулем играть,  
Он грустит, бывает, и головку  
Положит на раскрытую тетрадь.

Зато какие видятся мне шири —  
Их не туманит детская слеза —  
Когда я загляжусь в его большие,  
В его почти зеленые глаза.

## ВОЛОГЖАНКА

Вологжанка прижилась на юге,  
Там, где нет ни сосен, ни берез.  
Только до сих пор ей снятся вьюги  
И колючий иней и мороз.

Каждый раз, когда сады в цветенье  
И заносит лепестки в дома,  
У землячки на душе смятенье:  
— Поглядите, прямо как зима!

Пусть прибой щелястый камень лижет.  
Серебром волна весь день горит.  
— Хорошо б теперь махнуть на лыжах! —  
Женщина кому-то говорит.

И вино, янтарное, густое,  
Что весь день не сходит со стола,  
Кажется ей клюквенным настоем,  
Тем, что еще девочкой пила.



## КОЛОКОЛЬНЯ НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Словно с нашей эпохою споря,  
И крепка и солидна на вид,  
Колокольня на Рыбинском море  
Со времен затопленья стоит.

В нарушение всех принятых правил —  
Я такого не видел нигде! —  
Инженер безымянный оставил  
Пережиток былого в воде.

Цел кирпич под известкою белой.  
От ветров не темнеет фасад.  
Плещут волны о стены день целый  
И сердито уходят назад.

Ухом ловишь приборь отдаленный —  
Не к вечерне ли это звонят?  
Только нет колокольного звона,  
Потому что сам колокол снят.

И звонарь, что бывало в задоре  
Повисал на большом языке,  
Счетоводом сегодня в конторе,  
При часах и в простом пиджаке.

А проезжим не скрыть удивленья —  
Им всё это покажется сном, —  
Колокольни забытой явленье  
На бескрайнем просторе морском.

---

**КОГДА ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА...**

Я верю северным приметам:  
Когда черемуха цветет,  
Любовь, дыша пахучим цветом,  
За всеми по пятам идет.

Цветет черемуха, а в двери  
Стучится ветер, трезв и гол,  
Чтоб белый хмель весны умерить,  
Пока он всех с ума не свел.

Как брага, крепок этот запах,  
Шальна медвяная метель, —  
Вот-вот медведицей на лапах  
Запляшет кондовая ель.

Любовью полон целый город,  
Хоть теплых дней в помине нет,  
Белее снега над забором  
Густой черемуховый цвет.

... И я вот так же, безмятежный,  
Заворожен теперь тобой,  
Твоей черемуховой, свежей,  
Холодной красотой.



## НА ПРИСТАНИ

Пахнет угольной пылью  
В строках моих каждое слово,  
Капли пота соленого  
На каждой метафоре есть:  
Ходит муза моя в телогрейке  
С лопатой совковой.  
Ей, бедняге, бывает  
Весь день ни прилечь, ни присесть.

Но она ничего,  
Терпеливая девка попалась,  
Сразу видно по хватке,  
Что она из рабочей семьи.  
У такой, как у нашего зама,  
На заливке не вырастет сало.  
Гнемся вместе на пристани  
От семи до семи.

Грузим с ней  
Воркутинские черные камни  
И кули из бумаги  
С фосфоритовой мягкой мукой,  
Чтобы в топках буксиров  
Хватало веселого пламени,  
Чтобы был тяжелей  
Колосок вологодский ржаной.

Неплохая помощница,  
Моя простодушная муза,  
Бросит шутку товарищам  
И меня подбодрит на ходу.

Как-то дышится легче  
Усталым трудягам под грузом,  
Не качаясь, за ней  
Я по шаткому трапу иду.

---

## В ЛЕСАХ КАЛЕВАЛЫ

(Из записок комиссара партизанского отряда)

### Партизанская присяга

Тепло проводив боевых друзей, командование отрядом решило занять деревню Кентозеро для отдыха.

Зная повадку белофиннов минировать населенные пункты, которые они по каким-либо соображениям оставляли, мы, прежде чем войти в деревню Кентозеро, произвели тщательную разведку. Деревня оказалась пуста и не заминирована. Только кое-где были обнаружены обрывки газет и пустые банки из-под консервов с надписями на немецком и финском языках. Это явно свидетельствовало о следах недавно побывавшей здесь вражеской разведки.

Выставив усиленный караул и определив места обороны на случай нападения противника, отряд занял деревню.

Вечером, под покровом густого тумана, мы затопили бани и печи в крестьянских домах.

За последние дни бойцы очень устали. Мокли в болотах и дрогли под дождями. И теперь помыться в жарко натопленной бане, по-человечески переночевать в теплой крестьянской хате было для нас поистине большим наслаждением! От одного сознания возмож-

---

Первые главы из воспоминаний М. Ф. Королева были опубликованы в альманахе «Литературная Вологда» № 3, 1957 г.

ности отдохнуть нервное напряжение ослабевало, в душу вселялась бодрость...

Рано утром отряду был сделан подъем. Несколько бойцов, с разведывательной целью, направились в окрестности села и на ближайшие хутора, расположенные километрах в десяти. Наши «мастеровые» и «подмастерья» уселись за починку обуви, успевшей сильно потрепаться в тяжелых переходах по лесам и болотам. Во второй половине дня, еще издали, мы заметили возвращавшихся из разведки партизан. Они, один за другим, медленно выходили из леса, ведя за собою на привязи какую-то живность. Оказалось, разведчики нашли около десятка баранов, брошенных жителями при эвакуации села. В отряде появилось свежее мясо. Где-то в сельмаге было обнаружено несколько пудов муки. Отыскался и пекарь — боец Ромашов, который тотчас взялся за дело.

Три дня отдыхал отряд в этой деревне, расположенной на удивительно живописном берегу широко раскинувшегося красивого озера, полукольцом огибающего село. То тут, то там отливала серебром зеркальная гладь озерной воды, а вдали голубовато-зеленой полосой тянулись бесконечные карельские леса, теряющиеся в тумане.

Не напрасно Карелию называют страной лесов и озер. Название это вполне оправдано. Лесистые возвышенности, спускающиеся к тихим голубым озерам, стремительные, шумные реки, скалы самых причудливых форм — таков своеобразный ландшафт Карелии. Здесь насчитывается свыше сорока тысяч озер и около тысячи пятисот рек. Территория республики покрыта дремучими хвойными лесами.

На третьи сутки нашей стоянки в Кентозеро, когда отряд значительно отдохнул, набрался сил и мог двигаться дальше, мы с Бруно решили провести собрание личного состава отряда. А поговорить было о чем. Свыше двух месяцев отряд находился на территории, занятой финнами. Каждого волновал вопрос: «Что происходит в стране, каков ход войны?»

Не имея рации, мы пользовались сведениями, которые получали в искаженном виде при встречах с населением, находившимся в оккупации, и от военнопленных. Данные о продвижении немецко-фашистской

армии всегда были преувеличены. Фашисты ставили цель при помощи ложной пропаганды ослабить волю советского народа к сопротивлению. Каких только сенсаций не распространяли германское информационное бюро и главная военная квартира Маннергейма! Они сообщали, что Москва уже пала и находится в руках немецких войск, Ленинград капитулировал, Красная Армия накануне разгрома, районный центр Калевальского района — Ухта, откуда были многие наши партизаны, сдан якобы войсками Карельского фронта и т. д. Все эти известия воспринимались бойцами отряда с болью в сердце. Нужна была ясность, чтобы этим ложным слухам противопоставить большевистскую правду. К этому времени возвратилась наша разведка, которую командование отрядом посылало в село Юшкозеро специально для выяснения обстановки. Это село не было захвачено противником, оно находилось в стороне от левого фланга обороны Ухтинского направления Карельского фронта, в нем располагалась служба воздушного наблюдения одной из частей Красной Армии. Здесь бойцы-разведчики и добыли так необходимую для нас информацию.

С напряженным вниманием слушали партизаны мое сообщение о ходе войны. Бои шли тогда на подступах к Москве. Над столицей, сердцем нашей Родины, нависла серьезная угроза. Красная Армия, изматывая силы противника, вела упорные и кровопролитные бои. Героически оборонялся Ленинград.

Сообщение белофиннов о сдаче нашими частями Ухты оказалось тоже ложным. Бои на Ухтинском направлении по-прежнему шли в районе села Войницы. Дальше этого пункта и впоследствии финнам не удалось продвинуться ни на шаг. В сердцах бойцов заметно потеплело.

— Да, — протяжно и многозначительно произнес всегда молчаливый Ануркин, — ведь вот как ловко может брехать этот Маннергейм. Воевать — духу недостает, а брешет так, что лес краснеет, — и, резко вскинув голову, он показал рукой на красные листья осин, стоявших перед окнами.

Теперь собрание перешло к обсуждению главного вопроса: об укреплении дисциплины в отряде и недостатках боевых операций в Костомукше.

Сделано это было правильно. Настала пора поговорить серьезно о дисциплине. Вопросов возникало несметное количество и уходить от них было нельзя. Требовалось решительно выступить против элементов партизанской вольницы и повести борьбу за железную воинскую дисциплину. Психология и привычки сугубо штатских людей цепко держали отряд в своих руках и многим из партизан трудно было, например, сразу отрешиться от привычки критиковать и обсуждать действия командиров. Многие всё еще не могли понять, что партизанский отряд — это воинская часть, а не добровольное общество, в котором что хочу, то и делаю. Крестьянская хата гудела, как улей. Нельзя было найти такого человека, которого не интересовала бы и не волновала судьба нашего отряда. На скамейках, табуретках и на полу сидели обвешанные оружием люди.

Слово взял Бруно Лахти. Разогнув плечи, он откашлялся и тихим спокойным голосом начал речь. Бруно, отдав должную дань действиям наиболее отважных и смелых партизан, увлекавших своим примером отряд на успешный разгром вражеского гарнизона в Костомукше, резко обрушился на недостатки и слабости, обнаруженные в бою. На конкретных примерах он убедительно показал, как отдельные бойцы несмело и медлительно вели бой, высмеял тех товарищей, которые не в меру много отдавали земных поклонов каждой пуле, со свистом пролетавшей над головой, хотя всем известно, что поздно склонять и прятать голову за какое-либо укрытие, если пуля уже просвистела. Партизаны бурно реагировали на каждое слово командира.

Одной из главных задач, поставленных тогда Бруно перед отрядом, была борьба за строжайшую партизанскую дисциплину, против расхлябанности и безответственности. Нещадно был раскритикован Иван Климочкин, напившийся в походе и затеявший стрельбу вблизи вражеских гарнизонов. Оценивая его поступок, Бруно говорил:

— Безудержное и безотчетное удальство бывает не менее опасно, чем трусость. Из этого каждому надо сделать вывод.

Войдя в азарт, он еще более горячо продолжал:

— Партизанскую борьбу партия не может предо-

ставить самотеку. От партизана, как и от каждого солдата, партия требует дисциплины, организованности и взаимовыручки. — Затем, глубоко вздохнув, добавил: — Командование отрядом всеми силами будет бороться против малейшей разболтанности!

На собрании установилась мертвая тишина. Некоторые товарищи, чувствуя за собой вину, ежились, вбирали голову в плечи и с напряжением ожидали, что вот-вот сейчас командир доберется и до них.

Когда кончил говорить Бруно, слово попросил один из наиболее отважных бойцов отряда Иван Матвеевич Карху. Это был человек средних лет, высокого роста, мслодецкого телосложения, всегда с дымящейся трубкой во рту. Раньше он служил в Красной Армии и лучше чем кто-либо понимал значение суровой воинской дисциплины.

Когда в 1939 году началась война с белофиннами, Иван Матвеевич добровольно вступил в лыжный отряд. Однажды советские лыжники наткнулись на крупную часть белофиннов. Завязался горячий бой. Действия наших лыжников сковывали вражеские станковые пулеметы. Карху, захватив с собой гранаты, осторожно пополз в ту сторону, откуда стрелял один из пулеметов. Незаметно для врага он подкрался почти вплотную к пулемету и гранатами уничтожил его вместе со всем расчетом. Один вражеский пулемет замолк навсегда, но второй продолжал стрелять. Карху поступил с ним так же, как и с первым. Отважный воин не раз выводил бойцов Красной Армии из белофинского окружения.

За героизм и отвагу, проявленные в борьбе с белофиннами, Советское правительство наградило тогда Ивана Матвеевича Карху орденом Красного Знамени.

Когда началась Великая Отечественная война советского народа с фашистскими захватчиками, Карху стал партизаном. Это был грозный и неумолимый народный мститель, разивший врага наверняка.

Карху был немногословен, но силен суровой справедливостью и пользовался большим уважением в отряде. Вот и теперь, поднявшись во весь рост и расправив складки, образовавшиеся на гимнастерке, которую украшал орден Красного Знамени, он медленно, с карельским акцентом начал говорить:

— Всё, что здесь сказал командир отряда, — это правда, от которой не уйдешь. Наш отряд уже давно находится в тылу врага. Времени было достаточно для того, чтобы покончить с организационным периодом и разболтанностью. Кто этого не понимает, того надо выгнать из отряда. Я предлагаю принять партизанскую присягу. И тот, кто от нее отступит, должен понести кару от рук своих товарищей.

Предложение Ивана Матвеевича всполошило весь отряд. Вновь загудели партизаны. Предложение Карху поставили на голосование. Дружно кверху взметнулся, а затем опустился лес рук. Раздались дружные аплодисменты. Предложение было всеми одобрено.

Началась подготовка к присяге.

На площадке, посреди деревни, в боевом снаряжении выстроился отряд. В строю стояли люди разных возрастов и разных профессий: рабочие, лесорубы, колхозники, учителя, бухгалтеры и партийно-комсомольские работники. Но сегодня у них у всех без различия была одна «профессия» — народные мстители. Стройные ряды партизан радовали своей строгостью и подтянутостью. Бруно Лахти предоставил слово мне. Коротко я рассказал о том, что впервые присяга была утверждена в апреле 1918 года ВЦИКом, в период, когда зарождалась Красная Армия, и что с тех пор в нашей стране присягу принимает каждый военнослужащий. В статье 133 Конституции СССР говорится, что защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.

На основе военной присяги был разработан текст нашей, партизанской, присяги, в словах которой нашли выражение яркие чувства патриотизма, сознания высокого долга, переполнявшие наши сердца.

После короткого митинга Бруно Лахти подал команду: «Смирно!». Строй замер, готовый к принятию присяги. И в наступившей тишине грозно зазвучали повторяемые хором слова:

— «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды красных партизан, принимаю эту присягу и торжественно клянусь:

быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все приказы командиров, комиссаров и начальников, идущие на укрепление нашей Родины.

Я, верный сын героического советского народа, к л я н у с ь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен...

Кровь за кровь, смерть за смерть!..

Я к л я н у с ь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь свой народ в рабство коварному фашизму.

Если же по моей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту свою присягу и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от рук своих товарищей...»

Народные мстители с честью выполнили свою боевую клятву. Большаки и проселочные дороги, местечки и села, леса и перелески в Советской Карелии превратились в арену боев с ненавистным врагом. Финские оккупанты вскоре почувствовали, что война против советского народа — это не прогулка по Восточной Карелии. Всё шире и шире разворачивалось партизанское движение в районах, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Земля горела под ногами оккупантов.

### Телефонный разговор

Отряд уже несколько дней простоял в Кентозере. Цель, которую мы ставили, занимая деревню, была нами достигнута. Остаться здесь на более продолжительное время не входило в наши планы. Кентозеро находилось далеко от коммуникаций врага. Для того, чтобы провести даже незначительную операцию, нужно было пройти сотни километров. Вокруг лежали леса, болота и глухие карельские деревни. Местное население во многих селах было эвакуировано, продовольственной базы не было.

Наступала глубокая осень. Не за горами — зима. Предстояли суровые холода, а с продовольствием дела были очень плохи. Наши текущие запасы подходили к концу. Оставалось по двенадцать сухарей на каждого.

Это были крайне ничтожные запасы. Чтобы прокормить отряд в сто пятьдесят человек в течение только одного месяца, требовалось свыше восьми тонн хлеба и других продуктов. А так как нам предстояло в течение длительного времени вести борьбу в тылу немецко-финских войск, эта цифра увеличивалась в несколько раз. И мы понимали, что сейчас самой серьезной опасностью для нас была опасность надвигающегося голода.

Кроме того, надо было думать о боеприпасах, обмундировании и медикаментах. Связи же с большой советской землей у нас не было, на продовольственную поддержку с самолетов рассчитывать не приходилось. Мы ломали головы, раздумывая, где достать продовольствие?

Была единственная надежда пополнить запасы за счет противника и складов наших бывших советских погранзастав, занятых врагом, где было зарыто продовольствие. Об этом мы знали еще до перехода в тыл врага от начальника погранзаставы полковника Левина. Временами нужда заставляла прибегать и к помощи населения.

...Колонна партизан черной змейкой вилась среди болот, перелесков и карельских лесов, прокладывая новые тропы.

Сентябрь и октябрь — наихудшие месяцы года на севере. С тусклого, серого неба весь день непрерывно лил дождь. Под ногами чавкала густая, вязкая грязь, размешанная тяжелыми сапогами. Дул резкий, сырой ветер. С деревьев падали крупные, холодные капли дождя, обильно поливая и без того промокшую одежду партизан. Резкий ветер пронизывал до костей. Особенно доставалось тем, у кого одежда была полегче, а обувь свободно пропускала ледяную, холодную воду.

Всё это вынуждало нас делать более частые привалы и отогреваться у костров чайком с брусничкой.

Когда же наступала ночь и отряду надо было делать привал на ночлег, холодную и сырую землю отогревали кострами с вечера. Затем пепелище костра разбрасывали, а на прогретую землю накладывали толстый слой еловых веток; поверх них расстилали плащпалатки. Таким способом создавалась теплая и сравнительно мягкая, в условиях партизанской жизни, по-

стель. Ложились рядками друг к другу, накрывались сверху плащпалатками. Прогретая кострами земля долго сохраняла тепло, которого хватало на всю длинную осеннюю ночь.

При таком способе ночлега, который происходил чаще всего недалеко от вражеских гарнизонов, мы достигали и другой цели — маскировали отряд, лишая вражескую авиацию возможности обнаруживать нас в темную ночь с воздуха по ярко горящим кострам.

Лес был надежным укрытием отряду. Белофинны хоть и посылали по нашим следам карательные группы, однако они были малочисленны и причинить серьезного ущерба нам не могли. Оккупанты, казалось, примирились с нашим существованием и до поры до времени признали карельский лес партизанской зоной.

Впрочем, мы скоро сообразили, что в первый период военных действий немецко-финское командование сознательно не бросало против нас крупных сил. Оно было уверено, что партизан не трудно выловить и уничтожить в любое время. Первоочередной своей задачей оно считало наведение «порядка» в оккупированных районах, создание крепких гарнизонов и полное порабощение населения.

На другой день, рано утром, отряд двинулся дальше, на запад. Чистое небо засветилось зарей. Вокруг стояла настороженная тишина, только изредка где-то поскрипывали на ветру старые сосны и громко стучал дятел.

Любуясь этим чудесным пейзажем, мы продолжали идти сквозь частые заросли молодого ельника, по коричневым сосновым борам, через болота и ламбины<sup>1)</sup>, переполненные студеной осенней водой.

В середине дня наткнулись на полевой телефонный провод. Он был подвешен на ветвях деревьев, чуть выше головы, и свидетельствовал о том, что где-то неподалеку от нас размещался гарнизон врага.

Один из партизан, тащивший за плечами полевой телефон «эриксон», который нам удалось забрать в качестве трофея у белофиннов, быстро включил в линию аппарат. Линия оказалась действующей. Мы не

---

<sup>1)</sup> Л а м б и н а — небольшое лесное озеро (карельское название).

раз искусно вмешивались в разговоры, которые вели по телефону белофинны. Нельзя было упустить случая и теперь.

— Люблю поговорить по телефону, — плутовато подмигнув, заявил Душа, рукой ощупывая провод.

— Как вы думаете, товарищ комиссар, может быть нам с самим Маннергеймом поговорить? Спросить его, как, мол, ты, старый придворный плут, выживешь до конца войны или раньше богу душу отдашь? Может быть, пока не поздно, в похоронное бюро на гроб заявку сделать?

— Зачем же, пусть старик поживет, — ядовито сказал политрук Роберт Мاستинен. — Он много безвинной крови пролил. Придет час расплаты — с него ответ спросим.

Остроты бойцам пришлись по вкусу.

— Ну как, товарищи, Душа, пожалуй; правильный нам совет дает? Если не с самим Маннергеймом, то с белофинским гарнизоном обязательно поговорить надо. А как думает командир? — спросил я Бруно.

— Что же с вами поделаешь? Желание, как видно, общее, — улыбаясь, ответил Бруно и тут же отдал приказание телефонисту Лесонен включить телефон во вражескую линию.

Включились как раз в то время, когда белофинский связист начал передавать «весьма срочную» телефонограмму. Белофинн выкрикивал в телефонную трубку: «Кувле, Риппати! Кувле, Риппати!», — что означало: «Слушай, Риппати, слушай, Риппати!» Это был какой-то условный пароль.

Карел Лесонен, хорошо знавший финский язык, недолго думая, ответил: «Риппати слушает. Риппати слушает!» — и взялся за карандаш.

— «В районе наших гарнизонов Кондоки — Костомукша, — диктовал белофинн, — появились большие силы русских партизан. Эти бандиты состоят из отборных и опытных пограничников, хорошо знающих тропы и карельские леса. На днях они разгромили Костомукшу, в которой трагически погибли все наши. Удалось спастись одному. Партизаны прошли Кентозеро и двигаются на запад. Будьте осторожны, подкрепление идет, усильте караульную службу. Меры по уничтожению партизан принимаются».

Закончив диктовку, белофинн сказал:

— Проверим...

— Мне и без проверки всё ясно, — ответил Лесонен. Одураченный белофинский связист дважды поблагодарил партизана за то, что он не обременяет его лишней работой, и начал жаловаться на то, что все другие требуют повторений. Лесонен посочувствовал белофинну, дал ему совет никогда не повторять раз сказанное и тут же перерезал провод.

Телефонограмма попала в наши руки вовремя, и ее значение для нас было неоценимо. Теперь приобрели более ясный смысл мелкие стычки нашего отряда с вражеской разведкой, которая по неосторожности наткалась на нас случайно и, не принимая боя, трусливо скрывалась. Ее главной задачей, как видно, было наблюдение за нашим движением.

### Разведка в родное село

Положение в отряде изо дня в день осложнялось. Враг усиливал меры по преследованию и уничтожению отряда, иссякло продовольствие. Шли медленно, питались ягодами, курили мох.

Много еще километров оставалось до захваченной врагом заставы, куда мы направлялись в надежде добыть продовольствие. Надо было немедленно искать выход из тяжелого положения.

На пути отряда была деревня Ладвозеро, в которой находился сильный белофинский гарнизон. Здесь проживало и местное население, не успевшее вовремя эвакуироваться.

Подойдя глухими тропами к Ладвозеру, отряд остановился в лесочке, километрах в полуторах-двух от села. Отобрали группу разведчиков из десяти человек. Командиром назначили Василия Николаевича Пертунен.

Ладвозеро — родина Пертунен. Тут он провел свои детские годы, при Советской власти закончил семилетку, совсем недавно, до начала Отечественной войны, был здесь председателем колхоза.

В Ладвозере его уважали и знали как хорошего человека и работника. Товарищи тоже считали, что во главе разведки надо пойти Василию Николаевичу, так

как в Ладвозере проживали его дед и родная тетя. Поэтому ему значительно легче, чем кому-либо другому проникнуть в село и завязать необходимые связи с местными жителями. Василий Николаевич тоже знал в селе всех наперечет и за рискованное дело взялся смело, с большой охотой.

Выйдя на опушку соснового бора, близко подступающего к небольшому селу Хаповара, расположенному по соседству от Ладвозера, разведывательная группа разделилась на две части. Пертунен, Капанен и Анна Карху, спрятав за пазуху гранаты, попластунски стали пробираться к деревне. Другая часть группы, состоявшая из автоматчиков, выбрав поудобней высотку, с пулеметом залегла на краю леса, чтобы в случае какой-либо неудачи прикрыть огнем отступление товарищей.

Чем ближе подползали разведчики к селу, тем больше напрягались мускулы и учащенней билось сердце. Вот уже показался огород деда, а метрах в семидесяти был виден дом, в котором провел свое детство и юность Василий Николаевич.

По знаку Пертунен партизаны остановились и стали внимательно вслушиваться. Справа слышались глухие звуки человеческого говора. Разведчики быстро юркнули в огород и снова залегли между грядками. Прикрываясь кочанами капусты, Василий Николаевич приподнял голову и посмотрел в ту сторону, откуда доносились невнятные звуки.

В километре от деревни, под охраной финских солдат, местные жители убирали картофель. Солдаты с винтовками за плечами расхаживали взад и вперед, покрикивая на крестьян, заставляя их работать проворней.

— Вот гады, — зло буркнул Василий Николаевич, — даже старух с винтовками охраняют.

— А это, пожалуй, не такой уж плохой признак, — ответил Капанен, — видимо, в деревне нет добровольцев гнуть спину на оккупантов.

Пертунен промолчал. Дал знак рукой, и разведчики, один за другим, скрываясь между грядками, поползли к дому. Когда до хаты оставалось несколько метров, Пертунен заметил, что калитка, ведущая со двора в огород, оказалась полуоткрытой. Не раздумыв-

вая долго, он юркнул в калитку; вслед за ним последовали остальные. Укрывшись в соломе, они долго прислушивались к каждому шороху, к каждому движению, происходившему в доме.

Минут через двадцать с корытом в руках, наполненным грязной мыльной водой, вышла женщина. Вслед за нею из распахнутой с шумом двери ухарски вывалились три здоровенных шюцкоровца. Один из них, с капральскими знаками отличия, проходя мимо женщины, развязно похлопал ее по заду и, одобрителем подняв большой палец, с громким хохотом вышел из дома.

Всё это было до крайности омерзительно. Ярость подступала к горлу, хотелось тут же на месте задушить врага или бросить в него гранату. Но Пертунен, вспомнив, что он послан для более важной задачи, вынужден был подчиниться рассудку.

Переждав еще несколько минут, разведчики, держа наготове гранаты, вошли в дом. Там находилось семь местных жителей. Среди них был и родной дед Василия Николаевича — Илья Иванович Пертунен. Женщины стирали белье. В доме была организована прачечная. Белофинны, которых видели наши товарищи, оказываются, привозили сюда грязное белье. Увидев вошедших, женщины замерли от неожиданности. Какой-то миг они стояли в оцепенении и, не веря в то, что происходит, с напряжением всматривались в лица вошедших. Затем, окончательно узнав Василия Николаевича, они с радостью бросились к нему и стали его обнимать. Посыпались вопросы. Задавали их беспорядочно, наперебой. Казалось, расспросам не будет конца, а время не ждало.

— После, после успеете, — сказал им Пертунен и предложил для начала «позаимствовать» у белофиннов несколько баранов, коров и вывести их на опушку за деревней, где будут поджидать партизаны.

Так и было сделано. Жители ухитрились под самым носом у караульных шюцкоровцев привести к нам двух овец, принесли немного хлеба, соли, табаку-самосаду и даже несколько пачек немецких сигарет «Туркиш».

Наш приход в деревню сразу изменил настроение людей. Они поняли, что с отходом Красной Армии

борьба не прекратилась. Слухи о партизанах проникали в деревню и раньше, а теперь вот наяву местные жители встретились с ними. На небольшом лесном пригорке, где стоял отряд, собралась группа крестьян. Это была волнующая встреча. Никто из нас не замечал ни наступающего вечера, ни того, что пора было давно подумать об ужине. Мы рассказали крестьянам о положении на фронтах, познакомили их со сводками Совинформбюро и передали им газету с речью Сталина от 3 июля 1941 года.

В числе крестьян, посетивших нас, оказались три комсомолки и два члена партии, о которых белофинны пока не знали. К сожалению, фамилий всех этих товарищей я не запомнил. Помню только, что среди них была коммунистка Пелагея Пертунен, которая настоятельно просила нас взять ее в отряд. Посоветовавшись между собою, мы решили в просьбе ей отказать и порекомендовали остаться во вражеском гарнизоне для связи с партизанами. Вначале Пелагея была очень огорчена нашим отказом, а затем подумала и согласилась остаться работать по нашему заданию. Получили от нас задание дед Илья Пертунен и девушки-комсомолки. Им была поставлена задача: разведать силы и огневые средства, имеющиеся в гарнизоне врага, и создать в лесу, в указанном нами месте, небольшой запас продовольствия, заложив туда хотя бы два-три мешка муки, соли и сухарей, которые были так необходимы для нашей разведки, впоследствии не раз приходившей в эту деревню. Таким образом, нам удалось создать нечто вроде группы содействия партизанам. Вооруженной борьбы эта группа не вела, но задачи выполняла весьма важные и необходимые.

Много горя поведали нам ладвозерские крестьяне. Немецко-финские захватчики, придя на советскую землю как поработители, прежде всего отбирали у колхозов землю, скот, инвентарь, лишали колхозников средств существования, обрекали их на голодную смерть. Принадлежащие ладвозерскому колхозу 86 голов крупного рогатого скота, 45 лошадей и свыше 200 голов свиней были объявлены собственностью оккупационной армии. Не щадили оккупанты и личной собственности колхозников.

Так началось установление «нового порядка» на

оккупированной земле. Экономической основой этого «порядка» являлся повальный грабеж населения.

Лишив советских людей средств существования, оккупанты думали этим превратить их в послушных рабов: «Мол, голод — не тетка, будут на нас работать». Были объявлены кабальные условия обработки земли. Но, несмотря на голод, никто не согласился работать на чужеземцев. Тогда управление Восточной Карелии, возглавляемое финским генералом Алаюри, который олицетворял гражданскую и военную власть, решило провести на оккупированной территории нечто вроде «земельной реформы». В наши руки попали любопытнейшие инструкции за подписью этого генерала, из которых видно, что карельскому населению предлагалось за сходную плату выкупать землю в частную собственность.

Делалось это для того, чтобы возродить вновь частно-собственнические тенденции у крестьян и в корне подорвать колхозы. На этой же основе была попытка завоевать симпатию у крестьян к новому финскому режиму и заставить их обрабатывать заброшенные земли. Однако все это не увенчалось успехом. Тогда оккупанты приступили к осуществлению ничем не прикрытой системы рабского труда. Вооруженные автоматчики силой сгоняли советских людей и под страхом смерти заставляли работать. Впоследствии оккупированное население отправлялось белофиннами в глубь Финляндии или в концентрационные лагеря.

Все это убедительно свидетельствовало о прочной вере советского народа в силы социалистического строя и в нашу доблестную Красную Армию, которую они ждали и которая должна была их высвободить из-под ига немецко-финской оккупации.

Таким образом, партизаны в тылу врага выступали не только как вооруженная сила, но и как сила политическая.

Настала пора расставаться с новыми друзьями. Однако никому из нас не хотелось покидать друг друга. Наши товарищи, провожавшие друзей за пределы лагеря, остановились на просеке, поблагодарили местных жителей за помощь и обнялись. Послышались отрывистые и волнующие слова, которые произносят люди, горячо связанные узами дружбы.

— Не забывайте нас, приходите, — взволнованно и со слезами на глазах просили колхозники.

— Придем, обязательно придем, — сказал Василий Пертунен, горячо обнимая своих односельчан и особенно своего деда.

— Будем ждать, — ответили крестьяне и, растроганные встречей с партизанами, побрели в село.

После ухода крестьян в лагере закипела дружная работа. В котелках, подвешенных над кострами, тушилось мясо и варился жирный суп из баранины.

### Голод в отряде

Ранним утром раздалась команда: «Подъем. Становись!» В лагере все быстро пришло в движение. Через несколько минут весь личный состав в боевом снаряжении стоял в строю. Внезапно все смолкло. Над лагерем, который только что гудел как разбуженный улей, нависла упругая тишина.

К строю медленно подошел Бруно Лахти.

— Нам надо уйти сегодня отсюда пораньше, — заявил он. — Если белофинны узнают, что около их гарнизона расположился полуголодный отряд партизан, они нас в покое не оставят и попытаются истребить, я их повадки знаю. Принимать же бой в окружении нескольких гарнизонов и фронтовой шоссейной дороги невыгодно, у нас неравные силы. Нам нужно в первую очередь добыть продовольствие. Мы еще вернемся к этому гарнизону и померяемся силами с лахтарями.

Не успел Бруно закончить эти слова, как кто-то из строя задал ему вопрос.

— Товарищ командир, а куда мы сегодня пойдем?

Немного помедлив и сморщив недовольно лоб, Лахти ответил:

— Мы с тобою пойдем туда, куда пойдет весь отряд. Командиры и политруки взводов свою задачу знают. Понятно?!

— Понятно! — хором ответили десятки голосов.

— Ну вот и хорошо, когда у всех есть ясность, — иронически заметил Бруно и тут же подал команду: — Направляющий взвод Кондратьева по заданному азимуту шагом марш!

Лавина партизан, до этого слитно стоявшая пятью черными квадратами на пригорке в лесу, словно растаяла. Один за другим исчезали бойцы, скрываясь в густых зарослях леса.

Когда отряд тронулся в путь, Бруно подошел ко мне и, улыбаясь, спросил:

— Видел, какие у нас есть любопытные, всё они должны знать, всё им доложи начистоту. Как ты находишь, комиссар, правильно я ответил, не обидел?

— Безусловно правильно, — ответил я, — в тылу врага надо быть тройне бдительным и не допускать раньше времени разглашения наших планов и замыслов. Совершенно не обязательно знать об этом всем. На войне всякое может случиться... И не дай бог кому-либо из нас попасть в лапы фашистов — растерзают! Каленым железом будут пытаться, лишь бы добыть необходимые сведения об отряде.

Бруно Лахти смолк и о чем-то задумался. Его занимала уже какая-то другая тревожная мысль. Я не стал мешать ему дальнейшими разговорами, и мы долго шли молча рядом.

Преодолев огромные массивы леса и множество болот, на третьи сутки отряд вышел в район деревни Толо-река.

Цепочкой, один за другим, двигались бойцы отряда, пересекая нескошенный луг, поросший густым травостоем и высокими стеблями опавших цветов. Где-то невдалеке, за перелеском, влево от нас, тонко позвякивал колокольчик.

Это табун белофинских лошадей из гарнизона Толо-река мирно пасся на привольных лугах. Впереди нас бледными испарениями курилась река Тола. Тихая, укутанная в туман, она, казалось, дремала. На берегу Тола одиноко стоял заброшенный, ветхий сарай с полуразвалившейся крышей. В этом месте река делала изгиб и была достаточно широкой. Здесь мы и решили сделать переправу. Из бревен сарая моментально было сооружено несколько плотов, прочно скрепленных лозою. Каждый из них поднимал по пятнадцать-двадцать бойцов. Подталкиваемые шестами, плоты, медленно двигались по реке.

— Почти как на пароходе, только пар не тот и без гудка, — решил сострить Душа.

— Давай, дорогой, пошевеливайся быстрее, надо не языком, а руками работать. Еле-еле шестом ворочаешь, этак зазимовать на реке можно, — иронически заметил командир взвода Василий Егоров.

— Не удивительно, товарищ командир, — не унимаясь, продолжал Душа, — дал бы я нашему пароходу ход побольше, да мотор что-то плохо работает, прошло больше трех суток, как он горючего не принимал.

В этой шутке была жестокая правда. После сытного обеда под Ладвозером, которым нас угостили местные жители, отряд третьи сутки ничего не ел и шел голодным.

В течение двух часов переправа была закончена. Благополучно высадившись на берег, мы снова углубились в лес. Многие брели тихо, понуря голову, некоторые начинали понемногу отставать. В хвосте отряда, пошатываясь на усталых ногах, медленно плелись Ромашов и Дымов. Я остановился, подождал их, а когда они поровнялись со мною, попытался пошутить. Однако это бойцам мало помогало. На их лицах на миг скользнула усталая улыбка и тотчас же исчезла.

Состояние угнетенности, порожденное голодом, было более чем понятно. Я так же, как и все, был страшно голоден и, признаться, чувствовал себя плохо. В ушах стоял шум, болела голова, поташнивало. Ноги подкашивались.

Углубившись в лес, мы набрали на широкий сосновый бор с признаками старой вырубki. Здесь было много спелой брусники. Алый цвет ягод ярко выделялся на коричневой поверхности земли и манил к себе партизан.

Многие на ходу пригоршнями срывали висевшую гроздьями бруснику и с жадностью, торопливо, вместе с жесткой листвой брусничника совали в рот.

Более чем кто-либо из нас ощущал муки наступившего голода Бруно Лахти. Он был старше всех нас, дьявольски устал и, изнемогая от голода, всё заметнее начинал отставать от замыкающего взвода, с которым он шел. Временами казалось, что вот-вот сейчас, сию же минуту, его могут покинуть силы и он упадет. Но Бруно был человеком большой воли. Он не хотел сдаваться без борьбы и, тем более, показывать кому-либо свою слабость. Напрягая силы, заплетаясь усталыми ногами и

спотыкаясь о валежник, он падал, но, поднявшись, вновь упорно продолжал идти.

Войцы отряда, на виду у которых с таким мужеством переносил голод командир, брали с него пример, стыдились поддаваться унынию.

Нагнав отряд, Бруно отдал приказание остановиться на привал. Как эстафета, по цепочке, от одного к другому, передавалось приказание командира, пока оно не дошло до направляющего бойца головного взвода.

В один миг отряд рассыпался по пригорку и стал собирать ягоды. Кто присев на корточки, а кто лежа на боку и животе, каждый по-своему, сосредоточенно добывал себе пропитание. Когда чувство голода немного было утолено, а на зубах набита оскомины, бруснику стали собирать в солдатские котелки. Хоть и не весьма сытная, но все-таки пища...

Говорят, что беда никогда не приходит в одиночку. Естественно, у многих бойцов, прошедших сотни километров, по лесам и топким болотам, порвалась одежда, пришли в негодность сапоги, сгнившие от ржавчины и непрерывной сырости. У иных сапог совсем не стало, ноги были сбиты. А стояла холодная осень.

Тяжелая была обстановка. И вот, у отдельных бойцов начали проявляться унылые настроения, кое у кого появилось неоформленное чувство негодования, ставилась под сомнение правильность действий командования отряда. Среди некоторых товарищей начались усиленные разговоры о необходимости перейти линию фронта и возвратиться в наш тыл, на большую землю. Причина этих настроений была понятна. Люди, страдавшие от голода и усталости, проявляли величайшее нетерпение. Но то, чего хотела наименее устойчивая часть партизан возврата на советскую землю, было вообще бессмысленным и губительным для отряда. Мы находились более чем в четырехстах километрах от линии фронта в тылу врага, и для того, чтобы преодолеть это расстояние, нам потребовалось бы более двадцати суток ходьбы. При этом в пути могли быть стычки с противником.

Вставала серьезная задача — во что бы то ни стало разбить панические настроения.

В отряде был крепкий партийный актив. Собрали членов партбюро, политруков, командиров взводов и от-

делений, чтобы посоветоваться о создавшемся положении. Подробно рассказали о планах командования. Все единодушно признали необходимым продолжать борьбу и не поддаваться никакому унынию.

Опираясь на единодушную поддержку актива, командование отряда решило поговорить со всеми бойцами и поставить многие вопросы прямо, как говорят, в лоб.

Жесткая требовательность никогда не вредит боевой дружбе, ибо сама требовательность — основа дружбы. Это люди всегда понимают и ценят. Выступить перед бойцами отряда поручили мне. Заканчивая выступление, я заявил:

— Кто слаб духом, морально устал и не верит в успех нашей борьбы, тот является носителем поражения и немедленно должен покинуть отряд, от этого мы будем только сильнее.

Вокруг стояла настороженная тишина, лишь изредка кое-кто, чувствуя за собой вину, посапывал носом и исподлобья сверлил меня глазами, боясь, как бы я и в самом деле не назвал фамилий маловеров. Сделав короткую паузу, я спросил:

— Кому тяжело быть партизаном и кто хочет возвратиться на большую землю, поднимите руки?

Отряд безмолствовал, рук никто не поднимал.

— Может, кто-нибудь слово хочет взять?

— Разрешите, мне, — попросил Василий Николаевич Пертунен. Получив разрешение, он встал с высокой кочки, на которой удобно сидел, как в мягком кресле, и начал речь:

— Комиссар правильно здесь сказал. Я с ним согласен. Нытикам и маловерам не должно быть места в партизанских рядах! Пусть все знают, что у командования отрядом имеется четкий план действий и что продовольствие скоро будет.

— Правильно! — загудели бойцы.

— А раз правильно, терпи и не разлагай отряд. Безвыходных положений не бывает, найдем и мы выход.

Вслед за Пертунен выступили политрук Роберт Мاستинен, командир взвода Хотеев, боец Иван Нумолов и другие. Все они поддержали план командования отрядом.

## Три дня под финским знаменем

До пограничной заставы, с которой было связано так много надежд насчет продовольствия, оставалось не более четырех километров. Чем ближе отряд подходил к заставе, тем все больше возрастало чувство смутной тревоги, которое не покидало меня последние дни.

«А вдруг, — думал я, — на этой заставе, куда с таким трудом мы привели отряд, не окажется продовольствия, которое, быть может, давно уже найдено белофиннами? Что будет тогда с нами? Где будем искать выход, как и чем объяснить эту неудачу изголодавшимся бойцам, которые верят нам и питают надежду, что именно здесь, на этой заставе, должен наступить конец их мучительному голоду?».

Заместитель командира отряда по разведке Александр Николаевич Богданов, шедший рядом со мной, видимо, думал о том же. Он обратился ко мне и голосом усталого человека спросил:

— Слушай, комиссар, ты уверен в том, что продовольствие на заставе найдется?

— Думаю, что да, хотя надежда шаткая...

Мы оба одновременно посмотрели друг на друга и отлично поняли, о чем идет речь...

Я дружески обнял Сашу и добавил:

— Будем мужаться, друг! Надо верить в лучшее. Если же умирать придется, — умрем, сражаясь.

Александр Николаевич тут же вспомнил один из замечательных афоризмов Шота Руставели и прочел его на память:

— «Лучше смерть, но смерть со славой, чем постыдный в жизни путь». Так, что ли, комиссар?

— Так! Только умирать нам еще рано!

Александр Николаевич улыбнулся, начал что-то говорить мне, как вдруг по цепочке доложили, что головной дозор, шедший в боевом охранении, выйдя на край соснового леса, километрах в полутора заметил заставу.

На крыше большого деревянного здания колыхалось раздуваемое ветром белое, с синим крестом по середине, финское знамя.

Застава была занята врагом. Сердце мое, как над-

треснутый колокол, горько загудело в груди. Я невольно на минуту представил себе весь трагизм положения, в котором оказался отряд.

Измощенные от голода и усталые от тяжелых переходов бойцы, должны были провести неизбежный бой с сытыми и хорошо укрытыми в блиндажах белофиннами.

Кто его знает, чем все это может для нас кончиться. Однако отступить было бессмысленно, да и некуда...

Обернувшись назад, я увидел невдалеке Бруно Лахти. Он стоял угрюмый и, как мне показалось, придавленный тяжелым раздумьем. В глазах у него появилась тень печали. Нелегко было старику видеть столь тяжелое положение отряда.

Развернув отряд к бою, мы стали пристально наблюдать за заставой. Кругом стояла чуткая тишина. Безветренный день, казалось, дремал, было слышно, как кровь пульсировала в висках. Застава безмолствовала. Чем больше мы наблюдали за нею, тем сильнее возрастало желание поскорее захватить ее. Ведь так много надежд было связано с нею!

Подобрали группу человек в 35 из наиболее выносливых бойцов. Бруно тщательно их проинструктировал и приказал выйти в разведку. Чтобы подчеркнуть исключительную важность задания командира, я решил проводить разведчиков за пределы обороны, занимаемой отрядом.

Утро выдалось наредкость солнечное. Небо ослепляло синью, сосны горели золотом. Однако лес был полон смутных шорохов; потрескивали сухие ветки под ногами бойцов, где-то в глубине глухо таякали собаки. Пройдя половину пути до заставы, мы остановились.

— Будьте осторожны, друзья, зря под огонь не лезьте, — сказал я, пожимая руки товарищам.

В числе разведчиков был и мой связной — мордвин Иван Александрович Нумолов, очень здоровый, смелый и крепкий парень. Он хоть и не впервые шел на серьезное дело, но все-таки заметно волновался.

Я внимательно посмотрел в его мягкие, бархатно-карие глаза и, улыбаясь, спросил:

— Да ты как будто волнуешься, Ваня?

— Ничего, товарищ комиссар, за меня не беспокойтесь, сами знаете — не впервые. Белофинны для меня

пулю еще не успели отлить. А что касается волнений, то, признаться, малость есть, ведь я же человек...

На душе у меня было хорошо. «Раз Нумолов шутит, — подумал я, — значит будет все в порядке, парень не подкачает».

Еще раз пожелав товарищам счастливого пути и тепло помахав им рукою, я возвратился в отряд.

Навстречу мне шел озабоченный Бруно.

— Ну, как — проводил?

— Проводил, — ответил я.

Он взял меня под руку, и мы пошли по узкой пограничной тропе, вьющейся змейкой между сосен.

Вначале мы шли молча. Затем, когда Бруно, как мне казалось, обдумал что-то очень важное и весомое, он заговорил:

— Скажу тебе, откровенно, комиссар. Мне скоро исполнится шестьдесят лет, но впервые в жизни я так глубоко почувствовал, что такое ответственность! В тысячу раз легче отвечать за себя и свои поступки, чем нести ответственность за судьбу сотен людей, да каких еще людей! Самых близких боевых товарищей, которые верят в тебя, которые идут за тобою в огонь и в воду...

На мгновение Бруно умолк, а затем, тщательно подбирая слова, продолжал:

— Теперь все зависит от продовольствия. На этой заставе мы должны найти его!

Остановились около дремучей сосны с широко раскинувшимися толстыми сучьями, покрытыми густой и зеленой кроной. Взяв бинокль, Бруно стал наблюдать за движением разведки.

По обочине леса, близко подступающего к заставе, стараясь держаться в короткой тени, отбрасываемой кудрявыми соснами, согнувшись, двигалась группа наших разведчиков. Сзади, шагах в сорока от них, шли еще четверо. Это были пулеметные расчеты Ялмари и Никулина, которые на всякий случай должны были быть готовыми в любую минуту прикрыть огнем своих товарищей.

Когда до заставы оставалось совсем уже близко, разведчики, маскируясь в молодых порослях леса и в высокой нескошенной траве, по сигналу своего командира Ивана Матвеевича Карху залегли.

Более получаса они с напряжением вслушивались в окружающий их мир и вели наблюдение за заставой.

Вначале все было тихо. Казалось, никаких признаков человеческой жизни здесь не было. И только изредка на озере сонно плескались волны в камышах да никем не пуганная рыба.

Тихо шелестел ветер и шумели дремучие сосны, приглушая разноголосое пение птиц.

Обстановка была такова, что, казалось, ничто не мешало нашим людям свободно и без лишних предосторожностей, занять заставу. Однако партизаны не спешили, они знали цену тишине, которая нередко бывает коварной и одинаково помогает и нам, и нашим врагам.

Все зависит от того, кто более умело использует притаившуюся тишину и рельеф местности.

Выждав еще немного и не обнаружив ничего подозрительного, разведчики снова поползли к заставе. Преодолев небольшую ложину, метрах в двухстах от солдатских казарм, они заметили несколько искусно замаскированных дзотов, соединявшихся между собою зигзагообразными ходами сообщений, тянувшимися к постройкам.

Партизаны остановились. Надо было какое-то время, чтобы вновь более тщательно присмотреться к обстановке и сориентироваться для дальнейших действий.

Напрягая слух, они внимательно всматривались, но на заставе по-прежнему никаких признаков жизни замечено не было.

Иван Матвеевич Карху, возглавлявший разведгруппу, еще раз внимательно посмотрел в бинокль и пришел к выводу, что оборонительные сооружения, сделанные, видимо, еще советскими пограничниками перед началом Великой Отечественной войны, были пусты и никем не заняты. У него быстро созрел план действий.

— Надо немедленно занять доты, — решил Иван Матвеевич, — а затем, обеспечив выгодные позиции, вести дальнейшую разведку.

Партизанское чутье не подвело Ивана Матвеевича. Бойцы быстро заняли пустующие блиндажи, установили в них пулеметы и автоматы. На сердце у Ивана

Матвеевича как-то сразу полегчало. Он весь сиял от удовольствия и, казалось, излучал вокруг себя энергию уверенности.

Обтерев рукавом пот с лица и расстегнув немного воротничок серого, мышинового цвета френча белофинского офицера с капитанскими знаками отличия, который им был предусмотрительно захвачен в качестве трофея при разгроме Костомукшского гарнизона, Иван Матвеевич неторопливо стал шарить в карманах широких серых брюк кисет и большую черную трубку, с которой он редко когда расставался и любил держать ее во рту, всякий раз, когда это было возможно, с удовольствием попыхивая махорочным дымом.

Вот и теперь, набив трубку табаком и собираясь было закурить, Иван Матвеевич внезапно услышал какой-то глухой скрип, похожий на скрип открывающихся дверей. Внимательно присмотревшись, он увидел человека, идущего к озеру с ведром в руках. Эта неожиданность меняла планы наших разведчиков.

Человек между тем, не подозревая о присутствии партизан, беспечно возвращался в казарму.

Значит, застава все-таки занята противником. Иван Матвеевич отдал приказание усилить оборону, а сам стал по одному подзывать к себе бойцов, вооруженных финскими автоматами «Суоми» и одетых в форму финских солдат.

Отобрав человек пятнадцать, Иван Матвеевич поставил перед ними задачу, которая по своему замыслу была очень дерзкой и требовала от каждого величайшей выдержки.

— Судя по всему, здесь находится небольшая группа вражеских солдат, — сказал он. — Наша задача будет состоять в том, чтобы взять их внезапно и без единого выстрела. Ни один человек не должен уйти от нас, ни один человек не должен каким-либо образом проскочить в ближайший гарнизон белофиннов с сообщением о нашем появлении.

Затем он стал подробно излагать детали предстоящей операции.

Бойцы понимали, что от выполнения этого задания зависит дальнейшая судьба отряда. Во главе со своим командиром они осторожно выбрались из окопов и незаметно, по-пластунски, стали пробираться к погранич-

ной тропе, ведущей прямо к казармам, где находились вражеские солдаты. Достигнув тропы, разведчики поднялись, спокойно выстроились и неторопливо зашагали к заставе.

До жилых зданий оставалось совсем немного. Однако около казарм по-прежнему не было ни одной души и никто на карауле не стоял. Всё это вызывало крайнее удивление. Подойдя вплотную к дому, из которого совсем недавно выходил вражеский солдат на озеро за водою, Иван Матвеевич Карху, гневно и нарочито громко, на чистейшем финском языке, на все лады стал разделявать непорядки на заставе.

— Что это за солдаты великой Финляндии, черт возьми, — кричал он, — если у них здесь отсутствует элементарная дисциплина и нет никакого порядка!

Эта ругань, несомненно услышанная противником, возымела свое действие. В страшном переполохе, один за другим, на ходу надевая мундиры и волоча за собою винтовки, из дома выскочило несколько белофиннов.

Увидя перед собой старшего и разгневанного на чальника — «капитана» финской армии, они быстро встали по команде «смирно» и, как вкопанные истуканы, подобострастно глядели на него испуганными глазами, не понимая, что здесь происходит и откуда так неожиданно появилось начальство.

Воспользовавшись замешательством белофиннов и продолжая ругать их на чем свет стоит, Иван Матвеевич приказал немедленно позвать к нему старшего командира.

Отделившись от группы белофиннов и четко отмерив несколько шагов вперед, перед ним на вытяжку предстал высокий и немного сутулый капрал, с пышной рыжей копной волос на голове:

— Господин капитан, разрешите доложить... Старшим командиром этой группы являюсь я, капрал Лаукконен, из второго егерского батальона по борьбе с партизанами. Наша группа послана на несколько дней на эту заставу, чтобы разыскать запасы продовольствия, которые здесь были зарыты русскими пограничниками.

— Ну и как, вам что-нибудь удалось обнаружить? — с заметной только нам торопливостью спросил Иван Матвеевич.

— Так точно, господин капитан! И капрал стал азартно показывать ему рукой в ту сторону, где виднелась огромная груда ящиков и мешков с продовольствием, аккуратно сложенных в штабеля и прикрытых свежей хвоей, на всякий случай, от дождя.

— Все это хорошо, — как бы одобрительно и с довольной улыбкой на лице сказал Иван Матвеевич, — но вот, что вы службу несете плохо, это уже преступление.

— Виноват, господин капитан, больше не повторится!

— Ха, не повторится, это я и без тебя знаю, — еле сдерживая смех и напуская суровость на свое лицо, продолжал Карху. — А знаешь ли ты, болван, что у нас в тылу партизаны бесчинствуют?

— Сюда они не придут, шкуры своей пожалеют, — ответил сухопарый белофинн, до этого спокойно стоявший по команде смирно.

Во время разговора, который умышленно затягивал Карху, основное ядро отряда было незаметно подтянуто к заставе и почти вплотную окружило ее.

— Довольно шутить! — вдруг сурово произнес «капитан». — Руки вверх, гады! Кто хоть чуть шевельнется, будет убит на месте!

Изумленные и совершенно сбитые с толку таким непредвиденным оборотом, лахтари, казалось, застыли на месте. Они хлопали глазами, подняв руки вверх. Завабно было смотреть на ловко одураченных и растерявшихся белофиннов.

— Товарищ командир, куда прикажете отвести «великих» завоевателей? — со злой иронией спросил партизан Кенниев, обращаясь к только что подошедшему командиру отряда Бруно Лахти.

— Отведите и посадите их пока в баню, — ответил он. — Да, кстати, передайте командиру замыкающего взвода Кондратьеву, чтобы он обеспечил надежную охрану этих егерей.

Обмякшие, жалкие и перепуганные семь белофиннов были отведены в баню на берегу озера.

— Ну, что же, друзья, теперь, пожалуй, можно и закурить, — медленно извлекая из глубокого кармана штанов свою неизменную трубку, улыбаясь, сказал Иван Матвеевич.

Пока партизаны курили, командование отрядом выработывало новый план действий. Созвав командиров и политруков взводов, Бруно с веселой усмешкой объявил:

— Несколько дней отряд будет жить здесь, на этой заставе, в удобной обстановке, с готовой линией обороны и даже под финским государственным знаменем. Приказываю флага не срывать, эта тряпка нам еще пригодится.

Такое решение было нами принято на основе показаний военнопленных, которых мы только что захватили. Мы рассчитывали очень просто. На эту заставу лахтари были посланы сроком на десять дней, с момента их появления здесь прошло шесть дней, значит остальные три-четыре дня могут быть успешно использованы нами для отдыха и создания продовольственных баз. За это время, рассуждали мы, финское командование, не получая никаких тревожных сигналов от своих разведчиков, будет спокойно выжидать их возврата в часть. Мы же тем временем успеем решить все свои задачи.

Так была нами занята заставка под финским знаменем.

\* \* \*

На заставу пришли мы как нельзя кстати и вовремя. Продовольствие, которое нам еще предстояло разыскивать и выкапывать из земли, было уже найдено и выкопано белофиннами. Этим мы выигрывали время и могли его более экономно использовать для отдыха бойцов, не растрачивая их силы на поиски ям с продовольствием и их раскопку.

Со временем, которое прошло после Отечественной войны, значительно сгладилось впечатление и зарубцевалась та острота чувств, с которыми каждый из нас переживал голод в отряде.

Однако и сейчас, вспоминая об этом, нельзя обойти молчанием и не сказать несколько слов о той огромной радости, с которой было встречено бойцами отряда наше сообщение о найденном продовольствии. От одного этого известия поднимался морально-политический дух отряда; усталости словно и не бывало, люди на глазах преображались, подтягивались, становились более подвижными.

Дело нашлось всем. Одни тащили на себе мешки и ящики с продовольствием, другие несли дрова и растопляли плиту, а третьи подносили воду из озера и старательно раскрывали финскими ножами банки с мясными консервами. И только бойцы взвода Ивана Ивановича Кондратьева не принимали в этом участия, так как они несли охрану отряда.

Наша временная столовая оказалась великолепной. Она была оборудована хорошим котловым хозяйством: в бывших домах комсостава и в казарме советских пограничников нашлось немало хорошей посуды. Стол был сервирован с изысканной роскошью. Наши обеды состояли из нескольких блюд: хорошего жирного супа с сушеной картошкой, поджаренного мяса из консервированного бекона, рисовой каши на сгущенном молоке, а на четвертое блюдо наши повара во главе с Ромащовым готовили нам очень вкусные блинчики с чаем или кофе. Словом, питались мы хорошо, наша советская застава приняла нас, как лучших своих друзей и настоящих хозяев, открыв перед нами всё, чем она располагала.

С какой теплотой и благодарностью мы вспоминали теперь бывшего начальника погранотряда полковника Левина и батальонного комиссара этого отряда Павлова, которые проявили исключительно большое участие к нашему отряду не только во время его формирования, но и в минуту, когда мы впервые, не имея никакого опыта, должны были переступить линию фронта, уходя в тыл врага. Прощаясь с нами, они по-отечески тепло расцеловали нас с командиром и, буквально в последние секунды, точно раньше они не решались этого сделать, нанесли на наши карты-двухверстки отметки тех мест, где были при отступлении с пограничных застав зарыты запасы продовольствия. О, как пригодилась отряду эта услуга полковника в тяжелые минуты! Если бы не она, трудно сказать, как могла бы сложиться судьба каждого из нас и чем окончился бы путь отряда.

\* \* \*

Вечером, когда совсем уже было темно, окна завесили плащпалатками, чтобы сквозь них не проникал свет.

Старшина отряда Саша Липкин решил осветить казарму. Для этого на торец широкого круглого полена он набил жестянку, вколотил в него крестообразно четыре пятидюймовых гвоздя и таким образом устроил каганец, подобно тому, которым в старину на Руси широко пользовались крестьяне. В качестве лучины использовали щепу от сухой корзины. Горящая лучина, потрескивая, отбрасывала угольки в сторону и синим едким дымом наполняла казарму, которая и без того уже была изрядно прокурена партизанами. От бледного света комната казалась желтой.

Как только появился свет, группа бойцов немедленно села играть в карты, где-то случайно найденные на заставе. Товарищи обступили их плотным кольцом. Лишь боец Полусмак сидел, задумавшись, в стороне.

— Эй, дружище, ты о чем задумался, нездоров что ли? — неожиданно спросил его военфельдшер Иван Осипович Малахов, которого в отряде все звали доктором.

— Не беспокойся, доктор, я совершенно здоров.

— Так в чем же тогда дело? — продолжал настойчиво допытывать Иван Осипович.

Полусмак многозначительно улыбнулся, блеснул озорными искорками своих немного прищуренных глаз и ответил:

— Думаю, доктор, над тем, как лучше после войны «трактат о дыхании» написать.

— К чему тебе такая тема? — с удивлением и совершенно серьезно спросил доверчивый доктор.

— Да так, поразмыслил я над тем, о чем вы так часто нам говорите: о значении режима питания, о том, как надо делать правильные вдохи и выдохи в походах, как лучше сберечь ноги, — и вот решил, что ближе всего и понятнее для меня будет, пожалуй, тема о дыхании человека. И знаете, доктор, — я напишу в ней о трудностях партизанских походов, которые вызывают усиленное дыхание и невероятный аппетит, утолить который стоит больших трудов.

«Доктор», поняв, что Полусмак шутит, засмеялся каким-то тихим, беззвучным смехом и сказал:

— Не забудь, дружок, написать в своем трактате еще о том, что учащенное дыхание на свежем воздухе дает человеку хороший сон. — Затем, дружески улыб-

нувшись, Иван Осипович добавил: — Идемте-ка, друг мой, лучше спать, хватит вам философствовать, — и, взявшись под руку, улыбаясь друг другу в лицо, они медленно зашагали в другую половину казармы.

«Доктор» Малахов был добрейшим человеком. Он был одарен редкой способностью расточать отеческую заботу и необыкновенную теплоту, особенно если кто-либо из отряда оказывался болен. Он был так внимателен, что, казалось, ничто не могло укрыться от его взора. Он постоянно кому-то помогал, кого-то выручал, кто-то разыскивал его, чтобы поговорить с ним и попросить совета. На всё он быстро реагировал и обязательно находил способ чем-либо помочь. Каждый день рождал для него новые заботы.

Иван Осипович был человеком начитанным, имел огромный опыт практической работы и немало повидал в своей жизни. Мы приходили в восторг всякий раз, когда он принимался рассказывать о чем-либо из своей жизни или медицинской практики. Я как сейчас вижу его перед собою: небольшого роста, коренастого, плотного телосложения, с маленькими, чуть-чуть прищуренными карими глазами и крупным продолговатым лицом, густо покрытым рябинками после болезни оспой. Создавалось такое впечатление, точно его лицо когда-то было исхлестано градом.

Иван Осипович был неугомонен и всегда что-либо делал. Находиться в бездействии было свыше его сил. Он всё куда-то спешил, словно боялся, что ему не переделать всего или что он куда-то опоздает.

Вот и теперь он только что закончил свои хлопоты с больными, тяжело переживая заболевание отдельных партизан. Некоторые товарищи, изрядно наголодавшись, пожадничали и, пренебрегая его советами, настолько сильно наелись, что серьезно и тяжело заболели. У них появились страшные боли в желудках, началась рвота и поднялась высокая температура.

Для Ивана Осиповича отравление бойцов было чрезвычайным происшествием. Он об этом с такой таинственностью и печалью докладывал командиру и мне, точно не они, а он был повинен в их отравлении, точно не они, а он переносил их боли.

Прошли сутки. На другой день, рано утром, когда на востоке еще только-только занималась заря и серая

предутренняя мгла окутывала землю, отряду был сделан подъем. Нас ожидала большая работа. В течение двух предстоящих суток надо было создать в лесу в разных направлениях, километрах в шести-семи от заставы, несколько продовольственных баз. Это означало, что несколько сот пудов груза бойцы и командиры отряда должны были перенести на себе, обходя топкие болота и низины, чтобы не оставлять никаких следов, по которым враг мог бы легко обнаружить наши базы.

Как трудолюбивые муравьи таскают иногда на себе непосильные тяжести, так и мы в течение двух дней дружно переносили на себе тяжелые мешки с продовольствием. В этой работе не участвовали только те, кто был слаб или нес охрану. Да и им находилось немало дела.

Каждый день, например, слабые и больные, под руководством редактора отрядной стенгазеты Лихачева и художника-карикатуриста Алеши Лесонен, выпускали замечательные боевые листки, отображавшие жизнь отряда, которые пользовались большой любовью у партизан. Нередко можно было видеть, как листок переходил из взвода во взвод, из рук в руки, иногда зачитывался, как говорят, до дыр, в полном смысле этого слова.

Вечером, когда все оказывались в сборе, стены казарм наполнялись гулом. Одни страстно о чем-то спорили между собою, призывая на помощь более авторитетного товарища для окончательного решения. Другие собрались около гармониста, задорно растягивающего меха на гармошке, кем-то найденной на заставе, весело смеялись, хлопали ладонями в такт плясуну, который со свистом волчком кружился по кругу и под звуки гармоники, как горох, рассыпал дробный пляс.

Казалось, всё было забыто: и усталость, и суровая партизанская жизнь, и голод, который каждый из нас перенес.

На третьи сутки, к вечеру, нами было создано несколько продовольственных баз. В них было заложено такое количество продовольствия, которого вполне хватило бы на два месяца действий в тылу врага.

Отряд за это время также значительно окреп, отдохнул, если дни пребывания на заставе можно было считать отдыхом, и теперь надо было подумать о пла-

нах на будущее. К тому же, дальше задерживаться на заставе было нельзя, так как с часу на час мы должны были ожидать прихода карательного отряда белофиннов, у которых неизбежно должна была возникнуть тревога по поводу длительного отсутствия их солдат, взятых нами в плен.

В этот же вечер мы собрали командно-политический состав взводов совместно с членами партийного бюро отряда и выдвинули на их обсуждение несколько вариантов боевых операций.

Вокруг наших предложений разгорелись споры. Одна часть актива готова была поддерживать одни варианты, другая отстаивала противоположную точку зрения. В конце концов все сошлись на том, что, уйдя в лес, отряд должен будет на некоторое время, для дезориентации противника, рассредоточиться на несколько самостоятельных групп со специальным заданием каждая. Затем, через несколько дней, все группы должны собраться на общую базу, обусловленную командованием отряда.

Заставу мы покидали утром на четвертые сутки. Перед уходом нами было сорвано белофинское знамя, и вместо его взвился советский красный флаг, изготовленный из шерстяного ярко-красного женского платка, на котором была сделана надпись белилами на финском языке: «Eläköön Kommunismi», что означало: «Да здравствует Коммунизм!» А на всех зданиях были расклеены десятки листовок, с обращением к финским солдатам о немедленном уходе из Советской Карелии и прекращении кровопролитной войны во имя наживы оголтелой кучки финской буржуазии.

Пока мы жили на заставе, над нею ежедневно, в одно и то же время, как по расписанию, низко пролетал финский гидросамолет. Летчик всегда непременно приветствовал нас, покачивая крылом самолета.

Пользуясь доверчивостью экипажа самолета, мы перед уходом с заставы решили попытаться сбить эту машину. Приспособив наши пулеметы и расставив в окопах стрелков с винтовками, мы стали выжидать этого «асса».

Вскоре, рассекая утреннюю тишину, низко над нами зарокотал самолет. По команде «Огонь!» застрочили наши пулеметы. Летчик, не понимая, в чем дело,

стал усиленно подавать сигналы, вновь помахивая крылом, давая понять, что мы ошиблись и стреляем по своему. Но это не помогло. Лавина автоматического огня усиливалась.

Вдруг самолет взревел, вначале вздыбился, набирая высоту, но вскоре накренился, вспыхнул пламенем и, с каким-то особым ревом, дрожа, стремительно пошел на снижение, волоча за собою густое и длинное облако дыма.

Не вызывало никакого сомнения, что самолет был нами подбит и пошел на вынужденную посадку на одно из озер в лесу.

---

## В ЗАБЫТОМ БЛИНДАЖЕ

Пионерский отряд туристов в горах Кабардино-Балкарии обнаружил блиндаж, в котором лежал скелет человека. Правая рука откинута, в ней — револьвер. Рядом — каска... Это были останки советского воина, погибшего здесь в бою с фашистами в 1942 году.

(Из газет)

Фашистами зажатый в блиндаже,  
В неравный бой вступил он на рассвете.  
Но кончились гранаты

и уже

Одна осталась пуля в пистолете.

Одна осталась пуля...

Много лет

С тех пор, с того рассвета, прошумело.  
Туристы-дети в блиндаже замшелом  
Нечаянно нашли его скелет.

Пахнуло в лица давнею бедой,  
Известной им по книжкам да рассказам...  
Заржавевшая каска со звездой...  
Был воин верен долгу и приказу...

...Безоблачных просторов бирюза  
Струилась в дверь, распахнутую настезь.  
Там было столько света, столько счастья,  
Что не могли выдерживать глаза.

А летний день звенел всё веселее.  
Всё радовалось жизни...

В тишине,



## ВЕСНА

Вновь белый-белый цвет черемух  
Осыпал улицу кругом,  
И не стихает скрип парома,  
Тележный не смолкает гром.

А в поле всходам льна и хлеба  
И удержу как будто нет,  
И самолет на синьке неба  
Оставил свой белесый след.

И в деловитом нетерпенье  
Гудит мотор грузовика.  
В турбины, в яростном кипенье,  
Стремглав кидается река.

И не дает весна покоя,  
Ну, словно первая любовь,  
И чувство на сердце такое,  
Как будто ты родился вновь.



## БЕЛЫЕ НОЧИ

Ночи белые настали...  
С вечера и до утра  
Розовеют неба дали,  
Словно отблески костра

Притаилось близко солнце.  
Так и кажется: вот-вот  
От дремоты отряхнется  
Всё кругом и оживет.

Но село, и лес, и поле  
Спят ребячьим сном пока.  
И у сосен на приколе  
Недвижимы облака.

До утра замолкли птицы,  
Трактора и молотки.  
На себя не наглядится  
Небо в зеркале реки.



\* \* \*

Неоглядно севера раздолье.  
Хмурый ельник. Рыжие боры.  
Поле, поле... Всё в волнах ты, поле,  
В славный час полуденной поры.

В ясных небесах в избытке синьки.  
Вьются-вьются юркие стрижи...  
И шагает парень по тропинке  
В золотой волнующейся ржи.

С головой парнишку укрывает —  
Вот у ней какая высота!  
И смеется парень: он-то знает,  
Как досталась эта красота!

---

## СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

Как будто никаких невзгод он  
За жизнь свою не испытал:  
В деревне не спеша работал,  
Войны отроду не видал.  
Что ж, он не каждому расскажет,  
Как сорок лет тому назад  
У революции на страже  
Стоял и он, простой солдат.  
Спокойный, мужественный, ловкий,  
Всё испытанный на веку.  
Он бил спокойно из винтовки  
По заседавшему врагу.  
Он видел, как с «Авроры» выстрел  
Потряс Романовых дворец,  
Где буржуазные министры  
Нашли позорный свой конец.  
И весть о том быстрее звука  
Вмиг пронеслась по всем краям.  
И крепко жал солдату руку  
Не кто-нибудь, а Ленин сам!



## ВДОВА

Да, вдовья жизнь — не чаша с медом,  
Нередко, как полынь горька.  
Бывали всякие невзгоды  
В ее дому без мужика...  
Без дорогого человека  
Жизнь и в богатстве не мила.  
Она б его любим калекой  
Сейчас в объятья приняла.  
Лишь был бы с нею вместе, рядом,  
Другим в обиду не давал,  
И не руками — только взглядом,  
Советом жить ей помогал.

---

## РОЖЬ

Отшумел за деревней дождь,  
Гром ворчливый замолк.

И сразу же  
От поскотины прямо в рожь  
Перекинулся мостик радужный,  
В небо выгнулся высоко,  
Всеми красками он раскрашен,  
Вот побегать бы босиком  
По нему ребятишкам нашим!  
А под радугой, в тишине,  
Задремало ржаное поле.  
Колоски не звенят во сне,  
Притаились от зноя что ли?  
Наливаются и молчат.  
Что им радуги, что им зори!  
Нелегко нести на плечах  
Стопудовую тяжесть зерен..  
Пусть неярко они цвели  
И шептались других скромнее,  
Но они — сыновья земли,  
И они для меня нужнее.  
Что цветы? Им недолго жить,  
Быстро август погасит их радуги.  
Будут жить лишь колосья ржи  
От Никольска до свежей Ладоги.

Мы повсюду услышим их,  
Под любым распознаем небом,  
Переделаем в песню, в стих,  
В мягкий ломоть ржаного хлеба.  
Воплотятся они в чертеж,  
В наши подвиги, в нашу радость.  
Оттого задремала рожь,  
Что недолго дремать осталось.

---

### СЕЛЬСКАЯ ЧАЙНАЯ

Блюда мудреных и деликатесов  
В этой чайной не было и нет.  
Тетя Поля — повар здесь известный —  
Вам подаст и борщ, и винегрет.  
В отбивных котлетах нет изъянов,  
Тут запрос клиентов свято чтут,  
И картины местных Левитанов  
Аппетит хороший придают.  
Развязав платки и полушалки,  
Наслаждаясь с холода теплом,  
Пьют чаек степенные доярки,  
Позабыв, что вьюга за окном.  
По соседству — их узнаешь сразу! —  
В ссадинах и в масле пятерня, —  
Ждет официантку для заказов  
Шумная, лихая шоферня.  
И совсем, конечно, не случайно  
В дверь ввалились школьники гурьбой...  
Что бы делал здесь в тайге, без чайной  
Люд командировочный зимой?  
Сколько в ней гостей ни побывало,  
Каждый за уют благодарит.  
Нет, не зря в буфете книга жалоб  
Всеми позабытая лежит.

-----

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Корова и волк

Щипала корова  
Траву на лугу,  
И вышла корова  
Навстречу врагу:  
Навстречу лохматому  
Серому волку  
Попала корова  
Под старую елкой.  
Защелкал лохматый  
Зубастую пастью.  
Сейчас разорвет он  
Корову на части!  
Тряхнула корова  
Кривыми рогами,  
И волк растянулся  
У ней под ногами.  
Хотел убежать,  
Но лохматого снова  
Прижала к земле  
Острым рогом корова.  
...В деревню корова  
Со стадом идет.  
А сзади пастух  
Волчью шкуру несет.



## Налимы

Под корягой два налима,  
Два усатых побратима  
В темной норке рядом спят,  
Лишь усами шевелят.  
Вкруг коряги щука бродит,  
Глаз с коряги той не сводит.  
Бродит день и вечер весь,  
Двух налимов хочет съесть.  
Спят усатые налимы.  
Хорошо им в норке спать!  
Двух налимов-побратимов  
Щуке-злюке не достать.  
Зря бродила день и вечер,  
Уплыла ни с чем далече.  
Залегла в чаще кувшинок  
Щука-злюка на ночь спать.  
Двум налимам-побратимам  
Можно вдоволь погулять.

---



У этого — конструкторский талант,  
Тот — агроном, а этот — летчик смелый...  
И все до одного — мои друзья.  
Достойные любви и подражания.  
Все люди настоящие...

А я?

Кем я пришел сегодня на свиданье?  
Артист? Геолог, что для всех руду  
Готов искать, в горах и дни, и ночи?..  
Нет!

Но к скамье

свободно подойду

И с гордостью

скажу им:

«Я — Рабочий!»

-----

## ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

Всё хотела взрослым видеть сына:  
От тревог, волнений отдохнуть...  
А вчера — решительный мужчина —  
Он сказал ей: — Значит, завтра... в путь! —  
Не спеша потер большие руки,  
И пригладил волосы слегка,  
И билет — свидетельство разлуки —  
Вынул из кармана пиджака.  
— Значит, в путь... — промолвил тихо снова.  
И смутился: — Таковы дела! —  
Чемодан — дорожную обнову —  
С чердака старушка принесла.  
Суетились сухонькие руки...  
Нет, да нет — плеснет в глаза туман...  
Гладила белье, сорочки, брюки —  
Кончила, присела на диван.  
Всё сложила будто, даже книжки,  
И в раздумье глянула в окно;  
Вдруг на черной на лаковой крышке  
Сиротливо дрогнуло пятно.  
Отвернулась. И стыдливо, нервно  
Кулачком скользнула у бровей...  
И вздохнула: «Не заметил... верно?» —  
И немножко легче стало ей.  
Только сын, нахмурившись, в молчанье  
По столу вдруг пальцем стал чертить...  
Перед первым в жизни расставаньем  
Не легко еще мужчиной быть!



## ВETERAN

Лет тридцать длилось счастье!  
Но возраст подошел:  
Ушел с работы мастер,  
На пенсию ушел.  
И что поделатъ? — годы:  
Годов не обскакать!  
Он заслужил свой отдых —  
И может отдыхать —  
Трудился он отлично,  
Трудился крепко он,  
И пенсией приличной  
Теперь вознагражден.  
Живи, знай, на покое  
Сто-полтораста лет...  
Но только вот покоя,  
Покоя-то и нет!  
И лишь поутру — важный,  
Торжественный слегка —  
Раздастся зов протяжный  
Певучего гудка,  
Зачем-то старый слесарь  
Теребит вновь усы,  
Глядит опять, невесел,  
Украдкой на часы,  
И ложка в миске с супом  
Забытая лежит.  
А он роняет скупо:  
— Гудит... Завод гудит!



## НА ЮГ ЖУРАВЛИ УЛЕТАЮТ

Над чуткой осеннею ширью  
Плывет заунывно: курлы..!  
Устало тяжелые крылья  
Вздымаются в мареве мглы.  
А в мутной бессолнечной дали,  
Под серою крышей небес,  
Гортанные звуки печали

Уж ловит, задумавшись, лес,  
К далекому нильскому устью  
Друзей провожавший не раз,  
Вслед птицам с безмолвною грустью  
Глядит у околицы вяз.  
Лишь только крикливый мальчонка,  
Печальных не знающий дней,  
Восторженно машет кепчонкой,  
Приветствуя плач журавлей.



В. ЧУЛКОВ

## ЗИМА

Зима? Прекрасно, что зима!  
А в чем она заключена?  
В снегах, облапивших дома  
И образующих холмы.  
Но только ль в этом вся зима?  
Но все ли в том черты зимы?  
Зима — мороз, зима — метель.  
Зима — в сугробе тонет ель.  
Зима — хрустальный белый сад,  
Где ветры резкие трубят.  
Зима — зеркальный бег коньков,  
Зима — дорога звонких лыж,  
И если ты на них стоишь, —  
Бежишь в поля, в простор снегов:  
К реке, сквозь лес, на холм, с холма.  
Зима! Прекрасно, что зима!  
Пускай дорога в даль летит  
Пусть машут сосны вдалеке!  
Зима, конечно, говорит  
На звучном русском языке,  
И только русский человек  
Способен, не сходя с ума,  
Сказать, увидев первый снег:  
«Зима? Прекрасно, что зима!».



## ПАМЯТНИК

За бронзой памятника вижу бой:  
Лавиной лезут танки, бьют орудья,  
И грудью их встречает рядовой,  
И падает, закрывши землю грудью.

И вот его подняли после боя,  
Поставили его на пьедестал.  
Нет, не его. Упорство то стальное,  
С которым он Россию защищал.

---

### В ПРАВЛЕНИИ

На краю села, в правленье,  
В окнах свет. Идет совет.  
В этот раз, на удивленье,  
Общих мнений долго нет.  
Друг за другом слово просят,  
Выступают — пот с лица:  
Кукурузу перевозносят,  
Восхваляют без конца.  
До полуночи рядили,  
Где да как, с чего начать.  
Пошумели... И решили  
Пообдумать, подождать...  
— Вон в соседнем-то колхозе, —  
Вновь в правленье говорят, —  
На поля навоз вывозят,  
С кукурузой жить хотят  
Не пора ли нам серьезно  
Перенять у них размах.  
Снег растает — будет поздно,  
Не остаться б в дураках. —  
Огонек опять в правленье,  
Вновь толкуют вразнойбой,  
Только верное решенье  
Всё обходят стороной.  
— За нее бы можно взяться,

Только как пойдут дела?  
Как бы с ней не просчитаться,  
Как бы вдруг не подвела! —  
Растревожились, как осы:  
Посевная на носу.  
Но, на дело глядя косо,  
В обсуждаемом вопросе  
Заблудились, как в лесу.

---

**РОДИНА**

Корабль кипящим морем шел,  
Зарею небо захлебнулось.  
А мне на палубе большой,  
По стороне родной взгрустнулось,  
Я вспомнил шумные леса,  
Речушки в зелени веселой,  
Густой черемуховый сад,  
Где собирался весь поселок.  
Там пелись песни до утра,  
Вздыхали звонкие баяны.  
А рано утром трактора  
Ползли за синие курганы.  
Я вспомнил песню косарей,  
Идущих вечером с работы,  
Простор желтеющих полей,  
Села колхозного заботы.  
А там, где топь да мох седой, —  
На кочках клюква, как рубины.  
И день и ночь передо мной  
Простые русские картины!

---



## НАШИ СОСЕДИ

*Ниже мы предоставляем слово писателям и поэтам Архангельской области, которые охотно приняли наше предложение обменяться своими произведениями. В очередном номере архангельского альманаха «Литературный Север» публикуются рассказы и стихи вологодских писателей.*

*Повесть Евгения Коковина «Детство в Соломбале» издавалось несколько раз в Москве и за рубежом. Мы публикуем новую главу из этой повести, выходящей в издательстве «Советская Россия». Поэты: Михаил Скороходов, журналист, и Валентин Кочетов, старший штурман теплохода «Мудьюг», — являются активными членами Архангельского литературного объединения при Союзе писателей.*

---

*Евгений КОКОВИН*

## КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

(Из повести «Детство в Соломбале»)

Летом в воскресные дни жители Соломбалы любят выезжать за Северную Двину, на необитаемые песчаные острова, густо поросшие ивняком. Такие острова у нас называются «кошками». Говорили, что лучших пляжей не найти даже на побережье Черного моря — чистый и мелкий бархатистый песок, твердое, ровное дно у реки и теплая вода. Жаль только: лето у нас короткое — купаться можно лишь в июле и августе.

С утра через широкую реку к кошкам словно наперегонки устремляются моторные лодки, шлюпки и байдарки. На низких берегах разжигаются веселые костры. Готовится немудреная пища — тресковая уха, грибной или консервный суп, варится в котелках и запекается в золе картошка, кипятится чай. На воздухе всё это вкусно, аппетитно, хотя порой и попахивает дымком.

В былые времена на острова привозили даже самовары и граммофоны.

Выезжают на острова целыми семьями и большими компаниями. В то время, когда древние старики и старушки, устроившись поближе к дымным кострам, под горячим солнцем прогреваются крепко заваренным чаем, мальчишки и девчонки весь день бултыхаются в реке или ползают в ивняковых зарослях, воображая себя исследователями, следопытами и охотниками. Правда, на островах против Соломбалы даже полевую

мышь и лягушку не увидишь. Парни и девушки купаются, загорают, играют в мяч и танцуют на твердом, утрамбованном приливами, прибрежном песке. Обычно тихие острова в воскресные дни оживают. Они наполняются переключками и шумной болтовней, многоголосыми песнями, переливчатыми звуками гармошек и гитар. Отдых!

Возвращаются с островов к вечеру, когда спадает жара и от воды начинает веять прохладой и сыростью.

Костя Чижов пришел ко мне рано утром и сообщил, что лодка Прокопьевых, перегруженная пассажирами, уже отплыла. С Прокопьевыми поехала и Оля Лукина. А накануне мы договаривались ехать вместе на прокопьевской лодке.

— Там мать Галинки и еще много теток, — сказал Костя.

— Значит, мы не поедem? — с тревогой спросил я.

— Поедем на «Молнии» — решил Костя.

И вот, правда, впервые в эту навигацию, мы опять на нашей заслуженной, дряхлой шлюпке. Мы и теперь с Костей гордились нашей шлюпкой, на которой так много путешествовали и пережили столько необычайных приключений. Ведь это на ней мы разыскали чудесный «клад» — оружие и патроны для большевиков-подпольщиков. Хорошо, что дед Максим залатал и подкрасил нашу шлюпку. Когда-то не совсем разумно мы дали шлюпке, тяжелой и неуклюжей, громкое название «Молния». Теперь мы чувствовали — оно звучало насмешливо. И все-таки менять название мы не стали.

На кошку с нами поехал наш ненецкий друг Илько и, конечно, непоседливый и вездесущий Гришка Осокин. Как мы ни старались сильно в две пары весел грести, «Молния» никакой скорости развить не могла. Нас легко обгоняли не только моторные лодки, но и все шлюпки и даже презренные вертлявые плоскодонки-душегубки.

Выехав на Северную Двину, мы сбросили с себя майки и рубашки, подставив солнцу спины, плечи и руки.

Долго не могли мы подыскать подходящего места, чтобы пристать к берегу. Грише Осокину все берега казались чудесными. Костя считал, что в одном месте много народу, в другом — нет кустов. Я соглашался

с Костей и разыскивал глазами лодку Прокопьевых, на которой должна была приехать Оля Лукина. Но лодки этой нигде не было видно.

Так мы плыли вдоль берега и спорили. Гриша горячился. Только Илько молчал и улыбался. Было видно, что ему совершенно безразлично, где приставать.

Наконец я заметил на острове Олю и Галинку Прокопьеву и в то же время Костя вдруг сказал:

— Вот здесь, пожалуй, местечко подходящее. Пристанем тут?

— Здесь Галинка Прокопьева, — шепотом запротестовал Гриша. — Она такая вредная... Не будем приставать.

— Нет, здесь хорошо, — поддержал я Костю. — А то мы так никогда хорошего места не найдем. Приворачивай, Костя!

— Да где же здесь кусты? Здесь в сто раз хуже, чем... — начал было Гриша.

Но Костя круто повернул шлюпку, и через полминуты «Молния» с ходу носом врезалась в отлогий песчаный берег.

Гриша первым выскочил из шлюпки и принялся собирать топливо и разводить костер. Вообще-то костер нам был не нужен — солнце палило нещадно, а варить мы ничего не собирались. У нас даже не было ни котелка, ни чайника. Просто с костром на берегу всегда веселее.

Костя разлегся на горячем песке. Я бродил по берегу, раздумывая, как лучше встретиться с Олей.

Девушки подошли к нам сами. Они были в легких сарафанах и босые. Их сопровождали красивый парень в брюках кремового цвета, в рубашке «апаш», и брат Галинки — мальчишка лет восьми.

Гриша Осокин сморщился. Девчонок он вообще не любил, а Галинку Прокопьеву просто ненавидел. С давних, еще детских лет он был убежден, что Галинка — зазнайка и выскочка. Щегольский чистенький вид парня — спутника девушек тоже был явно не по душе Грише.

— Давайте купаться, — предложила Оля.

— А вы плавать умеете? — насмешливо и сумрачно спросил Гриша.

— Наверно не хуже тебя, — съязвила Галинка.

— Я и то умею, — крикнул Петька, Галинкин братишка, и, скинув майку, побежал к реке.

Вскоре все мы были в воде. Даже Илько, который не умел плавать, и тот, шумно отфыркиваясь и смеясь, барахтался на самом мелком месте. Только Бэба (так звали щеголеватого знакомого Галинки) всё еще раздевался на берегу, бережно и подозрительно медленно укладывая свои кремовые брюки и «апашку».

Оля смело, по-озорному вбежала в воду и так же смело бросилась головой вперед. Она сильно и резко плыла в сторону фарватера, и мы едва поспевали за ней. Я был восхищен ее смелостью и умением плавать.

Чем дальше мы плыли, тем холоднее становилась вода. Глубокие со стремительным течением воды Двины на фарватере очень слабо прогреваются даже в самое жаркое время лета.

Когда, возвращаясь, мы подплывали к берегу, Илько уже сидел у костра, а Бэба, едва замочив трусики, выходил из воды.

— Поганый! Поганый! — кричал Петька, прыгая и злорадно беснуясь около Бэбы.

Тех, кто разделся для купания и не выкупался, не окунулся с головой в воду, солombальские мальчишки презирают и называют погаными.

— Замолчи ты! — прикрикнула на брата Галинка, сама смущенная водобоязнью Бэбы.

Но Петька не унимался:

— Поганый, поганый! Всё равно расскажу всем ребятам в Соломбале.

— Конечно, поганый, — засмеялся Гриша, стараясь еще больше обидеть Галинку.

— Ладно, не обращайтесь внимания, — снисходительно сказал Костя. Но ясно, что он сам был доволен посрамлением щеголя.

Хорошо после купания лежать на горячем песке и любоваться сверкающей на солнце рекой.

— Как красиво! — сказала Оля. — Я никогда не была на юге и меня почему-то туда совсем не тянет. Ни за что бы не променяла наш север на юг. Правда, у нас хорошо?

— Хорошо, — согласился я.

Вид, открывавшийся с острова на Северную Двину

и на город, был в самом деле прекрасен. В знойном нежно-голубом небе застыли мягкие густо-пенистые кучевые облака. Узкая полоска противоположного берега ярко зеленела березовым бульваром. Город с его белыми зданиями издали казался игрушечным или нарисованным акварелью. Такими же игрушечными казались и стоящие у причалов пароходы и шхуны, маленькие, резко очерченные, неподвижные. И широко и спокойно лежала, словно живая, играющая отблесками солнца, сказочно могучая река.

— Да, там очень красиво, в городе, — задумчиво сказала Галинка.

— Если там красиво, зачем же ты ехала сюда? — спросил Гриша. Словно какой-то бесенок ссоры сидел в этом мальчишке.

Галинка с ненавистью посмотрела на Гришу и встала, чтобы уйти.

— Не ссорьтесь, — примирительно сказала Оля. — Пойдемте лучше за цветами.

Идти за цветами Гриша, Илько и Петька категорически отказались. Петька сказал, что он лучше еще раз выкупается, а цветы ему совсем не нужны. Грише хотя и было пятнадцать лет, но было видно, что он полностью разделяет взгляды восьмилетнего Петьки.

Мы разбрелись по острову, перекликались, сходились и вновь расходились. Все цветы, какие насобирал, я отдал Оле. На берег я вернулся с малюсеньким пучком синих колокольчиков. У Кости было три стебелька петушков. Зато Оля принесла огромный букет, и я заподозрил, что Костя тоже отдал свои цветы Оле.

— Давайте купаться, — сказала Галинка. — А то ведь скоро и домой нужно ехать.

— Мы с Петькой только что из воды, — отмахнулся Гриша. — Купайтесь, если хотите...

— Мне не хочется, — отозвался Илько, рисуя на песке причудливые узоры.

Баба, видимо, был доволен: он не один останется на берегу. Конечно, он боялся воды. Зато Петька, хотя у него еще не просохли волосы, радостно закричал:

— Купаться! Напоследок купаться!

И опять Оля первая ворвалась в воду. Как смело, сильно и быстро она плыла! Мы с Костей не без труда удерживались за ней. Галинка осталась далеко позади.

Вскоре она повернула назад, вышла на берег и стала одеваться. А Оля все плыла и плыла — к фарватеру, на быстрину.

— Оля! — крикнул я. — Нужно возвращаться, скоро пойдет дождь!

Большая серая туча своим краем уже коснулась солнца. Оля повернулась на спину и некоторое время отдыхала. Я тоже задержался, а Костя, не обращая внимания ни на тучу, ни на нас, продолжал плыть вперед. Может быть он хотел показать свою смелость и выносливость, а может быть просто не заметил, как мы решили возвращаться.

— Костя! — закричал я. — Назад! Дождь будет!...

В это время я скорее почувствовал, чем услышал слабый голос Оли. Рванувшись к ней и не соображая, что происходит, я лишь увидел ее руку, беспомощно поднимаемую над водой. «Судороги», — мелькнуло в моей голове. Сам я никогда в жизни судорог не ощущал, но знал по рассказам других, что это страшная и опасная штука, когда ты находишься в воде.

Еще несколько секунд, и голова Оли скрылась под водой. Но я уже был около девушки и успел схватить ее за ляжку купального костюма.

— Костя! — заорал я что было силы. — Костя, на помощь!

Я знал, что нельзя допускать, чтобы тонущий схватился за твои руки — иначе верная гибель обоим. Подхватив Олю под руку, я старался сделать так, чтобы ее голова была как можно выше и чтобы девушка могла свободно дышать. Но с одной действующей рукой плыть было трудно. Кроме того, я сам перепугался — дело могло закончиться очень плохо. Я выбивался из сил, захлебывался, а между тем Оля потеряла сознание.

Но помощь была близка. Поняв, что случилось несчастье, Костя быстро плыл к нам. «Только бы не захлебнуться, только бы выдержать», — билось в моей голове.

— Держись, Дима! — услышал я и увидел моего друга около себя. Он подхватил Олю с другой стороны. Я отдышался, и мы, равномерно работая свободными руками, поплыли к берегу.

На берегу уже заметили, что у нас что-то случилось. Илько и Гришка вскочили на «Молнию» и торопливо плыли к нам. Но быстрее их к нам подошла легкая байдарка. В байдарке сидел взрослый парень, нам незнакомый. Он вывернулся из своей посуды, и с его помощью, мы уложили Олю в байдарку.

Девушка скоро пришла в сознание, но она не могла понять, что произошло, и сильно дрожала от холода.

Едва мы все вместе выбрались на берег, как полил дождь. Страшно перепуганная Галинка увела Олю в кусты переодеваться, а вокруг нас собралась толпа. Кто-то нас ругал за бесчинства, кто-то расспрашивал о том, как всё произошло, кто-то восхищался тем, что мы не оставили девушку в беде.

Но дождь усилился, и толпа вскоре рассыпалась по берегу. Одна за другой отплывали от острова лодки. С Олей нам как следует поговорить так и не удалось. Семья Прокопьевых тоже второпях покинула остров. У нас на «Молнии» был парус, и мы отдали его девушкам, чтобы они могли укрыться от дождя.

— Олю только жалко, — ворчал Гриша, — а этот маменькин сынок Бэби да Галинка пусть бы мокли, не сахарные, не растаяли бы.

Какой был чудесный день, и как неожиданно он плохо закончился! Да еще и погода испортилась. Пока мы доехали до устья речки Соломбалки, наша одежда так промокла, что ее пришлось выжимать.

В речке мы поставили «Молнию» на место и, не разговаривая, разошлись по домам. Настроение было подавленное.

На другой день я встретил Олю на нашей улице. Она была необычно бледна.

— Ты очень испугалась? — спросил я. — У тебя наверно была судорога.

— Перепугалась и ничего не помню, — ответила она. — Как вовремя вы подоспели. Еще бы полминутки... Я как вспомню, меня и сейчас начинает трясти... Если бы не вы... А ведь я всегда хорошо плавала, и никогда со мной ничего не случалось.. Я пойду, Дима, а то у меня кружится голова.

— Да, Оля, иди домой и ложись в кровать, — сказал я ласково и наставительно. — Ты простудилась и можешь заболеть.

— До свидания, Дима. Спасибо!

И она пошла к своему дому нетвердой походкой, поживаясь. Я смотрел ей вслед и думал: «Ах, Оля, Оля, как хорошо, что все еще так благополучно обошлось!».

\* \* \*

Но напрасно я в тот день так думал. Всё закончилось очень неблагоприятно.

Оля серьезно заболела. У нее открылся туберкулез. Доктор говорил, что у нее было малокровие от недоедания в детстве. Да, детство было тяжелое, голодное — в годы гражданской войны и интервенции. Потом простуда... Олю отправили на юг, в Крым. И я вспомнил слова Оли: «Я никогда не была на юге, и меня почему-то туда совсем не тянет. Ни за что бы не променяла наш север на юг».

Однажды, уже под осень, ко мне зашел Костя Чижов. Мне показалось, что мой товарищ чем-то встревожен.

— Пойдем на улицу, — сказал Костя.

Я почувствовал, что он хочет сообщить что-то важное и серьезное.

— Что случилось? — спросил я, медленно шагая рядом с другом по нашей притихшей улице.

Костя остановился.

— Ты не слышал? Оля Лукина умерла... там, в Крыму...

Я мог поверить во всё, что угодно, но только не в это. Мне хотелось сказать, что это неправда, может быть еще неправда, но я не мог говорить.

— Сегодня получена телеграмма, — сказал Костя.

— Это неправда, — все-таки сказал я и почувствовал, как дрожит мой голос.

Я боялся заплакать при Косте. Он взял меня под руку.

— Знаешь, Дима, я любил ее... И я знаю, ты тоже...

Я никак не мог представить, что Оли нет в живых, что больше я ее никогда не увижу.

— А все-таки, Костя, может быть, еще это неправда?

Но это была правда, жестокая и непоправимая. Это был конец первой любви.

---

## РОБЕРТ ПИРИ

Роберт Пири — истинный янки,  
Полюс он открывал умело.  
Перед финишем на стоянке  
Он оставил спутников белых.

Одному ни за что не пробиться —  
На пути ледяные торосы,  
И чтоб славой ни с кем не делиться,  
Он с собою взял эскимосов.

Он считал, что они не люди,  
И единственным, первым в мире  
Покорителем полюса будет  
Славный янки, полярник Пири...

С остановками, еле-еле  
По неровному снежному полю  
Нарты движутся. Неужели  
Ускользнешь ты, проклятый полюс!

Неужели исчезнут, как тени,  
Результаты борьбы многолетней?  
Это третий поход, последний,  
Больше нету ни сил, ни денег.

Где-то льды застонали тяжко,  
Нет, не стихнет пурга сегодня.

В снег сыпучий зарылась упряжка,  
Хриплый окрик собак не поднял.

Эскимосы разбили палатку  
И уснули под свист вьюги.  
Роберт Пири раскрыл тетрадку,  
Крепко стиснул потные руки.

Кровоточат и ноют зубы.  
Корка льда на лице исхудалом —  
Будто маска. Потрескались губы,  
Боль и горечь в глазах усталых.

Призрак славы ветрами освистан,  
Опускается занавес снежный.  
Мрачен, зол океан безбрежный,  
Нет просвета в хаосе мгlistом...

Сдался Пири — назад к стоянке  
Заскользили по застругам нарты.  
Но решил передернуть карты  
Ради славы истинный янки.

Откровенничать он не станет.  
Кто его вычисленья проверит?  
Кто его уличит в обмане?  
Эскимосы? Им не поверят...

Рукавицей потер он скулы,  
Щеки впалые покраснели.  
Не смотрел он на спутников смуглых,  
И они на него не смотрели.

---

## ПЕРЕД БУРЕЙ

Ветер осенние тучи пронес,  
Вызвездив неба ширь.  
Как сытый, самодовольный пес,  
Лениво улегся штиль.

Дрожит на волнах тишина густая.  
Спокойный по метеосводке,  
Молчит океан.

Но, вздыхая устало,  
Он только прикинулся кротким.

Я знаю — притихший,  
от оста до веста  
Он копит силы для будущей схватки.  
Мне, как матросу, давно известны  
Его океаньи повадки.

И чтоб не ударил он в битве короткой,  
Волны взъерошив затравленным зверем,  
Я принимаю метеосводки,  
Но тишине

перед бурей  
не верю!



## ПАМЯТЬ

Не хочу, чтобы в разлуке,  
Там, за гремящим морем,  
Память ломала руки  
И убивала горем.

Помни без слез и вздохов,  
Чтобы обидная жалость,  
Даже когда мне плохо,  
К памяти не прикасалась.

Чтобы, не зная муки,  
В пасмурный тихий вечер  
Память, как добрые руки,  
Нежно ложилась на плечи.

И, как дыхание друга,  
Как костер у привала,  
В злые январские вьюги  
Сердце отогревала.

---



# ОЧЕРКИ

*Н. БРИШ*

## ЕСТЬ ТАКОЙ КОЛХОЗ

(Из записной книжки журналиста)

Идет дождь, мелкий и скучный. Мотор бешено ревет, и кажется, что газик сейчас распадется на части и никто не узнает о его бесславной кончине.

В водяной мгле вспыхнул огонек, другой, и вскоре показалась деревушка, через несколько километров — еще одна, еще... Чем ближе к морю, тем их больше. Они тянутся цепочкой, которую прерывают песчаные и суглинистые поля, кое-где уже распаханые и засеянные.

Это бригады колхоза имени Сталина, Уломского района. Редко бывают здесь работники из районного центра. Весной и осенью трудно преодолеть пятьдесят километров по бездорожью, а зимой иногда и совсем не бывает пути — снег накрепко закупоривает дорогу.

В шутку сталинцы называют свой колхоз республикой. Стоит он на границах трех областей — Вологодской, Ярославской и Калининской и живет подчас как государство в государстве, поддерживая связь с внешним миром только по телефону и радио.

Но в райкоме партии не смущаются этим обстоятельством. О людях, живущих в этом углу, не очень беспокоятся.

— Да у них же Николай Иванович...

Чтобы понять значение этих слов, надо побывать у сталинцев.

...Четырнадцать населенных пунктов, составляющих двенадцать бригад колхоза, раскинулись на тридцать километров. Первое, что бросается в глаза при посещении каждой деревушки, это штабеля сосновых кражей свежей рубки, большое количество новых срубов и домов.

Уже несколько лет здесь усиленно возводят общественные постройки и дома для колхозников. Теперь весь скот размещен в просторных дворах. Некоторые из них еще не имеют деревянных полов, автопоилок и подвесных дорожек, но всё это будет в очень скором времени.

Напротив недавно выстроенного вместительного клуба начинается сооружение больницы. Гордостью сталинцев является электростанция, которая еще не пущена, но скоро осветит деревни, даст ток механической мастерской, сушилкам, лесораме, щеподральне и многим другим службам. Установлен генератор на восемьдесят киловатт. На случай его капризов или ремонта рядом будет находиться генератор на тридцать киловатт. Энергии хватит с избытком!

Значительную роль в подъеме экономики сыграет техника, которую приобрел колхоз. Сейчас здесь семь тракторов и много почвообрабатывающих и уборочных машин. Колхозники уверены, что в ближайшие годы они поднимут урожайность вдвое-втрое, вернут полеводству утраченный вес и полностью обеспечат свои нужды в зерне и сеяных травах.

О чем бы ни упомянуть, чего бы ни коснуться, всё здесь связывают с именем Николая Ивановича Гусева — председателя колхоза, который уже не первый десяток лет стоит у руководства обширным многоотраслевым хозяйством.

В эти дни у Николая Ивановича особенно много забот: весна оказалась затяжной и дождливой, время уходило и надо было спешить. Возможности к тому имелись исключительные: семена, плуги, бороны, сеялки, сбруя были в полной готовности. Трактора ждали команды к решительному наступлению. Но влага отступала медленно. Приходилось зорко следить за поспеванием почвы. Каждый просыхавший участок обрабатывался немедленно.

7 мая, воспользовавшись ясным, ветреным днем,

тракторист Н. А. Беляев пахал и сеял без усталости. За два дня он вспахал 14 и засеял 25 гектаров — в несколько раз больше нормы.

В ожидании выхода в поле механизаторы не сидели сложа руки, как было в прошлые годы, работали в механической мастерской, на монтаже электростанции, сушилки, оборудовании автопоилок.

Вся бригада МТС, обслуживавшая раньше колхоз, вместе с бригадиром М. И. Сенькиным, передана в подчинение колхозного механика Ивана Ивановича Тихонова, беспокойного, отлично знающего технику человека. Судя по себе, он стремится к тому, чтобы каждый механизатор был специалистом самого широкого профиля.

— Я там им сказал, — объясняет он, — теперь вы не только трактористы, но и слесаря, и водопроводчики, и мельники, и кочегары... Словом, должны уметь делать всё. В колхозе каждая пара рук дорога...

Таким методом Иван Иванович готовил в свое время шоферов, и вот результат — ни одна колхозная автомашина еще не нуждается в капитальном ремонте, хотя все они по своему пробегу имеют на это полное право. А суть в том, что шоферы-универсалы своевременно производят технические уходы и профилактические ремонты, а если требуется более квалифицированная помощь, — к их услугам Иван Иванович и три слесаря механической мастерской, где можно даже выточить некоторые детали.

— Когда приобретем сварочный агрегат, всё будем делать своими силами, — утверждает Тихонов. — Только на капитальный ремонт будем отправлять тракторы.

Став хозяевами колхоза, механизаторы не довольствуются тем, что им поручают, а ищут работу сами, подсказывают председателю, где и как можно применить технику.

Когда понадобилось вывозить с разработок лес, правление задумалось над тем, нельзя ли привлечь к этому механизаторов, которые только что пришли в колхоз. Но раздалась возгласы: «Да им не проехать по болотам — завязнут». В тот вечер трактористы ничего определенного не сказали. А на утро в колхозе стало известно, что трактор проложил дорогу к лесосеке.

Это была первая инициативная ласточка.

При обсуждении плана весеннего сева механизаторы признали, что в прошлые годы они работали не в полную меру, качество обработки почвы было невысоким, и потребовали дать им тяжелые бороны.

День ото дня механизаторы всё больше входят в свою роль действительных членов большого преуспевающего коллективного хозяйства.

В этом, пожалуй, немалую роль играет Иван Иванович, механизаторские и организаторские способности которого известны им еще по тем временам, когда они работали от МТС.

Всё еще в шапке-ушанке, надвинутой на усталые глаза, обросший рыжей щетиной, в драповой курточке, он ничем не выделяется среди колхозников. Трудно представить, что этот человек прекрасно знает машины и электротехнику. Он смело взялся за строительство электростанции и не только построил ее, но и внес некоторые конструктивные изменения в схему монтажа.

Невольно вспоминаются многие русские умельцы, украсившие своими именами историю мировой техники. Да и район, в котором расположен колхоз, в свое время был богат этими людьми. В давние времена здесь варили железо, делали из него многие удивительные вещи, и слава о железной Уломе шла во все концы Руси.

Богат район талантливыми людьми. Есть здесь и певцы, и живописцы, и спортсмены, известные всей области.

В доме, где сейчас живет заместитель председателя колхоза Василий Федорович Кулаков (свой дом он ремонтирует), на стене висят старинные портреты женщины и мужчины, написанные маслом. Рисунок, свет и цветовая гамма портретов говорят о незаурядности мастера. На одном из них значится фамилия Тихонова. Кто знает, может быть это один из дальних родственников Ивана Ивановича, этого потомка железных дел мастеров, который, подобно прадедам своим, очарован избранной профессией.

Говорят, что и председатель колхоза влюблен в технику, что это по его инициативе колхоз приобрел первые автомашины и сейчас держит курс на полную ме-

ханизацию трудоемких процессов в колхозном производстве.

Любовь к технике чувствуется везде и во всем — и в том, что на животноводческие фермы вода подается движком, и в том, что на улицах всюду видны велосипеды, и в том, что в правлении колхоза радиоприемник питается от термогенератора — лампы «молнии», за которой ухаживает Василий Федорович Кулаков. Он несколько лет служил во флоте, приобрел специальность электрика и сейчас равнодушен ко всему, что связано с электричеством и радио. Но это несколько не мешает ему живо интересоваться всеми механизмами вообще.

Мы идем с ним на собрание колхозников в четвертую бригаду. Он шагает быстро, хотя торопиться некуда — люди еще работают и до собрания далеко. На пригорке гудит трактор. Слева от дороги колхозницы разбрасывают по полю навоз. У овражка двое пареньков возятся с плугом.

— Что у вас? — спросил их Василий Федорович.

— Да вот плуг зарывается.

Кулаков сдвинул кепку на затылок и присел к лемеху.

— Предплужник коротковат, — сказал он. — Есть у вас запасной нож?

Не прошло и нескольких минут, как новый предплужник был на месте. Кулаков встал за плуг и сделал борозду.

— Ну, теперь добро. — Он даже не улыбнулся.

Желание всегда быть серьезным не покидает его видимо потому, что ему хочется быть солиднее, ведь к этому обязывает должность.

Если бы он сбросил с лица сосредоточенно серьезное выражение, оно стало бы совсем мальчишеским. Густые светлые волосы выбиваются из-под кепки, надвинутой на бесхитростные серые глаза, вокруг которых нет еще ни одной морщинки.

В нашем распоряжении около часа, и мы идем на молочную ферму. Доярки столпились у колодца и о чем-то оживленно разговаривают. Среди них выделяется статной, но уже не девичьей фигурой, Анфиса Кузминична Волданова. Жесты ее решительны и красивы. Карие глаза с лукавинкой, смотрят испытующе, оцени-

вающе. Такие глаза бывают у людей, которые много повидали хорошего и плохого, и сфальшивить перед ними нельзя.

— Где ваши концентраты? — в упор спросила Волданова Василия Федоровича. — Нынче опять меньше надоили. Да и сена не подвезли...

Кулаков не увернулся от прямого ответа, а подробно объяснил, в чем дело. Оказывается, колхоз недополучил концентраты, причитающиеся за сданное молоко. Заготовители тянули всю зиму, а когда пала дорога и концентраты никто вывезти не мог, они стали предлагать их колхозу имени Сталина. Все сроки прошли, и некоторые фермы оказались без сухих кормов. С дальних покосов не доставили и нужного количества сена.

Кто был в этом виноват? Председатель, его заместитель или бригадир? Пожалуй, виноваты были все вместе, но больше всего — бригадир и секретарь колхозной партийной организации Мария Степановна Хиноворова.

Переход со стойлового к пастбищному содержанию скота должен был произойти без рывка. Очень важно сохранить рационы для скота, пока он полностью не перейдет на подножный корм. Важно это потому, что коровы должны не снизить удои и ни в коем случае не потерять свою упитанность. Если корова потеряет вес, для восстановления его на подножном корме потребуется немалое время.

— Вот и надо нам иметь свой хлебушко! — вмещалась в разговор одна из доярок. — Для себя-то мы в лавке купим, а для коровушек где его возьмем?

К слову сказать, все колхозники измеряют свои доходы теперь на деньги, зная, что на них они могут купить всё, что им нужно. Имея на общий трудовень по шесть рублей, а на льняной — в два-три раза больше, они меньше всего думают о том, сколько на него придется ржи, ячменя и овса...

Но вернемся к переходу от стойлового к пастбищному содержанию скота.

Кажется, партийная организация предвидела неприятности, которые могли возникнуть. Она заблаговременно развернула массово-политическую работу среди животноводов, предостерегая от ошибок.

Это следовало подкрепить организаторской работой

и во что бы то ни стало добиться получения концентратов, подвезти сено, словом сделать всё, чтобы призыв, брошенный животноводам, получил материальное воплощение. Но Мария Степановна Хиноверова понадеялась, что всё будет так, как предусмотрено, и просчиталась.

Спору нет, партийная организация ведет большую работу. Успехи колхоза в немалой степени зависят от ее деятельности, но просчет, который она допустила нынешней весной, обошелся колхозу дорого.

Упускает она и многое другое. Это вскрылось на собрании.

Обсуждались задачи весеннего сева. Все выступавшие в один голос заявили, что сев будет проведен в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне. В этом ни у кого сомнения не было. Но оказалось, что многое можно было сделать быстрее, если бы колхозники ознакомили с новыми нормами.

Да и как можно вести разговор о том, чтобы больше сделать, если не знаешь, что нужно сделать за день, за трудовень.

Так как же, готовясь к весеннему севу, развертывая соревнование, партийная организация не удосужилась ознакомить колхозников с новыми нормами, поставить перед каждым из них конкретную задачу?

Отсутствие конкретности в работе партийной организации заметно и в наглядной агитации. На плакатах, лозунгах, щедро развешанных в правлении, в клубе, красуются только общие призывы. Нигде не увидишь, что перед доярками стоит задача — надоить в мае не менее 200 килограммов молока от коровы, а перед механизаторами и пахарями — провести сев в 10—15 дней.

Мария Степановна признает это упущение. Она профессиональный, хорошо подготовленный партийный работник. Райком партии Хиноверова оставила в те дни, когда партия сделала упор на крутой подъем сельского хозяйства. Местная уроженка, которую все знают и которой доверяют, чувствует себя в колхозе уверенно. О таких людях принято говорить, что они на своем месте.

Подвижная, общительная, она не сидит в кабинете, а всё время пропадает в народе — то проводит собра-

ние, то идет в поле, на ферму, активно вмешиваясь в дело, на ходу подсказывая людям правильное решение задачи, исправляя недостатки. Так и нужно поступать, но одной всего не сделать. Может быть, поэтому и не хватает ей времени о многом подумать, тщательно проанализировать явления, привлечь себе на помощь коммунистов, больше уделить внимания комсомольской организации, которая насчитывает свыше ста членов.

Упущения эти стали ощутимы, когда колхоз приступил к решению одной из важнейших задач — укреплению зернового хозяйства, от которого зависит развитие животноводства.

На собрании раздавались реплики:

— Хлеб нам нужен для скота.

— Об уборке необходимо загодя подумать.

— Убирать надо жаткой, и молотить не комбайном, а молотилкой, чтобы потерь не было.

Шла ли речь о подкормке озимых, о вывозке навоза, о заготовке торфа для компостов, — всё было проникнуто заботой быстрее укрепить кормовую базу для скота.

Работа колхозников о животноводстве становится понятной, когда посмотришь, какую роль оно играет в колхозе.

В минувшем году колхоз получил 2,4 миллиона рублей дохода, из них свыше миллиона — от льноводства и миллион — от животноводства. Нынче планируется добиться трехмиллионного дохода, из которых от животноводства — более миллиона рублей. Основание для этого убедительное. На раздое находятся 385 коров. Доярки уверены, что свое обязательство — получить от коровы не менее 2000 килограммов и на 100 гектаров угодий 160 центнеров молока — они выполнят.

Только молодняка крупного рогатого скота насчитывается свыше пятисот голов. Часть его пойдет на пополнение дойного стада, часть — на мясо. По предварительным подсчетам, будет получено за год не менее 12 центнеров говядины на 100 гектаров земельных угодий.

Серьезно взялись здесь и за свиноводство. С начала года уже сдано государству около 60 свиней, а до

конца года будет выращено около четырехсот, средним весом 80—100 килограммов, то есть около 30 центнеров на 100 гектаров пашни.

Цифры убедительные! Беспокойство колхозников по поводу создания прочной кормовой базы для общественного животноводства, оправдано.

Если в нынешнем году предполагается повысить урожайность зерновых культур в среднем на три центнера, то в ближайшие годы ставится задача — удвоить-утроить урожайность полей.

Перспективы для этого самые благоприятные. Рост поголовья скота позволит иметь значительное количество навоза. А разработки торфяников, которые широкой лентой тянутся вдоль полей, дают возможность закладывать такое количество торфо-навозных компостов, какое потребуется. Имея свою технику, решить вопрос с удобрением полей не представит трудностей.

\* \* \*

Стоял погожий безветренный день. Солнце припекло по-летнему, запели птицы. Куда ни глянешь — всюду люди. Кто занят разбрасыванием навоза, кто — пахотой, кто — боронованием.

Николая Ивановича Гусева нам удалось встретить у пахарей. Он возвращался из дальней бригады, где накануне проводил собрание.

После знакомства с колхозом представлялось, что его руководитель — человек необычный, внушительной наружности, с громким повелительным голосом. Но среди пахарей он выделялся только тем, что был в пальто. Та же шапка-ушанка, что и у остальных, но почище. Говорил он тихо, размеренно, как будто между прочим, а слушали его внимательно. Было видно, что каждое слово председателя здесь ценят и ему повинуются. Молодой паренек обрубал край поля. Николай Иванович окрикнул его и спокойно сказал:

— Надо проложить борозду вдоль всей дороги.

Так и было сделано.

Мы шли в первую бригаду, где находятся правление колхоза, сельсовет, сельпо, больница, клуб, механическая мастерская, школа, магазин, чайная. Разговор вертелся вокруг текущих дел. Встретившись с жур-

налистом, Николай Иванович, не в оправдание, а для того, чтобы дать понять, что из себя представляет колхоз, говорил о коварстве нынешней тяжелой весны, об особенностях здешних почв. Почвы здесь песчаные, с грунтовыми водами, которые находятся от поверхности земли в метре с небольшим. Кажется, для песчаников не страшен дождь, но когда снизу подпирает вода, они долго держат влагу.

В первой же деревушке, которая была на нашем пути, я обратил внимание на большой дом, обнесенный аккуратной изгородью. В окнах виднелись вышитые занавески. Оказалось, что это школьный интернат.

— Много ли ребят здесь живет? — спросил я Николая Ивановича.

— Сейчас немного. Зимой было больше. Теперь на велосипедах домой ездят.

— Сколько в колхозе велосипедов?

— В каждом доме один или два.

Накануне мне пришлось зайти в дом к одной колхознице. Василий Федорович Кулаков предупредил, что здесь живет вдова, у которой трое маленьких детей.

В чисто прибранной избе была простая, но хорошая мебель. Четырехлетний карапуз сидел у окна и разглядывал картинки в книжке со сказками. Я попросил его почитать, но он отвернулся и вопросительно посмотрел на меньшего братишку, как бы спрашивая: «Чего он ко мне пристал, если я еще в школу не хожу? До чего непонятливый». Из радиоприемника, который стоял на комод, слышалась музыка. По русскому обычаю хозяйка стала собирать на стол. Импровизированный обед состоял из яиц, ароматного свиного шпика, слоеного пирога с маком и творога с сахаром. Во всем виден был недостаток.

Или еще деталь. В клубе, где полы были вымыты, как в доме самой чистоплотной хозяйки, перед киносеансом танцевали девушки. В модных пальто, модельных туфлях и капроновых чулках, они ничем не отличались от городских подружек. А танцевали они куда лучше их — задорно, от души. Казалось, эти девушки и не знают той работы, которую они только что выполняли на полях и фермах.

Красивая, добротная одежда и обувь здесь так же

привычны, как автопоилки, радиоприемники, велосипеды.

В правлении председателя ожидал директор Большедворской семилетней школы Николай Федорович Кушцов. Пришел он, чтобы попросить подвезти навозу для закладываемого около клуба колхозного сада. Ямки для пятисот саженцев были уже подготовлены. Место для него выбрано удачно, на южном склоне, в полкилометре от школы, так что юные мичуринцы сумеют часто бывать в саду.

— С виноградом-то как? — был первый вопрос Николая Ивановича.

— Не выжил, как его ни укутывали снегом, — с сожалением ответил Николай Федорович.

— Надо бы приамурского дикого достать. Он и стужу и жару легко переносит.

— А кедры?

— Долго еще им до дела, доживем ли до той поры.

Разговор коснулся и многих других экспериментальных работ, которыми заняты юннаты под руководством учителей. Затем заговорили о жень-шене, маралах, секретах тибетской медицины. Упомянули даже о снежном человеке. Но как бы далеко ни забегала мысль человека, она неизбежно возвращается к сегодняшнему дню, к тому, что окружает его. А окружает здешних людей много интересного. Живут они в центре Дарвинского государственного заповедника, где ведутся увлекательнейшие научные наблюдения. Прегражденные сооружениями судоходного гидроузла воды Волги, Мологи и Шексны затопили Молого-Шекнинское междуречье, образовав Рыбинское водохранилище. Создание такого крупного искусственного водоема с колеблющимся уровнем вызвало большие изменения в природе. Изучением этих изменений в интересах народного хозяйства заняты научные работники заповедника и лесничие. Они охраняют и изучают леса, гнездовья птиц, места нерестилиц рыб, размножают полезных животных и растения, учитывают изменения, вызываемые затоплением. Научные работники заповедника ведут большую исследовательскую работу, связанную с экономическим освоением района. Многие уже сделано по акклиматизации кукурузы, по внедрению в сельское хозяйство двухкосточника, трост-

никового канареечника и других растений. Найдены и созданы сорта и гибриды кукурузы, дающие в местных условиях с гектара по 50—80 центнеров початков и 250—500 центнеров зеленой массы.

Немало интересного рассказывают здесь о жизни и повадках представителей животного мира.

В заповеднике много лосей. Они обитают около старых вырубок, зарастающих гарей и ручьев. Летом их больше всего на берегах водохранилища, куда привлекают лосей ивы и прибрежно-водяные растения. Красивые животные пользуются особой любовью населения и не боятся людей, подходят к деревьям. В одном из колхозов лосенок прожил всё лето, пока не окреп.

Как-то во время сенокоса на лося набросились волки. На опушке леса он оказался перед ним беззащитным, а они всё стремительнее теснили его на середину луга. Отчаявшись оказать сопротивление, лось круто повернул к колхозникам. Так он был спасен от хищников.

С волками здесь борются ожесточенно, разыскивают их логова, уничтожают выводки, ставят капканы.

Против волков ополчены все. Это — главный враг заповедника. Поэтому немногочисленные медведи отходят на второй план и о них редко вспоминают, тем более, что обитают они в зоне затопления, на торфяных болотах.

Однажды в волчий капкан попал медведь. Не зная, за кого его принять — за полезное или вредное животное, — лесничий растерялся и побежал к телефону, чтобы выяснить в научном отделе, как поступить со зверем.

Это похоже на анекдот, но он не далек от правды, ибо каждое живое существо, обитающее в заповеднике, оберегается со всей строгостью.

О заповеднике, его людях, можно написать книгу. Больше всего вызывают восторг люди, с их неограниченными жизненными интересами и страстной жаждой нового.

О чем бы ни завели речь в колхозе, чувствуется, что это очень нужно здесь. Частенько приходилось слышать: «Мы живем вдалеке, автономно, нам без этого нельзя». И люди уверены, что они добьются желаемого. У них нет сомнения, что через год, два или три

у них будет не хуже, чем в городе; о планируемых доходах от каждой отрасли хозяйства они говорят с непоколебимой уверенностью, о покупке дорогостоящей машины — как о факте, которому может помешать осуществиться лишь какая-нибудь бюрократическая закорючка, вроде той, которая помешала нынче приобрести дисковые бороны. По давно заведенному порядку они до сих пор продаются только машинно-тракторным станциям или РТС. Нынче МТС почему-то не дали их колхозу. Но эти препоны преодолимы, и есть надежда, что скоро колхоз будет иметь возможность приобретать всё, что захочет.

Примечательный разговор на эту тему произошел у меня с Василием Федоровичем Кулаковым.

— Вот приедете через годик-другой, посмотрите, на что мы способны.

— Трудно попадать к вам...

— А мы вертолет вышлем.

Я взглянул на серьезное лицо Кулакова — шутка это или дерзкая мечта? Пусть будет что угодно, но в условиях бездорожья для растущего со сказочной быстротой колхоза иметь вертолет — заманчивая перспектива.

Интересы, замыслы и мечты людей необъятны. Невольно задаешься вопросом, под чьим влиянием рождаются эти мечты? И приходишь к заключению, что родоначальником их является председатель, человек разносторонних знаний, умудренный богатым жизненным опытом, бережно и внимательно относящийся к людям, коммунист, для которого государственное заключается в самой ничтожной хозяйственной мелочи.

Не знаю, сколь значительным для этой характеристики может служить такой пример, но мне он раскрыл очень многое.

Я шел, чтобы купить пачку папирос в магазине сельпо. В конце улицы увидел неторопливо шагающего Николая Ивановича в клетчатой рубашке, со сдвинутой на затылок ушанке. Он держал в руке какой-то предмет. Поравнявшись, я увидел, что это старая железная ось от телеги.

— Куда это вы?

— В правление. Вот подобрал в грязи штуковину. Потом в кузницу отнесу — пригодится.

Человек, который осуществляет полную электрификацию колхоза и дорожит найденной старой осью, вызвал во мне чувство большого доверия и радости, что именно он стоит во главе многосотенного коллектива сельских тружеников. Невольно вспомнились слова Владимира Ильича Ленина, о том, что коммунизм начинается там, где проявляется забота об охране каждого пуда хлеба, угля, железа.

О том, что этот человек озабочен общественными интересами, особенно ярко говорит тот факт, что по его настоянию значительная часть доходов идет в неделимые фонды.

Подчеркивая эту особенность, секретарь райкома партии Михаил Степанович Танин говорит:

— У нас есть колхозы, имеющие немалые доходы, но у них еще не перевелось стремление большую часть их израсходовать на оплату трудодней.

Может быть, поэтому у сталинцев не видно иждивенческих настроений и они так уверенно смотрят вперед, надеясь только на себя. Они больше всего пекутся об общественном, зная, что от укрепления колхоза их личное благополучие только выиграет.

Разговор этот зашел по поводу покупки колхозами техники у МТС.

— Довольны колхозники, — улыбаясь, говорил Танин, — а больше всего радуются председатели колхозов. И знаете, радуются не только тому, что теперь будут хзяевами машин, которыми распорядятся по-своему, но, смешно сказать, — тому, что не придется обращаться с просьбами к директору МТС Скалубо. Крутой человек и невыдержанный. Сколько уж раз говорили мы с ним, что нельзя так к людям относиться, а переломить себя он не может. Вот с горючим у нас нынче туговато. Не в пример прошлым годам тракторы были загружены большую часть зимы, лимиты исчерпали. Надо бы что-то придумать, а у Скалубо один ответ: «Что я вам, Баку что ли». Не любит его народ. Николай Иванович Гусев не такой. Голоса не повысит. Старый партийный работник. В политотделе МТС крепление получил. Только здоровьишком слабоват стал, — Танин тяжело вздохнул. — Сердце у него пошаливает.

Что он хотел сказать этим? Скорее всего, что доро-

жить людьми надо. Может быть, в этом скрывалась и затаенная мысль: корреспондент, который сидит перед ним, не зная района, не разобравшись, способен придраться к несущественной мелочи и ни за что ошельмовать одного из лучших председателей колхоза, и это может повредить его здоровью. Но ясно было одно: здесь дорожат людьми и очень бережно относятся к ним. А это окрыляет их, возбуждает инициативу и очень способствует делу.

Танин подошел к карте и с увлечением стал рассказывать о перспективах роста колхоза имени Сталина.

Вдумываясь в слышанное и виденное, приходишь к выводу, что этот колхоз как раз и является тем наглядным опытом для района, о котором говорил Никита Сергеевич Хрущев при награждении медалями и орденами передовиков сельского хозяйства Белорусской ССР. Словом, в Уломском районе есть такой колхоз, на примере которого можно поучиться, как вести и поднимать общественное хозяйство.

Пусть у него есть недостатки, упущения, не в полную силу работает партийная организация, но, веря в свои силы, колхозники, которыми руководит умный человек, могут сделать очень многое, значительно быстрее, чем намечалось, решить задачи, поставленные партией.

Мыслью быстрее преодолеть отставание сельского хозяйства здесь живут все. В подтверждение этому хочется рассказать о последних встречах.

Из колхоза мы возвращались ранним утром, когда солнце только что осветило верхушки деревьев. Денек предвещал быть хорошим. На околице нас ожидала Анфиса Волданова, одетая в черный костюм. Шофер остановил машину, и доярка ловко вскочила в газик. Некоторое время ехали молча. В безоблачном небе показался самолет. Василий Федорович проводил его глазами и сказал:

— Умная машина. Но и на флоте сейчас немало премудрости.

— Посбивали мы во время войны и юнкеров и мессеров, — заметила Волданова.

Слово за слово, и я узнал интересную историю этой женщины, всю войну прослужившей зенитчицей. В

числе многих она находилась на подступах к Москве, оберегая столицу от вражеского нашествия.

Волданова ехала в Вёсьегонск, город, который ближе всех находится к колхозу. Зачем она ехала, никто не поинтересовался. Но город этот послужил предметом разговора о клюкве, которой в Большедворье видимо-невидимо. Многие колхозники собирают ее и продают сельпо, а некоторые в погоне за большим рублем через Вёсьегонск везут клюкву в Москву.

— Пора бы закрыть эту дорожку, — решительно сказала Анфиса. — Больно дорого обходится она колхозу. — Помолчала немного, а потом добавила: — Да всё равно, она скоро бльем порастет. Вон колхоз как в гору шагает. Не будет нужды....

Впереди показалась пролетка. Мы догнали ее, и гаик остановился.

— Что же, друзья, вы не сказали мне, что в райцентр едете. Не погнал бы я жеребца, — возмутился человек, ехавший в пролетке.

— Да ты не волнуйся, сейчас доедем до деревни и подождем тебя. Лошадь ребятишки уведут обратно, — успокоил его Василий Федорович.

Через несколько минут он ехал вместе с нами. Человек этот оказался председателем одного из двух колхозов района, которые не приобрели еще тракторы.

Знакомство он начал с фразы, которая была обращена к нему самому:

— Прислал Скалубо трактор, а он стоит как и в прошлсм году. Сейчас куплю два трактора, и ну их к чертовой матери. Быстрей дело пойдет.

Наблюдая, как организованно начали сев купившие технику соседи, и он решил последовать их примеру.

Новое решение партии, направленное на крутой подъем сельского хозяйства, сломало еще один барьер на пути развития инициативы.

Никто не возразил председателю, хотя Кулаков и Волданова знали о небольших доходах его колхоза. В этом молчании угадывалось, что люди, которые уже почувствовали дыхание нового, полны веры в реальность перспектив, открывшихся с приобретением техники.

Солнце поднялось высоко, заметно потеплело. Еще два-три таких дня, и дорога подсохнет, хотя в тени густых елей еще лежал снег, а по обочинам дороги стояла вода. Я вспомнил местную поговорку: «Осенью час льет — три дня сохнет, а весной три дня льет — час сохнет». Дорога поднималась всё выше, и скоро газик побежал быстрее и ровнее.

## ЖИЗНЬ ДЛЯ НАРОДА

Это было в 1933 году. В городскую библиотеку вошла женщина в большом полушалке и в изрядно поношенном нагольном полушубке. В руке у нее был узелок. Она оглядела полки с книгами и спросила:

— А учебников не продаете?

Ей разъяснили, что здесь книгами не торгуют, а дают их почитать на дом. Женщина заметно оживилась.

— Ишь ты... Так и мне можно взять книжку? — несмело спросила она.

Библиотекарша заполнила карточку на новую читательницу. В карточке значилось: Гликерия Дмитриевна Голованова, член сельхозартели «Веретье», возраст 50 лет. Библиотекарша была обрадована, что рядовая колхозница проявила такой живой интерес к книге, но все-таки намекнула, что книгу нельзя долго держать, другие ее будут спрашивать.

Но не прошло и десяти дней, как Гликерия Дмитриевна снова пришла в библиотеку.

— Уж больно полюбилась книжка. Стала соседкам рассказывать, и так они заинтересовались, что пришлось вслух читать. Будьте добры, дайте мне не одну книжку, пусть соседи почитают. Не задержу книжкито, хоть и не шибко мы читаем, да споро. Вечера-то теперь вон какие длинные.

Библиотекарша охотно согласилась. С этого дня

Гликерия Дмитриевна стала книгоношей. Сотни книг побывали за эти годы в ее аккуратно завязанном узелке. Крестьянка, которая до революции сама была безграмотной, теперь несла знания в родную деревню. Десятки колхозников приобщила она к книге.

... Зимний вечер. Сквозь густую снежную пелену мутно светятся огоньки. У деревенских женщин вечером дела много. Но вот весь скот — и колхозный, и свой — напоен, кормушки полны сена, справились хозяйки и с делами по дому. На улицу выходит женщина с прялкой в руке. Она стучит в окно к соседке.

— Пойдем к Гликерье, сказывала — книжку интересную принесла из города.

Допоздна горит огонек у Головановых. Так, вечер за вечером, была прочитана не одна книга. Затаив дыхание, слушали простые деревенские женщины повесть о подвиге настоящего русского человека — Алексея Маресьева, «Жатву» Г. Николаевой. Суровой своей правдой глубоко взволновала их шолоховская «Судьба человека». Бывало и так, особенно в военные годы, почитают женщины, поплачут, погорюют вместе, и снова примутся за книгу. Хорошая книга бодрила и прибавляла силы.

У многих колхозников пробудила Гликерия Дмитриевна интерес к чтению. Десятки книг из городских библиотек читали пожилой колхозник Александр Иванович Браулов, доярка Павла Ивановна Комарова, Григорий Алексеевич Трусов, Нина Лукичева и многие другие.

Юрий Контюков и семилетку кончил, а читать не пристрастился. Не научили его в школе любить книгу, и бежал он от нее, как «черт от ладана», а вот созорничать, надерзить старшим да нахулиганить — тут уж его дело.

— Заметила я, что парень с умом, да не знает, чем его занять, — рассказывает Гликерия Дмитриевна. — Дай-ка, думаю, я попробую. Однажды вечером в избе у них рассказываю, будто и не для него, про пограничника Карацупу. Гляжу, и парень слушает. «А ты-то откуда, бабка, про пограничников знаешь? Небылицы все плетешь». — «А книжки на что? Нас и не по семь годов учили, да читать умеем». — На другой день приходит Юрка ко мне. «Дай, Гликерия, книжку прочи-

тать, о которой рассказывала». Сперва только про шпионов да про войну читал. А потом страсть как к книжкам пристрастился. Сам теперь в библиотеку бе-  
гает. Не узнать парня. Книжки-то, они ведь ума дают.

Сельскую книгоношу интересуется не только художественная литература. Книжку о вреде курения она читала и у себя, в Веретье, и в соседних деревнях.

Теперь и в колхозе библиотека есть, но, стремясь найти книжку поинтереснее, Г. Д. Голованова по-прежнему посещает городские библиотеки. Лет пять она была записана в библиотеке пединститута, а сейчас берет книги в городской центральной библиотеке, и в библиотеке райкома КПСС.

Гликерия Дмитриевна любит не только романы, повести и рассказы, но и стихи. Речь ее сама по себе добротна и щедро пересыпана меткими народными изречениями. Рассказывая о своей жизни, Гликерия Дмитриевна то и дело переходит на стихотворную речь.

Многие стихи ее любимых поэтов А. С. Пушкина и Н. А. Некрасова звучат для нее особенно проникновенно, стоит только вспомнить о своем житье-бытье до революции. Ее доля была не слаще той, которую предсказывает Н. А. Некрасов девушке-крестьянке в «Тройке». Замуж выдали ее рано и за нелюбого. В детстве Луше пришлось поучиться немного: всего несколько недель. Не успел учитель еще показать все буквы, у старшей сестры родился первенец, и Лушу посадили за люльку. Доучивалась девочка сама, буквы, каких не знала, показали подружки. С их помощью и читать научилась.

А книжку полюбила с детства. Как ни было трудно, не переставала читать Гликерия Дмитриевна. Не переставала — и когда замужем была.

— Бывало, иду за бороной, а перед собой книжку держу, — вспоминает она, — а то в одной руке книжка, а в другой — веревка от колыбели. Не подумайте: и боронила не хуже других, и по дому всё было справно. Только книжку хорошую в то время нам, деревенским, трудно достать было. Купить не на что, а о библиотеках, как нынче, и не слыхали.

В этом году у Гликерии Дмитриевны двойной юбилей: 25 лет назад она стала книгоношей и 75 лет исполнилось со дня ее рождения.

Г. Д. Голованову в колхозе имени Кирова, крупном пригородном хозяйстве, вобравшем в себя и сельхозартель «Веретье», знают не только как книгоношу.

Однодеревенцы давно зовут ее активисткой — еще с того времени, когда в Веретье организовался колхоз. Не богато было Веретье, кулаков в деревне вовсе не было, да и середняков раз-два да и обчелся. А не сразу мужики пошли в колхоз. Г. Д. Голованова — одна из первых, кто понял, что колхоз — это путь к новой зажиточной жизни.

— Что поодинке не под силу, артелью сделаем, — рассудила она. И вот бегала, уговаривала мужиков, а те понимали ее лучше, чем заезжих агитаторов.

Семнадцать лет руководила она льноводческим звеном. Слава о знатной льноводке гремела на всю область. По 40 центнеров льнотресты с гектара из года в год собирало ее звено.

— А лен-то был насколько длинен, мягок да бел, — замечает Гликерия Дмитриевна.

Она была утверждена участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и присутствовала на ее открытии.

Легко успехи эти не давались. По 6 центнеров золы вносили на гектар. Хорошо понимала звеньевая пользу минеральных удобрений — суперфосфата, калийной соли, аммиачной селитры и других — и, конечно, не без помощи книг.

— А ведь как ухаживали за льном, — вспоминает бывшая звеньевая. — Весь выгон на коленках вы-ползаем, ни одной травинки не оставим. Старались делать все вовремя. Вот ленок-то и был хорош.

Гликерия Дмитриевна — одна из самых активных селькоров в Череповецком районе. Она окончила заочные курсы селькоров «Крестьянской газеты». Заметки за ее подписью, печатавшиеся и в «Крестьянской газете», и в районной газете «Коммунист», и в областной — «Красный Север», остро бичевали виновников неполадок в колхозных делах.

Много лет Г. Д. Голованова возглавляла редколлегия колхозной стенгазеты. Газета была интересной, злободневной, зубастой.

Скоро будет 20 лет, как Гликерия Дмитриевна стала членом Коммунистической партии.

А ведь и дома у нее дела было не меньше, чем у других. Девять детей она подняла на ноги, а муж умер давно. Как только началась война, она отправила на фронт четверых сыновей. Позднее добровольно ушли на фронт и две дочери. Каждый день ждала весточки. Сколько радости было, когда приходил конверт со штемпелем «полевая почта». Но не всегда вести были радостными. С войны не вернулись сын и дочь.

Гликерия Дмитриевна чувствует себя еще неплохо. Она в курсе всех колхозных дел. С острой критикой и деловыми предложениями выступает она на партийных собраниях.

И дети давно взрослые, обзавелись своими семьями, а у Гликерии Дмитриевны по-прежнему забот много. Она идет в город не только как книгоноша, но и как ходок по делам своих соседей, а то и всего колхоза.

Вот очередная ее забота. В начале тридцатых годов она сама организовала школу в своей деревне. Ученики ходили в Жидихово, за четыре километра.

— Не такое теперь время, чтобы ребятишки каждый день грязь месили, — рассудила Гликерия Дмитриевна.

Добившись в районе решения об открытии в Веретье начальной школы, сельская активистка сама присмотрела в соседней деревне дом, пригодный для школы, и уговорила мужиков перевезти его и поставить. Г. Д. Голованова сама привезла учительницу из города. А глобус принесла на своих руках. Она помнила, как в детстве завидовала тем, кто учится. И теперь хотелось, чтобы и в ее родной деревне была школа и учились бы в ней все ребятишки до единого. Но не только малыши учились в этой школе. Вечерами заполняли ее колхозники. То, что их дети усваивали легко и быстро, им давалось с трудом: глаза слипались от усталости. Гликерия Дмитриевна на курсах ликбеза стала по-настоящему грамотной. Она научилась не только читать свободно, но и писать.

Немало веретьинцев получило начальное образование в этой школе. Но вот теперь школьное здание пустует. Между тем в Веретье нет ни клуба, ни избы-читальни. Молодежь бегаёт в центр колхоза, где есть хороший клуб. А кто постарше, за четыре километра кино смотреть не побежит. Давно хлопочет Гликерия

Дмитриевна, чтобы разрешили в школе демонстрировать фильмы. Один районный руководитель ссылается на другого, а дело с места не двигается. Гликерия Дмитриевна написала заметку в районную газету. Теперь, наверное, веретинцы будут, благодаря ее стараниям, смотреть кино.

— Пока ноги ходят мало-малю, — говорит Гликерия Дмитриевна, — всё буду в город за книжками ходить.

Слушаешь ее рассказ и невольно восхищаешься судьбой этой русской крестьянки. Сколько довелось пережить ей, матери девятерых детей, сколько потрудились ее руки на колхозном поле, сколько полезного сделала она для своих однодеревенцев и всего колхоза. Гликерия Дмитриевна — одна из тех, кто живет не для себя, а для народа. Поэтому и неугомонна она, несмотря ни на какие годы.

---

## ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА

В тот день в семье старшего горнового Федора Ефимовича Дроздова всё выглядело по-праздничному. С утра стол был накрыт красивой скатертью, на вымытом полу протянулись дорожки, в комнатах вкусно пахло пирогами. Хозяйка — Полина Антоновна — поднялась еще до свету и без конца хлопотала на кухне, прибирала в комнатах.

Ей помогала дочь Галина. Пожалуй, она была озабочена не меньше матери и уже который раз спрашивала:

— Значит, у папы сегодня последняя смена? Или опять отложит? Помнишь, как было неделю назад: всё подготовили, а вечером он заявил: завтра пойду на работу!

— Тогда — другое дело. Тогда у печи что-то не ладилось, разве мог он уйти в то время? А сегодня — точно. Я уже узнала: есть приказ по заводу...

— Ой, как хорошо! — воскликнула Галя и чмокнула мать в щеку.

Она наскоро перетерла посуду и пошла навестить отца.

Чисто выбритый, в отглаженной рубашке, Федор Ефимович стоял перед зеркалом, внимательно рассматривая свое лицо. Заметив дочь, он лукаво прищурил глаза и спросил:

— А ну, Галка, скажи, сколько мне лет?

— Пятьдесят, — не задумываясь, ответила дочь.

— Это по паспорту. А вот так, свиду? — Дроздов молодцевато расправил широченные плечи, высоко поднял голову. — Ну, я жду...

— Право, и не знаю, — замялась Галя. — Я маму позову, она-то уж не ошибется.

Пришла Полина Антоновна. Стараясь быть серьезной, она окинула мужа взглядом, посмотрела на его портрет, висевший в багетовой рамке над кроватью, и, подойдя к Федору Ефимовичу, поправила ему чуб на правую сторону.

— Вот так тебе лучше идет... А вообще-то сейчас ты выглядишь лет... сорока двух — сорока пяти... Одним словом, еще женишок. Хотя и в годах, но...

Все трое громко рассмеялись.

Когда позавтракали, жена и дочь ушли в магазин, а Федор Ефимович бродил по комнатам, не находя, чем бы заняться. Бывает же такое! Иногда дел хоть отбавляй, а тут... Он взял книгу — не читалось. Потом закурил, подошел к окну. Отсюда был виден широкий участок улицы Metallургов. Ни на дороге, ни на тротуаре снегу уже не было, на асфальте играли дети...

«Воюют, пострелята, — усмехнулся Федор Ефимович. — Так и есть: в атаку пошли...» — И тут же вспомнил, что еще два года назад здесь не было ни улицы, ни асфальта, ни пятиэтажного дома, в котором он живет, — во все концы простирался огромный пустырь. Весной и осенью его заливало водой, а летом здесь буйно цвели сорняки. И кто знает, долго ли еще расти бы на этом месте бурьяну, если бы в Череповце не начали строить металлургический завод!

Дроздов был свидетелем рождения нового города. И, видимо, поэтому сейчас вдруг захотелось сравнить Череповец с теми городами, по которым прошли его пути-дороги. Перед глазами встал город уральских металлургов Магнитогорск. Там, у доменной печи, началась его трудовая биография. Двадцать пять лет прошло с тех пор!..

В 1949 году Дроздова перевели в Липецк, горновым на новый металлургический завод. Здесь прошли пять лет, пока на северо-западе страны строилась первая очередь Череповецкого металлургического завода. Ле-

том 1955 года Федор Ефимович с двумя дочерьми и женой переехал в Череповец. Откровенно говоря, с первого взгляда Дроздовым этот город не понравился. Маленькие деревянные домики, булыжные мостовые, и кругом такое затишье... Впрочем, не успели они привыкнуть к новой обстановке, как рядом со старым Череповцем вырос вот этот, новый. А вместе с тем и вся жизнь в городе пошла по-иному. Открылся клуб металлургов, началось трамвайное движение, построили замечательный кинотеатр с двумя залами...

24 августа того же года в Череповце вступила в строй первая доменная печь. В тот день Федору Ефимовичу выпала большая честь нести вахту у горна и выдать Родине первый череповецкий чугунок. А через несколько месяцев рядом с первой поднялась вторая домна. Первую смену у нее также работала бригада Дроздова.

Сколько тревог, сколько незабываемых волнений пережито за эти годы! И вот, всему этому наступает конец. Недавно Федору Ефимовичу исполнилось пятьдесят лет, и, как теперь принято говорить, настало время уходить на заслуженный отдых. Даже не верится, но факт: сегодня в два часа он последний раз пойдет на смену, а завтра получит расчет и будет называться пенсионером....

«А может, рано?.. Ведь я еще здоров и силен, черт возьми!..»

Дроздов отошел от окна, прикурил давно потухшую папиросу и порывисто зашагал по комнате. «Конечно, я еще могу работать. Так зачем же уходить с завода? Тем более, что меня не гонят, а просто предлагают идти на отдых. Говорят, пусть поработают другие. Конечно, очень хорошо, что наше государство имеет возможность так рано отпускать людей на пенсию и обеспечить их, но... но кто же эти другие?.. «Федор Ефимович, конечно, знал, что на заводе остается надежная смена горновых. Весь свой опыт он терпеливо передавал молодым металлургам. Много учеников Дроздова осталось в Магнитогорске и Липецке, с его помощью уже вторыми и первыми горновыми в Череповце стали Александр Гуторов, Егор Дворецкий, бывшие моряки военного флота Борис Голубев и Федор Смирнов. Ребята не подведут своего учителя и будут работать не

хуже его. А трудился Федор Ефимович хорошо. Недаром он имеет много почетных грамот, благодарностей, награжден орденами «Знак почета» и Трудового Красного Знамени...

Мысли горнового прервал стук в дверь. Это возвратились жена и дочь.

\* \* \*

Завод встретил Дроздова знакомым гулом коуперов, шипением пара и звонким пересвистом кукушек-паровозиков, снующих от домен к разливному цеху и обратно. В цехе его окружили товарищи по работе. Каждому хотелось поговорить с ним, спросить, что же Ефимыч теперь будет делать... Оторвавшись на минуту от дела, доменщики первой смены наскоро здоровались и еще издали кричали:

— Значит последнюю вахту стоять будешь? Добро!..

— А мы в честь твоего праздника сегодня весь день печь отменно вели. Чтоб не обижался напоследок...

А когда уходили домой, каждый подошел к Федору и крепко, по-рабочему, пожал ему руку.

— Спасибо, брат, за работу, за дружбу, за то, что вместе бились за чугун и брали свое!.. Не забывай завод. Всякий раз, когда пойдешь мимо, поклонись нашей домне. Помни: около нее всегда есть твои собратья по труду!

Другие прощались молча, лишь тепло взглянув Ефимовичу в глаза. И было в тех взглядах что-то глубоко душевное, трогательное, значимее всяких слов...

В три часа Дроздов принял смену, осмотрел горновое хозяйство и пошел к мастеру печи Виктору Николаевичу Цуканову. Тот сидел за столом и делал записи в сменный журнал. Увидев горнового, Цуканов встал и приветливо сказал:

— Вот и именинник пришел! Ну, поздравляю, поздравляю! Сегодня я заходил в завком и узнал кое-какие новости... Садись, расскажу. Во-первых, директор завода объявляет тебе благодарность за долголетнюю и честную работу и награждает деньгами. Во-вторых, профсоюз подготовил для тебя бесплатную путевку. По моему, в Нальчик. В-третьих, но ты уже наверное знаешь: пенсия тебе установлена в тысячу двести рублей

в месяц. Кажется, неплохо? Вдвоем с женой на эти деньги можно прожить. Не так ли?..

— Можно, конечно, можно, — взволнованно заговорил Ефимович, и его глаза вдруг заблестели. Широкой ладонью он незаметно смахнул с них колющие искорки. — Вполне достаточно... Нам только на питание и нужно, а всё остальное есть... Можно сказать, с избытком. Я ведь всегда прилично зарабатывал и, что в секрете держать, кое-что скопил... А дети... они уже давно живут самостоятельно...

— Ну вот и добре, — кивнул головой мастер. — А в-четвертых, после твоего приезда с курорта завком будет устраивать тебе торжественные проводы. В своем клубе, с музыкой, так, чтобы все слышали... Без этого не обойдется: ведь ты первый из череповецких металлургов уходишь на пенсию!

Виктор Николаевич замолчал, потом пододвинул табуретку ближе к Дроздову и задумчиво сказал:

— Откровенно говоря, Ефимыч, нам жалко тебя отпускать. Уж очень хорошо у нас в смене дело шло. И ребят подучили, и дисциплину наладили... Неудачи и радости делили на всех. Помнишь, как переходящее знамя горкома партии завоевали?

— Да, пришлось, попотеть, — усмехнулся Дроздов и обернулся к стене, около которой под стеклом пурпуром отливало свернутое знамя.

Получив задание от мастера, Федор Ефимович пошел готовиться к выпуску чугуна. Горновые быстро заправили желоба, зарядили электрическую пушку, пробудили летку до корки, и точно по графику Дроздов доложил Цуканову о готовности бригады начать выпуск металла.

— Давай! — скомандовал Виктор Николаевич.

Двое горновых взяли длинный металлический стержень-пику и несколько раз с силой ударили им в клетку. Из пробитого в коронке отверстия вырвался веер искр, а вслед за ним по желобу поползла огненная змейка чугуна. Она медленно пробиралась по песчаному руслу и, казалось, вот-вот потускнеет и остановится...

— Ткните еще раз, — крикнул Дроздов горновым.

Егор Дворецкий и Борис Голубев подняли вторую пику и прочистили ею летку. Ручеек металла стал на-

полняться, его течение заметно ускорилось, и через минуту в желобе уже бушевал бурлящий поток...

Освещенный ярким светом живого огня, Федор Ефимович внимательно следил за работой горновых и время от времени подбадривал их: «Так, так, молодцы!»

Покоренный волей этих коренастых, одетых в серые спецовки и войлочные шляпы людей, кипящий металл становился послушнее, шел ровнее.

Сколько раз старому горновому приходилось наблюдать такую картину, и всегда при виде ее сердце начинало биться чаще, наполнялось радостью торжества над побежденной стихией. Но сегодня он смотрел на нее в последний раз, и может поэтому его могучие руки вдруг дрогнули, едва не выпустив черенок лопаты. «Не заметил ли кто? — с тревогой подумал Федор и оглянулся. — Кажется нет...» На какое-то мгновение мысли перенесли его в Магнитку. На миг припомнилась первая смена у домны. Когда он впервые в жизни увидел огненную реку жидкого чугуна, вот так же задрожали руки, в груди стало тесно и жарко... Но то была первая, а это — последняя смена. Между ними, казалось, сейчас замкнулась вся так быстро пролетевшая жизнь. «А, может, не последняя?» — Дроздов выпрямился, глубоко всадил лопату в песок и подумал: «Я еще приду сюда, обязательно приду! Вот отдохну месяца два-три, а потом снова на завод. Начальник цеха так и сказал: если скучно будет без дела — приходи. Место у горна всегда за тобой... Значит, решено!...».

Федор Ефимович улыбнулся и весело крикнул:  
— Так, так, братцы! Хорошо, всё хорошо!..

\* \* \*

После смены Дроздов принял душ и пошел домой. Было уже около полуночи. На заводском дворе ярко горели электрические огни, а в темном небе, высоко над домнами, полыхал голубой султан газа. За проходной Федор остановился, чтобы еще раз взглянуть на родной завод. Издали он показался ему фантастическим огненным кораблем, величаво плывущим по безбрежному океану ночи... Ефимыч улыбнулся. На душе было легко и радостно, как у всякого человека, окончившего свои большие и трудные дела...

# ВОСПОМИНАНИЯ

*Конст. КОНИЧЕВ*

---

## 1. ВСТРЕЧИ С А. С. СЕРАФИМОВИЧЕМ

В 1924 году редакция Вологодской газеты «Красный Север» командировала меня, как селькора, на совещание рабкоров и селькоров «Правды». На совещание ехал еще, кроме меня, секретарь редакции губернской газеты Евсеев.

В Москве, на третий или четвертый день, Евсеев, сидя позади меня, тихо сказал:

— Обрати внимание: рядом с тобой сидит Серафимович...

— Какой Царяфимович? — не расслышав, переспросил я громче чем следует.

— Да ты потише, — шепнул Евсеев, — разве Серафимовича не знаешь? Дореволюционный писатель и автор нового романа «Железный поток».

— Не знаю. Не читал... — Всё же с любопытством я поглядел на соседа. Писатель Александр Серафимович — бритоголовый, с седыми бровями и подстриженными усами — поглядел на меня, деревенского парня, и, добродушно улыбаясь, проговорил, будто прочел по складам:

— Да, да, Ца-ря-фи-мо-вич...

Он был одет в поношенное драповое пальто; на жилистой шее — цветной мягкий шарф.

Помню, я, немного смутившись, робко сказал:

— В нашей волостной библиотеке пока еще нет вашего «Потока»...

— Получите, почитаете...

В эту самую минуту поднялся председательствующий и

внес предложение избрать в президиум присутствующего на совещании пролетарского писателя Серафимовича.

В голубом зале Дома Союзов рванулись аплодисменты.

«Хлопают, значит люди знают этого писателя, а я еще не дорос, почитать не удосужился...» — подумал я с обидой на самого себя; однако я был доволен, что мне посчастливилось парой слов перекинуться с живым, настоящим писателем, и тут же представил, как я вернусь в деревню, в избу-читальню, и расскажу мужикам о писателе, о его книгах и, конечно, не премину сказать: «С этим писателем в Москве я лично познакомился...».

Ему предоставили слово.

Серафимович рассказал о своей работе в газете «Правда» — о том, как в восемнадцатом году с сестрой В. И. Ленина — Марией Ильиничной Ульяновой он ходил на заводы и фабрики Москвы вербовать первых рабкоров «Правды»...

— А вот теперь передо мной на совещании двести передовых представителей от десяти тысячной рабселькорской рати!.. — сказал он, заключая этими словами свое выступление.

\* \* \*

Разумеется, с должным вниманием я читал и перечитывал книги Серафимовича и, как избач-селькор, пропагандировал их среди деревенских читателей.

...Спустя годы, в Архангельском областном архиве я просматривал «Дело Архангельского губернатора о высылке Александра Серафимовича Попова». Просматривал как материал, как память о былых днях писателя, о днях, относящихся к началу его литературной деятельности.

Серафимович начал писать в ссылке, на дальнем Севере. Деятельность будущего писателя в бумагах охраны отражена довольно скупо. Из дела видно, что 26 июня 1887 года Архангельскому губернатору предписывается из Петербурга: «На основании постановления особого совещания, бывшего студента Петербургского университета, сына есаула, Александра Серафимовича Попова, обвиняемого в политической неблагонадежности, господин министр внутренних дел постановил водворить его на жительство в Архангельскую губернию под особый надзор полиции на 5 лет, считая срок надзора с 11 июня 1887 года...»

— В Мезень!.. Ни дна ему там, ни крыши! — решает архангельский губернатор. И студент Александр Попов, заподозренный в революционной деятельности и связях с Александром Ульяновым (казненным за попытку организовать покушение на царя), направляется в чахлую, цинготную, глухую Мезень, за

полярный круг, где летом не заходит солнце, а зимой незаметны сумрачные короткие дни — сплошная студеная ночь...

В шуме морских приливов и отливов предстала перед Серафимовичем слякотная, негостеприимная Мезень. Городок, основанный в 1500 году, имел в 1887 году ветряную мельницу, салотопню, овчинный завод и кузницу с общим количеством работающих по найму 14 пролетариев!.. Кроме того, в мезенской глухомани торчали три деревянные церкви. За частоколом ограды находилась тюрьма, и, разумеется, в городке был кабак...

В обывательских избах проживали ссыльные. Среди них известный в истории революционного движения организатор Орехово-Зуевской стачки рабочих Петр Анисимович Моисеенко. С ним сразу же сблизился Александр Серафимович Попов. Полицейские надзиратели доносили исправнику, что у Моисеенко и Попова есть два сундука книг и что эти ссыльные поют революционные песни...

В зимнюю пору Александр Серафимович пытливо изучал жизнь мезенских поморов-зверобоев. И под впечатлением личных наблюдений за промыслами, под вой дикой пурги, в тесном чердачном помещении он пишет первый удачный рассказ «На льдине».

Через год из Мезени заболевший Моисеенко переводится в Пинегу, немного южнее Мезени. С большим трудом Александр Серафимович добывается, чтобы и его вслед за Моисеенко перевели в Пинегу. Друзья опять вместе. В Пинеге от политических ссыльных товарищей они получили «Капитал» Маркса и стали его изучать. У книги такое солидное название, что сельской полиции трудно понять, вредная эта книга или полезная. Не заставишь же ссыльных читать евангелие!..

Держиморда, жандармский корнет Мочалов, запугивал пинегжан:

— Улеку! Сгною в тюрьме, если будете слушать разговоры Моисеенко и Попова...

И доносил в губернское жандармское управление:

«П. Моисеенко. Знакомство имеет с ссыльно-политическими со всеми, кто находится в Пинеге. А с Поповым вместе работает столярные изделия. У Попова Моисеенко почти всё время бывает с утра до вечера, только сходит пообедать да ночевать, а остальное время всё у Попова.

Живет Попов (Серафимович) в доме мещанина Алексея Калинина, занимается столярным мастерством вместе с Моисеенко, имеет собственный верстак и инструмент. Знакомство ведет с политическими ссыльными, знаком еще с мещанами Васильем

Козьминым, Николаем Серебренниковым и Александром Рогачевым».

Заканчивается дело сообщением о переводе ссыльно-политического Александра Серафимовича Попова на родину, в область во́йска Донского, под надзор полиции «до остатного срока» и справкой из Министерства внутренних дел о том, что «отобранная при обыске книга сочинений Лассалья возвращена ему быть не может, так как принадлежит к числу запрещенных...»

\* \* \*

Прошло с тех пор более полувека. Талантливый писатель многое сделал за этот срок.

Через 52 года после ссылки на север писатель решил побывать в Архангельске. Он приехал 14 февраля 1941 года. Осматривал изменившийся город, ездил на заводы, посещал вузы. Однажды, проходя по проспекту Павлина Виноградова, он спросил меня, показывая на двухэтажный покосившийся дом:

— Подвал есть тут?

— Есть. Там архивы хранятся.

— А полвека назад там клопов было — прямо ужас!..

Оказывается, несмотря на соседство новых домов, построенных за последние годы, писатель узнал то самое здание, где он отсиживался под арестом у жандармов в ожидании стправки в ссылку в Мезень.

— Сколько теперь населения в Архангельске? — спрашивал Серафимович.

— Триста тысяч.

— А в ту пору, я помню, было около пятнадцати. В двадцать раз вырос Архангельск. Разве узнаешь его?! А вот этот дом я запомнил. Сильны были впечатления первых дней ссылки в места не столь отдаленные...

В номере гостиницы я рассказал Серафимовичу, что описанный в первом его рассказе мезенский зверобой Сорока умер в 1930 году.

— Вот как! Крепок был, долгонько жил, — удивился Серафимович.

Я в ту пору был ответственным секретарем Архангельского отделения Союза писателей. С Александром Серафимовичем встречался ежедневно, пока он гостил в Архангельске. Несколько раз бывал с ним на собраниях читателей. Меня он дважды заставлял прочесть ему что-либо свое, написанное. Я стеснялся. Всё же я решил прочесть кое-что из своей книжки о пограничнике Андрее Коробицыне и «Деревенской повести», над которой

я тогда работал. Серафимович внимательно и терпеливо слушал, а потом сказал по поводу очерка о Коробицыне:

— Просто рассказано. И верится. Такое, сидя в Москве или бегая там же по заседаниям, не написать. Вы знаете, о чем пишете. Чувствуется, что Коробицын — ваш земляк и сверстник. Хорош парень!..

Вслушав несколько глав из «Деревенской повести», Александр Серафимович отозвался также одобрительно и поощрительно:

— Э-э, дорогой собрат по перу. Вот это добро. Пишите, пишите. И ничего не выдумывайте. Получится интересный человеческий документ из быта вологодской деревни. Читатели будут довольны. Вы бытовик и пишете, сначала удостоверившись, так ли это было. Неплохая традиция. Писатели и читатели бывают разные. Будьте сами собой. Найдите себя и упрочьтесь. Нет таких писателей, даже самых наилучших, чтобы каждому грамотному понравиться. Да и плохо бы это было. Стандартизация!..

Тогда же А. С. Серафимович подарил мне три свои книги, учинив на них на каждой надписи. На однотомнике, бережно мною хранимом, старческим почерком выведено: «Конст. Ив. Коницеву, товарищу по литературной работе, чтоб не забывал. А. Серафимович. 19 февраля 1941 г.».

Такое не забывается!..

В Архангельске писатель выступал с воспоминаниями перед многочисленными аудиториями читателей — рабочих, студентов, служащих. Он не читал своих произведений, а только рассказывал о своих жизненных наблюдениях. Больше всего делился воспоминаниями о своих встречах с писателями. О Короленко он говорил:

— Громаднейший талант и честнейшей души человек. Невольно вначале я подражал ему, а потом понял: копия всегда хуже оригинала. Надо писать по своему умению и развивать это умение.

Вспоминая, как он входил в писательскую среду, Серафимович рассказывал:

— Пригласили меня на вечеринку к Леониду Андрееву. Стеснялся, думаю — как да что... А Леонид — чудеснейший товарищ, искренний. Горький тут был. Впервые встретились. Подошел ко мне, протянул руку, отрекомендовался: «Горький из Нижнего Новгорода» — и повел меня знакомить с писателями, а на вечеринке их было человек девяносто. Слышу, и меня признали писателем... — Серафимович помолчал, что-то припоминая или же нащупывая нить оборвавшегося разговора, и продолжал:

— Андреев был очень талантлив, но писал упадочные вещи. Раздвоенный был... Куприн мне казался расшатанным богом. Но смелый писатель. «Поединок» — его самая сильная повесть. Удивляюсь, как цензура не зарезала. Без таланта, честности и смелости такую книгу не написать. Но в личном быту — это был анархист и невыносимый человек. К семье относился как-то чудовищно — то дьявольски груб, то ангельски нежен... Знал я Шмелева; замечательная повесть у него есть «Человек из ресторана». Но этот писатель эмиграции превратился в продажного хама. Почему такое получилось? Да, многие писатели конца прошлого и начала этого века были выходцы из мелкой буржуазии, колебались между буржуазией и рабочими, не чувствовали под собой устойчивой почвы. Горький отбирал лучших и группировал вокруг издательства «Знание»...

Из современных писателей с большой отцовской любовью и восхищением Александр Серафимович говорил о М. Шолохове:

— Хорош земляк, хорош казак!.. А ведь начинал нелегко. Его первую книгу «Тихий Дон» вредители в литературе даже читать не хотели!.. Клеветой, сплетнями человека намеревались с ног сбить. Другой бы расстроился, упал духом. Нет. Не таков Шолохов. Преодолеl преграды. Пошел казак в гору!..

Однажды во время нашего разговора вошел в номер гостиницы подтянутый, стройный офицер из Дома Красной Армии. Он пригласил автора «Железного потока» на вечер встречи с офицерским составом. Серафимович не спеша стал собираться. Глядя на офицера, говорил:

— Хороши у нас молодцы в армии. Да, хороши... Придется им повоевать, придется... Фашизм навяжет нам войну. — И вдруг не по-стариковски бодро тряхнул головой, сказал: — А Гитлера-то все-таки наши бойцы повесят!.. Вы его повесите, вы!..

Это было сказано за четыре месяца до нападения на нас гитлеровской Германии.

## 2. ИЗ БЕСЕДЫ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

5 декабря 1939 года мы, молодые авторы из областей Советского Союза, сидели в клубе писателей на улице Воровского и ждали назначенной беседы с писателем А. Н. Толстым. Ждали, ждали и думали, что Толстому не до нас; не придет, сорвется беседа...

Опоздал он на полтора часа. Две стенографистки, томительно ожидавшие докладчика, в деликатной форме намекнули ему об опоздании.

— А вы бы не ждали, голубушки, вам тут делать нечего. Стенографировать меня не нужно. Мало ли чего человек в дружеской беседе может наговорить, да не всякое слово в строку пишется. Ступайте-ка отсюда!..

Выпроводив стенографисток, Алексей Николаевич извинился перед нами за свое опоздание и пояснил, что он был очень занят на одном ответственном заседании.

— Если не устали меня ждать, то разрешите начать? — сказал он, расстегивая ворот рубахи и ослабляя галстук.

Вся наша творческая конференция разместилась вокруг одного длинного стола, покрытого зеленым сукном. Все мы вместе и каждый в отдельности превратились в сплошное внимание. Толстой сел в конце стола в широкое мягкое кресло. Из карманов серого, полосатого костюма он выложил перед собою на стол замшевый кисет, наполненный легким табаком, серебряную зажигалку, массивную корешковую трубку с роговым мундштуком и закурил. Комбинированные очки-пенсне прочистил белым платком... Пока он не спеша так готовился к беседе с нами, мы в свою очередь с любопытством смотрели на него, запоминая внешний облик большого писателя.

Во время беседы Алексей Николаевич часто откидывал назад причесанную с редкими, но длинными волосами голову и говорил степенно, иногда спрашивая нас:

— Ну, чего еще я вам недосказал?.. — И, вспомнив, чего недосказал, продолжал беседу, ухватившись за новую мысль.

О чем он говорил, трудно было бы в деталях припомнить много лет спустя. На выручку приходит записная книжка. В ней у меня сохранилась краткая запись отдельных его мыслей.

В начале беседы он говорил в общих чертах об искусстве, как о познании и отображении человеческого бытия... Потом — что требуется от писателя. Отвечая на этот вопрос, он сказал:

— Прежде всего в содержании ваших произведений должна быть советская, коммунистическая идеология. Марксистское мировоззрение. Затем очень важно уметь наблюдать за жизнью. Иметь творческую интуицию, обладать смелостью обобщения. Умейте наблюдать и отмечать в своей памяти все вами виденное...

— Так вот, — поучая нас, продолжал Толстой, — писатель должен уметь определять человека по выражению лица. Надлежит, конечно, описывать и одежду, если она к месту и о чем-то говорит, что-то характерное подчеркивает в человеке... И еще скажу: умейте подмечать и описывать жесты. Хорошо у Льва Толстого: мужик, разговаривая с Левиным, отвернулся, и у него задрожал затылок. Это не всякий может заметить и запомнить.

Заговорил о языке произведения:

— Хороший, русский тургеневский язык — прежде всего! Впрочем, у Тургенева язык хорош, но искусственный. Толстой и Чехов в языке лучше Тургенева. У них фразы четкие, без прилизок... Умейте фразу строить так, чтобы она была живуча, как кошка: ее швыряй как угодно, а она всегда на все четыре лапы становится. Это уж не писание, если автор в одной фразе запутается в четырех «что» и пяти «которых». Часто жалуются на настроение. Не пишется, да и только. Если и с вами это случается, пишется нудно, вяло, как в дождливый понедельник после похмелья, так уж лучше не беритесь за перо!.. Писатель обязан владеть формой. Форма — архитектоника произведения, без чего ни один жанр литературы невозможен. Бывало, грешили формой и крупнейшие мастера. В чем недостаток гениального романа «Анна Каренина»? Да в том, что главы в нем, как две колоды карт перетасованы между собою. Смело бери и ставь четвертую главу на место седьмой и т. д. Без недостатков форма произведений только у Пушкина, Лермонтова, Данте... Сложная задача для писателя найти форму, соответствующую содержанию... Не учитесь у американца Хемингуэя и подобных ему, коверкающих нормальную форму и строящих разодранные сюжеты...

Звякнув порожним стаканом об очередную бугылку с нарзаном, Толстой сказал:

— Да, нужно сказать о плане: на бумаге или в голове, план произведения составляется логически — одно вытекает из другого. В творческом процессе план может ломаться. Пишется, подчас, иначе, не предусмотренное планом, а гораздо лучше, интереснее...

Дальше разговор зашел об историческом романе.

— Исторические романы должны перекликаться с современностью, с современной действительностью. Содержание исторического романа включает в себя не только голые события и факты, но и опыт автора, его умение с современных позиций подступить к созданию произведения. История русского народа — великое дело!.. И на писателя, занимающегося исторической темой, мы не должны смотреть как на старьевщика, досужего от занятия другими злободневными темами. История нашего народа изумительна. На самых опасных, крутых поворотах наш русский народ всегда был верен своему Отечеству. Ленин верил в силы своего народа, он вооружил народ революционной теорией. В самые тяжелые годы разрухи и интервенции наш народ вышел победителем. До берегов Тихого океана он протопал в липовых лаптях и вышвырнул со своей земли последних заморских не-

другов. На такое дело способен только наш русский мужик! — сказал Алексей Николаевич, и сдержанной, счастливой улыбкой озарилось его лицо...

— Меня иногда упрекают, что в романе «Хлеб» я перетасовал, передвинул с места на место исторические факты. Вполне возможная вещь! И не виню себя в этом... На мой убежденный взгляд, в историческом романе важно соблюдать не хронологию фактов, а закономерность. Не натуралистическая точность, а закономерность — главное...

Говоря об языке исторического романа, он обратил внимание на следующее:

— Мой «Петр Первый» написан языком вполне современным. Архаизирована лишь тональность речи. Было бы реакционно в наше время прибегать к древнему языку, даже в историческом повествовании... Тональность архаизировать — это другое дело. Я знаю, Чапыгин писал как-то пьесу языком XIII века. Читал Блоку. А тот выслушал и сказал: «Не знаю, возможно талантливо, но я ничего не понял...».

— Писать надо понятно. Скажу прямо: местами псалтырь — не глупая вещь, однако сплошь и рядом верующие читают творения царя Давида с таким же сознанием, как попугаи говорят по-человечески. Разговаривайте с многотысячным, многомиллионным читателем только своим языком, своим голосом. Гоголь, Пушкин, Толстой, Достоевский — каждый в своих произведениях чувствуется осязимо живым. Их можно узнать по голосу. У нас, к сожалению, еще нередко встречаются книги очень бледные, сухие, безликие. Читаешь и не видишь, не чувствуешь за таким, с позволения сказать, стилем ни автора, ни его героя. И все-таки советская литература даст изумительные результаты. Прогрессит на весь мир, в веках...

# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

*В. ПУДОЖГОРСКИЙ*

## МИР В КРАСОТЕ

«Путь поэзии — это путь открытий неведомых стран души человеческой»

(М. М. Пришвина).

## НАШ СОВРЕМЕННОК

«Каждый настоящий талант содержит в себе чувство современности... и нет писателя вне современности, хотя бы он писал о египетских пирамидах или о листке осины, трепещущем на своем стебельке». Эти слова большого талантливого писателя М. М. Пришвина целиком относятся и к его творчеству.

Правда, книги Михаила Пришвина при своем появлении не вызывали бурных литературных споров, не заставляли всех неделями и месяцами говорить о них, как это случалось иногда даже с посредственными произведениями. Но зато книги Пришвина не забываются, как многие нашумевшие, — они оставляют след в сердце читателя, заставляют через несколько лет с трепетом перечитывать тот или иной рассказ и всегда находить что-то новое, свежее, ранее не замеченное. И, конечно, не только красоты языка, не только умение передавать «психологию» животных и рисовать полные прелести пейзажи делают это чудо; глубокие и чистые человеческие мысли — вот что дает книге неувядаемую молодость и истинное бессмертие.

Начав писать еще до революции, Пришвин жил и работал в эпоху построения социализма в нашей стране, и хотя он не создавал больших полотен, где бы показывал движение народных масс к социализму и решал коренные вопросы социалистического строительства в СССР, но, большой мастер, он должен был по своему отразить мысли и чувства нашего времени.

Именно по-своему. Потому что, как охотник Мануйло из повести-сказки «Корабельная чаща» работал на общую пользу на

своем «путике», так и писатель Михаил Пришвин шел в литературе своей дорогой, и эта дорога была в том же направлении, что и движение всего советского народа и всей литературы социалистического реализма.

М. М. Пришвина неоднократно обвиняли в бегстве от современности, в бегстве от людей. Это было неверно с самого начала. Писатель не бежал от людей, а вел их за собой в леса, тундры и степи, — и вся природа оживала от присутствия человека, который входил в нее как хозяин, творец, преобразователь. Поэтому жизнь природы в произведениях Пришвина отражала жизнь людей. Ведь интимный пейзаж, по словам Пришвина, «есть не что иное, как попытка проникнуть глубоко в душу человека, в ее неукротимое движение, останавливая свой взгляд на природе».

«Конечно, — утверждал писатель в своем дневнике, — можно и ландыш описывать, но только надо знать, что до конца его всё равно не опишешь... Единственно, что можно сделать художнику, — это добраться до другого человека и своим образом ландыша вызвать его чувство ландыша и его понимание. Так все образы природы не есть сама природа, а только средство обмена людей между собой. И значит, если я о природе пишу, то пишу я о самом человеке в его сокровеннейших переживаниях».

Но не только в своем отношении к природе показан наш советский человек в творчестве Пришвина. Замечательный писатель тонко и поэтично передает новые отношения между людьми в социалистическом обществе, отношения взаимной поддержки, дружбы и товарищества.

Идеей дружбы и сплочения людей в их борьбе за мир и в строительстве коммунизма пронизана повесть-сказка «Корабельная чаща». О патриотизме советских людей, об их бескорыстном служении Родине в суровые годы Отечественной войны говорит писатель в «Повести нашего времени» и в небольшом рассказе «Золотой портсигар». О новом отношении к женщине-матери в нашем обществе рассказывается в новелле «Обеденный перерыв». Гимном труду простых и скромных советских людей звучат такие произведения Пришвина, как «Золотая рука», «Хороший человек» и многие другие.

Надолго запоминается мальчик Вася из рассказа «Молодой колхозник». Этот деревенский паренек — новый хозяин нашей страны, защитник колхозного уклада жизни, честный, прямой, любящий труд.

Не случайно также, что М. М. Пришвин уже в 1926 году обратился к образу В.И. Ленина, создав очерк «Ленин на охоте».

И так в большинстве произведений Пришвина, особенно последнего периода, — везде писатель говорит о самом дорогом и близком нам, помогая иногда лучше понять самих себя.

Поэтому и сегодня, спустя четыре года после смерти Михаила Пришвина, мы находим в его произведениях живые мысли нашего современника — советского человека.

## ПОЭТ И ФИЛОСОФ

Очень трудно назвать прозаиком создателя «Кашеевой цепи» и «Жень-шеня», «Кладовой солнца» и «Осударевой дороги». Пришвин в своем творчестве, даже в этнографических очерках, выступает прежде всего как поэт-лирик.

Во многих рассказах, в большинстве стихотворений в прозе и в романе «Кашеева цепь» автор является центральным персонажем. В других произведениях он наблюдатель, слушатель, участник происходящих событий. И, наконец, везде он активный рассказчик, близкий знакомый и друг своих героев, волнующийся за них, хотя и знающий больше, чем они.

С лиричностью связана такая особенность М. М. Пришвина, как постоянное его обращение к читателю. Писатель как бы ведет задушевный разговор с другом, которому можно верить, который поймет. Всё творчество Пришвина — дорога к этому другу. Иногда читатель становится полноправным персонажем его произведений, которого автор наделяет определенными чертами. Этот персонаж — всегда чуткий, честный, трудолюбивый советский человек, преобразователь природы.

Своеобразие произведений Михаила Пришвина также в удивительной непосредственности, когда автор постоянно на глазах у читателя открывает что-то новое, невиданное, и показывает это невиданное другу, и радуется вместе с ним тому, что увидел и узнал.

Отсюда жизнерадостность писателя. Пришвин умеет разглядеть поэзию будничного, обычного. Это жизнелюбие связано в корне своем с нашей эпохой, эпохой строительства коммунизма.

Все книги Михаила Пришвина согреты большим и искренним чувством любви — к Родине, к природе, к людям. Писатель видел в любви, даже неразделенной, источник вдохновения и творчества.

В «Фацелии» — этой трогательной поэме об утраченной и вновь найденной любви, любви чистой, как родник, по-человечески простой и душистой, как полевой цветок, — есть сцена, где описывается чудесный вечер на тяге, когда «птицы поют, всё

есть, но вальдшнеп не прилетел». Это наводит автора на воспоминания: «сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом — она не пришла». И отсюда — размышления о жизни, о счастье, которое «вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделить от «таланта». Кончается эта маленькая симфония возвращением к теме вступления: «... Стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»

Вот это соединение лирики с философией и составляет главную черту творчества М. М. Пришвина. Писатель умеет в душевной беседе с другом-читателем не только показать новое и поэтическое вокруг нас, но и подняться при этом до глубоких и гонимых обобщений.

Эта черта Пришвина особенно ярко проявилась в его стихотворениях в прозе, вошедших в циклы «Календарь природы», «Лесная капель», «Глаза земли» и другие. Эти небольшие лирико-философские рассказы подобны глубоким озерам. Поверхностью своей они отражают жизнь окружающей нас природы, а в глубине таят живительные источники, которые помогают жить людям, учат их любить друг друга, бороться за правду, хранить в себе чистоту чувств и мыслей, быть принципиальными, чистыми, чуткими.

Поэтому главная задача исследователей творчества М. М. Пришвина — проникнуть в сокровищницу больших мыслей, поучительных раздумий и ценных наблюдений писателя и бережно разобраться в этом богатстве, не ломая, не пачкая их неосторожным прикосновением, а помогая засиять им полным блеском, видным каждому.

## «ПОКАЗАТЬ ВЕСЬ МИР В КРАСОТЕ»

Когда читаешь Пришвина, невольно задумываешься: в чем сила писателя, почему страницы его книг не только доставляют радость, как всякое художественное произведение, но вселяют бодрость, энергию?

Решающим здесь является принцип изображения действительности — принцип социалистического реализма. М. М. Пришвин говорил: «У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаково и темные и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм! Настоящий ре-

лист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту сторону путь считает реальностью».

В этих словах — утверждение решающей роли мировоззрения в творческом процессе. Если молодой Пришвин преувеличивал значение интуиции, то зрелый Пришвин стоял на позициях материалистической эстетики, признавал художественное обобщение. «Не повторение, а опыт жизни» — так определял писатель произведение искусства. Кроме правды, по мнению Пришвина, нужно еще глубокое волнение.

Художник искал в природе человеческое, гуманное, умное. Он стремился показать людям «весну света» — в природе и в жизни людей. Пришвин глубоко чувствовал нашу эпоху, и книги его — это гимны радости, зовущие к творчеству, к активному познанию окружающего нас мира. Эта радость сильна тем, что за нею — жизненный опыт и преодоление утрат.

У нас встречаются еще писатели, которые не знают жизни. идеализируют ее, а столкнувшись с каким-нибудь частным фактом, разочаровываются во всем и переходят от розовой краски к черной. Михаил Пришвин верит в нашего советского человека не потому, что глядит на мир через розовые очки, а потому, что умеет по-горьковски измерить и оценить человека по хорошему в нем.

## МАСТЕР ПОЭТИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ

Пришвина по праву можно назвать непревзойденным мастером короткого рассказа в нашей литературе.

Народная сказка, охотничий рассказ, тургеневское стихотворение в прозе и наблюдения ученого слились в пришвинских новеллах в нечто новое, своеобразное и удивительное. Поэтическая миниатюра заняла в творчестве писателя ведущее место, войдя составной частью и во многие более крупные произведения.

Но особенно важно то, что новелла в творчестве Пришвина обогатилась завоеваниями метода социалистического реализма. Сказка Пришвина всегда телесна, почти осязательна, она живет, казалось бы, самой обычной земной жизнью. А бытовые подробности и элементы научных знаний опоэтизированы, согреты большой и светлой мечтой. В произведениях писателя живет тот самый «настоящий», «органический», «свойственный росту сознания» романтизм, который, по его словам, «есть сила, образующая в человеке личность, открывающая в человеческой единице то, чего не было раньше в других».

Для Пришвина как писателя характерно умение видеть кар-

гину в целом и в то же время выделить основное, главное. При этом автору достаточно кочки, дупла или «топляка», чтобы начать большой разговор.

Герои многих пришвинских произведений — животные. Автор заставляет их говорить, но не человеческим языком (за исключением разве только «говорящего грача»), а своим собственным языком — языком носа, ушей и т. п. И каждый зверь, каждая пичужка, даже каждое деревцо — на свое лицо. Сколько разных собак описал Пришвин, и все они не похожи друг на друга, потому что каждый пришвинский образ индивидуален. Его обобщение идет через индивидуализацию и характер. «Тип должен быть со своим характером», — утверждал писатель.

Сюжет пришвинских миниатюр также своеобразен. Вернее — в них почти нет сюжета, нет сюжетного костяка, а имеется только сюжетная «зацепка», от которой повествование ведется совершенно свободно, заканчиваясь или своеобразным авторским выводом-полувопросом, или возвращением к тому, с чего начинался рассказ, или — иногда — неожиданной развязкой.

Некоторая недосказанность, характерная для миниатюр Пришвина, придает рассказам особую прелесть, заставляя читателя думать.

Во многих новеллах повествование ведется как бы в двух планах. Автор пишет, например, о дереве, которое стало «топляком», и одновременно — во втором, более глубоком плане — ведет разговор о судьбе человека и о чуткости к людям. Или в рассказе для детей Пришвин говорит о еже и — одновременно — о маленьком смешном мальчике; получается, как в увлекательной игре, — весело и интересно.

Пришвин стремится вызвать своими рассказами светлую улыбку. Его произведения согреты добродушным и лукавым юмором, который всегда к месту и всегда необходим. У Пришвина нигде нет смеха ради смеха, он избегает надуманных комических положений для своих персонажей, а если иногда читатель и посмеется от души над незадачливым героем, то тем крепче он его запомнит. Ведь «с помощью улыбки», по словам писателя, «можно бесконечно упростить высказывание мысли».

Язык Пришвина литературен без трафарета и народен без стилизации. Синтаксис его произведений живой, в нем преобладают разговорные интонации. Писатель призывал «так написать слово, чтобы оно было, как будто оно сказывается». И речь его отличается простотой и точностью в употреблении слов.

В своем дневнике Пришвин писал: «Если я так заострю фразу, что люди скажут потом: «Так еще никто не писал!», то это,

наверно, будет прекрасная фраза. Но если я сам преднамеренно с тем, чтобы так люди сказали о мне, заострю во весь свой ум и талант, чтобы именно с намерением сказать лучше всех, то эта претензия, как ложка дегтя, отравит весь мед славной фразы. Так писали в свое время декаденты, и я, одно время увлекаясь ими, писал, как они, с претензией. Спасся я от них скорее не искусством, а поведением: мне отчего-то страстно захотелось быть в чем-то, как все, и писать так же просто, как все говорят. И весь мой некоторый успех состоит в том, что мои читатели в моей писанной фразе узнают свою, сказанную иногда шепотом другу».

В произведениях Пришвина рядом живут слова, казалось бы, различных литературных стилей. Писатель умело использует многозначность слова, возвращая иногда научным терминам их первоначальный смысл или оживляя забытую основу слова («зяблик» — от «зяби» и т. п.). Новых слов Пришвин не придумывает, он чаще вспоминает забытые литературой слова или вводит в нее слова из местного диалекта и охотничьего жаргона.

Трудно назвать в нашей русской советской литературе писателя, который бы так тонко чувствовал родной язык, как Михаил Пришвин. Творчество М. М. Пришвина стало важным этапом в развитии русского литературного языка.

Любой советский писатель не может сейчас пройти мимо достижений замечательного певца русской природы и русской души, большого мастера нашей современности, Михаила Михайловича Пришвина. Учиться у Пришвина — долг каждого литератора.

## ПЕРВАЯ КНИГА Вл. ГИЛЯРОВСКОГО

Когда Вл. Гиляровский примчался на лихаче к Сушевке, здесь уже пахло гарью, снег вокруг был покрыт сажой и ветер разносил клочья обгоревшей бумаги. С заднего двора полицейской части поднимался густой дым — жгли тираж книги, запрещенной цензурой.

Измятый и обгоревший лист, с уже оторванным «на самокрутку» углом, попал в руки автора. На нем было напечатано: «Вл. Гиляровский. Трущобные люди». Это была первая книга «дяди Гиляя» — популярного газетного репортера, известного в литературных кругах журналиста.

С тех пор прошло семьдесят лет... Книге, набранной и отпечатанной еще в 1887 году, суждено было увидеть свет лишь в наши дни<sup>1)</sup>. Одно название — «Трущобные люди» — могло, по словам А. П. Чехова, напугать цензуру, а в книге было собрано пятнадцать рассказов и очерков: «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар», «Потерявший почву»... Все они печатались раньше в газетах и журналах, но собранные вместе приобретали обобщающий смысл, составляли цельную и мрачную картину бедствия и нищеты народа, униженного и задущенного эксплуатацией, выброшенного «на дно» жизни, в трущобы.

А. П. Чехов, знакомясь с уцелевшим у автора экземпляром

<sup>1)</sup> Вл. Гиляровский. Трущобные люди. Этюды с натуры. М., ГИХЛ, 1957, 128 стр.

«Трубошных людей», говорил ему: «В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда всё вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное... Всё гибнет, и как гибнет!»

Раскрывая судьбы своих героев, В. А. Гиляровский показывает трагическую безысходность их нищенского существования, обездоленность народных низов в мире капиталистической наживы. Герои его рассказов — жертвы эксплуатации, произвола, унижения человеческой личности. Положение этих людей поистине беспросветно. Жизнь уродует их, ломает, опустошает, и люди падают и гибнут под ее жестокими и неумолимыми ударами. Это уже «бывшие люди», «трущобные люди». Но даже на дне они не утрачивают подлинно человеческих качеств, а потому большой любовью согревает писатель свои рассказы о них.

Книга о «трущобных людях» открывается очерком «Человек и собака». Тяжела участь совсем одинокого, бездомного, потерявшего свое имя старика-бродяги из холодной северной губернии. Опустившись на дно, в трущобы старой Москвы, он, подобно горьковскому Клещу, еще надеется подняться, вырваться из подвалов, приютивших его. Но Вл. Гиляровский не видит выхода для людей, смирившихся с бродяжной жизнью.

Единственного друга старика-бродяги собаку Лиску поймали «ловчие» и поместили в «собачий приют». Некому теперь, как раньше, греть ноги бездомному старику, не с кем и словом переболтаться. Но, тоскуя, бродяга счастлив тем, что другу его жидется тепло и сытно. Так и замерз он на льду Москвы-реки с хитрыми своими мечтами.

«А кому нужен этот бродяга по смерти? — спрашивает писатель, заканчивая рассказ. — Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для кого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа» — могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет: «Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!..» Хуже собаки!..».

Бездомный бродяга из рассказа «Человек и собака» — одна из многих жертв нищеты и несправедливости, бесчеловечных социальных отношений, царящих в буржуазном обществе. Не находя выхода, гибнут и другие герои очерков В. А. Гиляровского. Спивается лакей Спирька, вышиблен из жизни талантливый актер Ханов, жертвой трущобы становится бывший военный Иванов, падает в публичный дом Екатерина Казанова. Печальна судьба и

бедного вологодского крестьянина Никиты Ефремова («Один из многих»), отправившегося на заработки в Москву, так как «дома хлебушка и без его рта не хватит до нового». Раздетый и голодный, бродил он долго по Москве в поисках места, ночевал в зловонном притоне, несправедливо был обвинен однажды в воровстве и посажен в тюрьму.

Среди других очерков и рассказов, вошедших в книгу, было и самое первое произведение Вл. Гиляровского (если не считать стихотворение «Листок», опубликованное в Вологде еще в 1873 г.) — очерк «Обреченные», присланный в свое время отцу в Вологду и напечатанный в 1885 году по настоянию Глеба Успенского в «Русских ведомостях».

С влажными от волнения глазами слушал Глеб Успенский этот очерк еще до его опубликования. «Ведь это золото! — говорил он автору. — Чего ты свои репортерские заметки лупишь. Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал, пиши, пиши очерки жизни! Пиши, что видел... Ведь ты показал такой ад, откуда возврата нет... Приходят умирать, чтобы хозяин мощну набивал, и сознают это и умирают тут же. Этого до тебя еще никто не сказал».

«Обреченные», как и другие очерки «Трущобных людей», — «зарисовка с натуры». Писатель, уйдя из Вологды, из дома своего отца, на себе испытал адские условия подневольного труда на свинцово-белильном заводе в Ярославле и нарисовал в первом своем очерке потрясающе правдивую картину мрачного быта, жалкого существования, жестокой эксплуатации пролетариата.

Хмуρο, неприветливо выглядит белильный завод купца Копейкина, словно крепость, обнесенный высоким грязным забором. Острожным холодом веет от него. С разных концов России в поисках заработка стекались сюда нищие, голодные, бездомные — «обреченные» люди. Вскоре рабочие начинали кашлять, задыхаться. Свинцовая пыль забиралась в легкие, чернели лица рабочих, глубже западали глаза. Отсюда у них была одна дорога — в могилу.

Каторжный труд на хозяина надрывал силы рабочих, темнота слепила их, медленно росло сопротивление. Тяжело переживая смерть товарищей, рабочие злобно грозят хозяину: «Погоди ужо ты!».

Правдиво, с большим знанием жизни и быта народных низов, рисует Гиляровский московские трущобы и их обитателей, раскрывая те социальные условия, которые морально опустошают человека, порождают босячество. Сила обличения сочетается у писателя с горячей симпатией к трудолюбивому и талантливому

русскому народу, с показом его мужества и человечности, с верой в его будущее.

Еще задолго до революции в одном из стихотворений Вл. Гиляровский писал:

Не бойтесь, хоть ветра напевы унылы...  
Надейтесь: воспрянут могучие силы,  
Весна золотая придет!

Вот этой верой в могучие народные силы, этим ожиданием «весны золотой» близок и дорог нам автор сожженной царской цензурой и только теперь возвращенной советскому читателю книги «Трущобные люди».

---

## ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ

В 1957 году Лениздатом выпущена книга, которую вологжане прочтут с особым интересом. Это роман Петра Куракина «Жизнь побеждает»<sup>1)</sup>.

Ровесники писателя вслед за ним вспомнят трудности своего поколения, родившегося в начале века и, конечно, будут благодарны автору за подлинную правду его книги, за искреннюю взволнованность многих страниц, которые учат жить в борьбе, гореть, а не тлеть, уметь любить и ненавидеть.

Герой романа — человек могучего поколения, он жил для того, чтобы «... пришли в жизнь и начали ее улучшать другие поколения, более могучие и более счастливые, благодарные тем, кто выжил, выстоял в трудные годы». И потому книга П. Куракина нужна молодежи. О многом задумается молодой человек, читая в эпилоге слова:

«Один раз живет на земле человек, и если не было в этой жизни кривых дорог, если прошли эти годы так, чтобы другим людям жилось легче, — то похож этот человек на яркий огонек, от которого идет к людям чистое, ясное, согревающее душу тепло».

Молодежи нашего города и области книга рассказывает о родных местах, о людях, которые здесь начинали строить новую жизнь. Много подробностей читатель узнает и о Тотемском уезде.

---

<sup>1)</sup> П. Куракин. Жизнь побеждает. Роман. Л., Лениздат, 1957, 496 стр.

о работе продотряда в этом районе, о заводе в Печаткино и его людях, о Няндоме и Великом Устюге.

Но главный интерес к книге у читателя-вологжанина вызван, конечно, не только этим. Роман насыщен материалом, в нем очень много событий, они дают почувствовать напряженность времени, героинку будней простых людей, рядовых членов партии.

События романа охватывают большой промежуток времени — от первой мировой войны до XX съезда партии. Всё его содержание объединено фигурой центрального героя — Якова Курбатова. Тяжелая жизнь Яши в доме дяди в городе окончилась изгнанием из школы и побегом в Печаткино, к матери. И только здесь, на заводе, в рабочем коллективе, под руководством заводских большевиков, мастеров Чухалина и Павла Алешина, начинается воспитание характера настоящего человека.

Большую, трудную, но яркую жизнь прожил герой романа. И она очень многому учит читателя.

В книге романтичны и увлекательны страницы, рассказывающие о молодежи 20—30-х годов. Учеба, споры, работа в продотрядах, комсомольские субботники, борьба с бандитизмом — всё это закаляло молодежь.

В мороз, в лесу, вдалеке от жилья работают комсомольцы на починке трубопровода. Работают без отдыха, много часов подряд. Отдыхать опасно: можно замерзнуть. В такие напряженные моменты писатель показывает сильные и слабые стороны своих героев, и потому особенно близки становятся они читателю.

В нашей литературе написано очень много хороших книг об этих годах. И тем не менее, роман П. Куракина читается с интересом. Автор находит свои слова и свою искреннюю интонацию участника событий тех дней. Это хорошо. Но для художественного произведения необходим очень строгий отбор материала, фактов.

Обилие их приводит иногда автора к поспешному перечислению событий, быстро следующих одно за другим. Это несколько снижает художественные достоинства книги. Наряду с запоминающимися образами Якова Курбатова, Лобзика, Данилова, Валентина Кията, есть и не совсем законченные характеры. Не до конца ясен Булгаков, не совсем понятны превращения Чухалина из скромного большевика в бюрократа и зазнайку, бледен образ Тани, жены Курбатова.

Ясная очерченность характера персонажа часто вовсе не зависит от места, которое он занимает в произведении. В романе, например, сравнительно немного страниц посвящено большевику-ленинцу Данилову, а между тем это отчетливо выписанный пор-

трет. Честность, прямота, внешняя резковатость, строгость в сочетании с чуткостью к людям, простота, справедливость, стремление всегда опираться на массы — вот основные черты Данилова.

Несмотря на некоторые недостатки, роман оставляет хорошее впечатление. Во имя жизни совершается всё то, о чем говорит Куракин. Большой разговор о месте человека в жизни ведет он с читателем на страницах своей книги.

И жизнь самого писателя показывает пример того, как человек борется за свое место в строю. Совсем недавно и несколько необычно вошел П. Куракин в литературу:

«Я прожил более полувека, был слесарем, потом комсомольским и партийным работником, хозяйственником и, наверное, никогда бы ничего не написал, если бы не серьезное ранение на фронте, а затем тяжелая болезнь, на долгие годы уложившая меня в постель и лишившая возможности передвигаться. Мне казалось, что болезнь оторвала меня от любимых дел, от людей, от самой жизни. Мне оставалось лишь одно — воспоминания. Перебирая в памяти события, свидетелем и участником которых я был, я понял: нет, жизнь не кончена, я еще могу быть полезным Родине, своему народу, родной Коммунистической партии. Началась работа над книгой...» — так в предисловии пишет о себе Петр Куракин.

И пусть читатель, прочитав последнюю страницу романа, прочтет и небольшую биографическую справку в конце книги. Тогда он поймет, что у этого писателя есть большое право говорить с людьми о месте человека в жизни.

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Н. Угловский. У нас на Севере. <i>Главы из повести.</i>	3
А. Романов. Делегаты. Солдат. Радость. Русская печь. «Да здравствует полка вагона...». Дионисий. <i>Стихи.</i>	122
И. Бодренков. Строители. <i>Глава из романа.</i>	127
А. Яшин. Юг-река. <i>Из новой книги</i>	152
С. Орлов. Семейный альбом. Шестнадцать лет назад. <i>Стихи.</i>	155
В. Амосов. Хлеб. <i>Рассказ.</i>	158
С. Видулов. Песня о друге.	170
В. Гарновский. Ольшинка придорожная. Отшельник с Вельбы. <i>Рассказы.</i>	177
А. Сухарев. Кружева. Возвращение. <i>Стихи.</i>	188
П. Кустов. Вологжанка. Колокольня на Рыбинском море. <i>Стихи.</i>	194
И. Тихонов. Когда цветет черемуха. На пристани. <i>Стихи.</i>	196
М. Королев. В лесах Калевалы. <i>Из записок комиссара партизанского отряда.</i>	198
В. Сорокин. В забытом блиндаже. <i>Стихи.</i>	232
Н. Кузнецов. Весна. Белые ночи. «Неоглядно севера раздолье». <i>Стихи.</i>	234
Ф. Голубев. Солдат революции. Вдова. <i>Стихи.</i>	236
В. Белов. Рожь. <i>Стихи.</i>	238
А. Сушинов. Сельская чайная. <i>Стихи.</i>	240
Н. Матвеев. Стихи для детей. (Корова и волк. Налимы).	241
В. Коротаев. Сегодня встреча. <i>Стихи.</i>	243
Н. Попов. Перед расставанием. Ветеран. На юг журав- ли улетают. <i>Стихи.</i>	245

Б. Чулков. Зима. Памятник. <i>Стихи</i> . . . . .	248
В. Аникин. В правлении. <i>Стихи</i> . . . . .	250
Н. Рождественский. Родина. <i>Стихи</i> . . . . .	252

#### НАШИ СОСЕДИ

Е. Коквин. Конец первой любви. <i>Из повести «Детство в Соломбале»</i> . . . . .	254
М. Скороходов. Роберт Пири. <i>Стихи</i> . . . . .	262
В. Кочетов. Перед бурей. Память. <i>Стихи</i> . . . . .	264

#### ОЧЕРКИ

Н. Бриш. Есть такой колхоз . . . . .	266
В. Викулов. Жизнь для народа. . . . .	283
Н. Волков. Последняя смена. . . . .	289

#### ВОСПОМИНАНИЯ

К. Коничев. 1. Встреча с А. С. Серафимовичем. 2. Из беседы Алексея Толстого. . . . .	295
--	-----

#### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Пудожгорский. Мир в красоте . . . . .	304
В. Гура. Первая книга Вл. Гиляровского. . . . .	311
Р. Апарина. Жизнь побеждает. . . . .	315



**ЛИТЕРАТУРНАЯ ВОЛОГДА**

**№ 4**

★

**Художник *С. В. Кулаков.***

**Технический редактор *С. И. Соколова.***

**Корректор *Г. Г. Котов.***

★

ГЕ01120

Подписано к печати 27. 9. 58 г.

Бумага  $81 \times 108\frac{1}{32} = 5$  б. л.,

164 п. л., 15,93 уч.-изд. л.

Заказ 6256.

Тираж 3000.

Цена 7 руб.

---

Областная типография,  
г. Вологда, ул. К. Маркса, 70.

---